

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Александр
Минчин

НАТАЛЬЯ

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ



РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ



РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ



**РУССКОЕ
ЗАРУБЕЖЬЕ**

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Александр
МИНЧИН
НАТАЛЬЯ

(МОСКОВСКИЙ РОМАН)

МОСКВА
«РАДУГА»
1993



ББК 84.7 США
М62

РУССКОЕ
ЗАРУБЕЖЬЕ

Редакторы Н. Матяш и Т. Жудро

Минчин А.

М 62 Наталья (московский роман). — М.: Радуга, 1993. — 336 с. — (Русское зарубежье)

Роман нашего соотечественника, живущего ныне в Нью-Йорке, представляется так называемой «третьей волны», рассказывает о любви с первого взгляда, о внезапно нахлынувшем чувстве, захватившем героя и вытеснившем из его жизни весь остальной мир. Перипетии этих непростых отношений, их драматическая развязка и составляют сюжет романа, который прочитывается на одном дыхании.

Настоящая книга — первое знакомство читателя с интересным, плодотворно работающим автором.

М 4703040100—044
030(03)—93 без объявления

© Александр Минчин

© Художественное оформление
издательство «Радуга», 1993

Наталья (МОСКОВСКИЙ РОМАН)

© Использовано
изданческим

A. Минчин

ISBN 5-05-004155-4

*Я всегда хотел написать
свою Каренину*

Часть первая НАТАЛЬЯ...

*Все это бред воспаленной фантазии,
жалъ, что такой женщины нет.*

Мою ненависть к метрополитену нельзя связать ни с чем.

Отчего я ненавижу метро? Пожалуй, это чисто риторический вопрос. Я сам не знаю ответа. Мне страшно в метро. Люди, много людей. И эта толпа несется, как сумасшедшее стадо баранов, к эскалатору, по нему, на меня, со мной, давит и топчет в вагоне, едет по несколько остановок на моих ногах, коленях. Пинает, материт, проклинает. И все же... я полюбил метро. Не уверен, надолго ли, но полюбил. Преклоняюсь перед величием его своей неумной головой.

Ура метро! Да здравствует московское метро!

Похвала метро, славославие и песнопение. Метро всех метро!

В прохладный день у жены Павлаправлялось двадцатипятилетие. Это мой неплохой приятель. (Нет, нет, Павел, а не жена.) Ночевал я эту ночь у них. Они снимают двухкомнатную квартиру на Юго-Западе, платят сорок рублей и весьма довольны этим обстоятельством. Что не платят больше. Все это время я тоже снимал квартиру, но вот уже как неделю живу в общаге: с отцом во взглядах разошелся. Он у меня голова, но об этом позже. (Я тоже голова, но об этом еще позже.) Выспался я у Павла отлично. Первый раз за неделю проклятую жизни в общаге. С утра Ира приготовила нам плотный завтрак, и мы, подзакусив,

поехали. На метро соответственно. И как я горько раскалялся, впрочем, нет, позже раскаюсь, не сейчас.

Доехали до «Маркса». Людей в метро мало. Одиннадцать часов дня. Поэтому. У «Националья» присели с Павлом на бордюр. Закурили и начали торговаться. Ему надо было в ГУМ за покупками, а мне на ЦТ за письмами. Договорились встретиться к вечеру у него дома. Он хотел, чтобы я приехал раньше и до гостей — хорошо покушал. У меня такая, знаете ли, идиотская привычка: я, когда денег нет, жутко как жрать хочу. Прямо страшное дело. На прощание я натрепался Павлу, что мне еще нужно будет в институт заехать (где именье, где наводненье). Примерно в таком ракурсе я и мой институт.

Вот с этого момента можно раскаиваться. Можно? — нет. Еще было время, было еще буквально полчаса. И — «я б никогда не знала вас, не знала б горького томленья» — или мученья, как уж там точно, не помню, не люблю классику. (И Аннушка еще не разлила масла, и в метро ходили поезда.) Но меня уже понесла нелегкая, и события вытянулись цепочкой — в какую-то цепную реакцию. Все было подстроено подвой жизнью так, что после телеграфа (где я ничего ни от кого не получил) меня опять занесло в метро. Будь проклят и восхвален тот миг, когда в моем глупом мозгу шевельнулась одна из редких не очень прямых извилин и потащила меня вниз, под землю. С небрежным изяществом движений я размениваю предпоследний целковик и бросаю половину его, воплотившуюся в начищенный пятак, в автомат, пропускающий, как святые врата, к заветным ступеням, божественным, хотя и не семи, но ведущим к чистилищу (рай ли, ада ли — неважно), к платформе метро. По пути следования в чистилище я дважды задеваю бедром проносящиеся мимо торбы, держащиеся за своих хозяев. Торбы — полные апельсин, детских игрушек; палочек к чаю, сыропеченой колбасы, горошка для оливье, женских колготок, шоколадных наборов — словом, всего того, что может купить нежная провинция, дорвавшаяся до златоносной Москвы. Да и москвичи этим в последнее время злоупотребляют. И вообще, это одна из самых гнусных наций — москвичи.

Трижды на меня валятся пьяные, и где только успели набраться в такую рань?! Вот это действительно риторический вопрос. И раз меня обкладывают весьма обаятельными для слуха предложениями, с очень своеобразными, оригинальными синтаксическими конструкциями, где почему-то доминирует слово «мать».

Время обеда. Метро как метро. Удивляться — я давно не удивляюсь. Наконец, зажатый двумя мощными торсами, слегка провисая в воздухе, выношусь (неологизм мой) с эскалатора на платформу. Торсы резко разбегаются в разные стороны, не просек куда. Меня шмякает обеими ногами на великий мрамор, добытый такими трудами, и, немного покачавшись, меня останавливает... сила. Великая сила. Так вот, эта сила не что иное, как стадное чувство. Но я отвлекся. Я вообще отвлекаемый ребенок. Подхожу к краю платформы и заглядываю в туннель. Я всегда так делаю. Скверная привычка. Потом читаю таблички на стене со станциями метро. Хотя знаю их наизусть. Тоска в душе такая, что хоть криком кричи — не поможет. Истаскался. От всего воротит.

Вылетела электричка. Не войди я в нее, подожди секунд двадцать, и она бы уехала себе прескокайненько. А я вошел в нутро (любимое и филигранное мое слово) блестящего вагона. Там бились насмерть, завоевывая место под электролампой, светящейся благодаря динамо-машине. Бились-бились, но поравнялись на «Парке культуры»: толпа ускакала на кольцевую. В вагоне стало свободно, задышалось легче, о битве не напоминало ничего. Я стоял в начале вагона, а выходить мне следовало на «Фрунзенской». Чтобы точно выйти к эскалатору, нужна третья дверь предпоследнего вагона. Это поганая и скверная привычка: знать в метро все входы и выходы. Чисто московская. А чем еще заниматься в метро, как не разгадыванием метрополитеновых ребусов и эскалаторных шарад. Преимущественно все наше мышление занято такими вопросами: сколько ехать, где сесть, как встать, с кем сходить, куда и когда. Во всем остальном за нас Думают. Вот эти суетящиеся вопросы, вернее, вопросы, заставляющие суетиться, и отняли у меня предпоследний шанс.

(Предпоследний шанс, предпоследний вагон, что-то я за-считался. Так я бухгалтером стану.) Последний шанс будет у меня там, наверху, а вот сейчас, сию минуту, я терял предпоследний. Ну, да слава Богу.

Я двинулся к нужной, давно вычисленной, двери. Скоро «Фрунзенская», но приготовиться надо заранее. Меня так приучили: всю жизнь к чему-то готовиться. Взгляд блуждает по сиденьям по привычке, просто так — садиться уже не стоит. Сейчас все случится. Еще немножко, и... я прохожу вторую дверь. Продвигаюсь к третьей. Я сам иду — на свою голову. Взгляд мой, побегав по коленям сидящих, замирает и улавливает книжку, раскрытую на чьих-то весьма приятных (успел-таки заметить) коленях. Взбирается с книжки выше, по контуру... Это он а. И я, кажется, застыл на долгое мгновение. Влип как миленький. Но я еще не знаю процента и глубины своего вливания. У меня ведь остался еще один — последний шанс. А девочка была так себе. Правда, следует сделать поправку на мои — 2,5. Я дошел до третьей двери, это почти напротив девушки, которая сосредоточенно читает книжку на английском, кажется, языке. Да, думаю, а девушка-то вся из себя умная. Где уж тут нам, дуракам... Это не вам, это — мне...

Вблизи. Девушка весьма премилая, даже симпатичная, но не притягивает. Становлюсь в позу а-ля Наполеон, или мой брат Б. И бесцеремонным, отрепетированным взглядом начинаю с коленей. На ногах замшевые сапоги, не просвечиваются... Колени ничего, хорошие. Далее трудно что-то разглядеть, так как прикрыто все болгарской (кажется) дубленкой. Цвет мне не определить, я — цветоаномал. Но грудь, кажется, размера три имеет, это неплохо. Направляю взгляд на оставшиеся формы, выступающие из-под горельефа дубленки. О, эти формы... Хорошо! Восхлициательный знак — это редкость в оценке женщины. На голове простенький милый платочек (ну, совсем как тот, что падал с опущенных плеч), повязанный концами назад. Мне такие нравятся. Мне, вообще, женщины нравятся в платках. В шапках там разных, в помпонах — нет, не признаю и не понимаю. Перманента, к счастью, нет.

Волосы, судя по платку, гладко причесаны. Цвет — опять загадка для меня, но не блондинка, надоели уже — еще в десятом классе. Лица, к сожалению, не видно: она читает книгу. А лицо-то посмотреть хотелось бы. (Как театр начинается с вешалки, так человек начинается с лица. А может, нет.)

Бросая один из набора своих коронных взглядов на колени и чуть глубже... Обычно действует безотказно. О! И сейчас! Она не спеша поднимает голову, взгляд скользит по мне, на секунду глаза ее попадают в мои глаза и с видом только что просмотренной неинтересной, скучной, даже не зеркальной витрины снова углубляются в чтение.

«Станция "Фрунзенская", следующая "Спортивная". Не успеваю. Бреду в проклятую, запомненную дверь.

Ну и что! — даже если бы я и поехал с ней дальше, и вышел бы на ее станции с ней на улицу, все равно бы не снялась: такие на улице не знакомятся, успокаиваю я себя. Жутко хочется повернуться и посмотреть — вдруг сошла, но гордость после такого оскорбления взглядом не позволяет. Да и не могла она оказаться такой проворной: из крайне сидячего положения выскочить из вагона в крайне вертикальном.

Наверху останавливаюсь у лотка, засыпанного книгами. Краем глаза смотрю и вижу... Она появляется на эскалаторе, выгибающим свою спину в пол. А может, она за мной идет... Шутка. Быстро выхожу на улицу и жду около метро. Она, кажется, тоже остановилась смотреть книги. Нервно закуриваю, времени в обрез, две-три минуты от силы. Подойти или нет? Затягиваюсь раз-второй, решение не приходит. Что-то тянет к ней, но в общем ничего особенного нет. Ладно, если пойдет в сторону моего «колледжа» — подойду, если нет, то нет. Становлюсь за колонну и жду, прищутив глаза — так лучше видно. Господи, слепой, а туда же. Она выходит, убирая книгу в пакет. Достает варежки и направляется в противоположную от пути моего следования сторону. Я вижу ее спину, вернее, пятно в дубленке. Оно удаляется. Я снова затягиваюсь. Решение так и не приходит. Но какая-то сила уже тянет меня, что-то потянуло. Я срываюсь с места.

Вот он, последний шанс! Я и его теряю. Может быть, это к счастью... Я потом пойму, что это было — счастье.

Я быстро догоняю ее. Выбрасывая по пути сигарету, нет, не выбрасываю, но все уже началось.

— Простите, вы не одаритесь природой идете? — начало довольно затрапанное. Как во всех романах. А что делать? Коли Чернышевского нет.

Но придумать лучше не успеваю. В голове только одна мысль: не послала бы при людях, громко. Она кому-то кивает, отвернувшись от меня. Потом поворачивается, мило улыбаясь:

— Вы, по-моему, перепутали магазин «Океан» с «Дарами природы». Это бывает. Молодые люди их часто путают, когда подходят.

— И часто подходят?

— Настолько часто, насколько и путают!

— Гм... Значит, вы идете в «Океан»?

— Из чего же это значит? — Она смотрит на липнущего меня. В таком амплуа я еще не выступал. — Не иду я в магазин. Я здесь живу просто, всю свою жизнь. А сейчас, сию минуту, хочу немного прогуляться, так как еду с работы и устала. Вас удовлетворяет мой ответ?

— Насколько я правильно понял, то я мешаю вам, раздражая, и тем самым действую на нервы?

— Вы мне не мешаете, мало ли кто идет рядом. Однако у вас интересное построение предложений — не хочется говорить вам «нет».

Я сделал вид, что не разобрал, то ли не обратил внимания на вторую половину фразы. Логично — мало ли кто идет рядом, очень мило.

Она снимает дубленую варежку и поправляет выбившуюся прядь из-под платка. На руке под тусклым зимним солнцем неожиданно что-то сверкает. Обручальное кольцо — как это трогательно. Впрочем, сейчас их таскают все кому не лень, так, для вида, или чтоб не приставали. До чего же люди стереотипны — и она. Жаль, очень жаль. Такая же, как и все, говорить расхотелось. Как бы

развернуться? Она идет молча и смотрит вперед, потом вдруг резко поворачивается:

— Почему же вы замолчали? Вас смущило мое кольцо? Я замужем.

(Прозорливая женщина, как Цицерон, тот тоже прозорливый был.)

— Слава Богу, — вздыхаю я с облегчением.

— Что «слава Богу», — не понимает она, — то, что я замужем? Обычно после этого молодые люди так же вежливо прощаются, как за минуту до этого вежливо знакомились.

— Часто прощаются?

Она серьезно:

— Настолько часто, насколько знакомятся.

Она смотрит на меня, понимает и, рассмеявшись, улыбается.

— Так вы не ответили: часто так с вами?

— Нет, редко, но случается. А вы?

— Я? Я первый раз подошел к девушке на улице и думал, что последний.

— Почему?

— Что «почему»? Не знаю.

— Я спрашиваю, почему «девушке», к сожалению, в замужестве это возможно.

— По-моему, вы чересчур болезненно относитесь к своему замужеству.

— Разве это заметно?

— Нет, я так. Чем вы занимаетесь, кроме этого?

— Учусь в институте. Сейчас практика в школе, и я с детишками. Учу их английскому. Детишек любят со стороны, а вот повозиться — никто не хочет, здорово выматываешься.

Она очень охотно дает объяснения, и мне чудится, что в этом проскальзывает что-то нежное, взрослое, ласковое, прямо как...

— Хотите я вам покажу своего племянника, я детей в жизни лучше не видел? — Мы развернулись и пошли опять к метро. От которого все и началось.

— Да, покажите, — ответила она без всякого энтузиазма: наверно, устала.

Я достал паспорт, который брал на телеграф, и вынул из него фотографию.

— Очень милый малыш, но у меня все равно лучше, — она улыбнулась своей улыбкой.

— Тоже племянник, мальчик? — спросил я.

— Нет, девочка. Дочь родная, — и она снова мило улыбнулась.

— Кг-м, да... А вы учитесь на Пироговке?

— Чуть-чуть дальше, но это не имеет значения.

Затем она несколько удивленно посмотрела на меня: так как — еще не пропала охота задавать вопросы? Я не «отреагировал» на ее дочь: не заохал, не заквохал и даже не убежал. Судя по выражению лица, она ожидала именно этого — и красивый овал лица чуть заметно трогает улыбка, у нее была какая-то обалденная, чудная улыбка.

Она вылила на «маленького мальчика» два ковша холодной воды: муж, дочь. А он, как ни странно, все еще здесь, идет рядом и даже задает вопросы. (Вообще, вопросы — это моя слабость.) Она играла со мной в открытую. Без тайн. Я — тоже. Она начинала мне нравиться.

— Скажите, молодой человек, а чем вы занимаетесь? — вероятно, ее все же заинтересовало, что я за идиот.

— Я ничем не занимаюсь, то есть филологией. Или, вернее, я не занимаюсь сю. Мой папа говорит, что я «филоник», а не филолог. Папа у меня колосс, поэтому я цитирую его как творчес. Кстати, можете называть меня на «ты», я не такой уж старый.

— В чем заключаются ваши... то есть твои занятия?

— В том, что я прохожу мимо института преподавания русского языка и литературы. Преподавателя из меня не получится, учесного-филолога — тоже. Я неусидчивый, как говорит папа, вернее, у меня нет его усидчивости. Жареный петух меня в ж... клюст. Извините, цитирую словно.

— Ничего, — ответила она, — я привыкла, и не такого наслушаешься.

Вдруг на минуту, на мгновение, она потеряла свою самостоятельность, буквально на одну секунду, мне стало ее жаль.

Но она справилась с собой. Надо отдать ей должное: она всегдаправлялась с собой...

— Но чем-то ты должен заниматься?

— Ну, я пишу... Рассказики.

— Интересные?

— Как-нибудь можете почитать. — Я забрасывал неприлично-примитивную удочку: предлог для встречи. Ни фига я не писал хорошего и интересного, тем более для нес.

Она улыбнулась, прекрасно поняв.

— Когда-нибудь я, возможно, и прочту твой рассказы в толстом журнале.

Я кивнул в знак согласия головой. А что мне оставалось делать? Проклятая жизнь!

— Спасибо. Дальше провожать меня не стоит.

Мы стояли на углу, снова у метро. Она собиралась со мной вот-вот расстаться, а я даже не знал ее имени.

— Но мне бы хотелось... — начал я, запинаясь, такого тоже со мной никогда не случалось. Чтоб запинаться.

Она поняла, хотя я и не договорил:

— Я, право, не знаю, к чему все это. Мы ведь взрослые люди, у меня муж, ребенок, дом, работа, хлопоты, заботы, тебе все это неинтересно. Да и что может быть между нами: зачем тебе такая старуха, как я? Найдешь молодую девочку. Они все знают, все умеют...

Внезапно она остановилась, то ли я слишком красноречиво отреагировал, то ли еще что.

— Молодых девочек у меня хватает...

— Ну хорошо... Когда тебе удобно?

— А?.. — я так и остался стоять с раскрытым ртом.

— Я спрашиваю, мальчик, когда и где тебе удобно?

— Я... я, — поистине, что-то невероятное творится — запинаюсь, — могу с вами встретиться здесь, у метро?

— Нет, конечно. Я и так уже встретила кучу знакомых, пока мы шли. А женщине моего положения неприлично стоять с молодыми мальчиками.

— Я понимаю, еще одну минуту, и вы — свободны. Вы можете завтра?

Она отрицательно покачала головой.

— Тогда сегодня, через два часа. Вам хватит отдохнуть от детей?

Она рассмеялась.

— Как это — встретиться «через два часа»? Я не знаю, не пробовала.

— Тем более, всякое новшество оригинально, — изрек я.

— Чрезвычайно оригинально, — заметила она с улыбкой, оставшейся от смеха. — Хорошо, я постараюсь. Хотя, право, я не зна... ладно, я не буду продолжать, только не морщись. Где тебя устроит?

— Где и когда удобно вам?

Морщинка опять взбралась на ее открытый лоб. Она задумалась, но ненадолго.

— Тебя устроит в Лужниках? Выйти нужно к Дворцу спорта. Там внизу, у разменных автоматов, часа через три. Я хочу успеть еще забраться в горячую ванну: сырь на улице и снег то есть, то нет. Хорошо? — она снова улыбнулась.

— Тогда я жду вас через три часа. Это будет в... — по привычке я взглянул на часы, но часов, естественно, не было. Я моментально успевал дарить, каждый раз, как только мне их дарили предки.

— Это будет в четыре часа. Я пошла. Интересно, что из этого выйдет, — последнее она проговорила скорее для себя.

— Да, такая незначительная деталь, — улыбнулся я. — Как вас зовут?

— Меня? Наташа. А тебя?

— Как это ни банально, в рифму — Саша.

— До встречи, Саша. — Она повернулась и, не дождавшись моего ответа или не думая, что он последует, что еще нужен какой-то, пошла прочь.

В институте своем я бываю редко, по возможности еще реже.

Зачем меня в нем держат, это для меня загадка. Пожалуй, благодаря одной женщине, зам. декана по учебной части. И чего она ко мне с таким терпением относится,

непонятно. То ли жалко ей меня, то ли еще какие у нее эмоции.

В институте все куда-то спешат, торопятся, суетятся. Один я не спеша дефилирую по храму науки. Кто-то резко выводит меня из состояния равномерного, прямолинейного дефиляжа и что-то дико верещит прямо в ухо, уже повиснув на моем плече! О! Это Светка. Она помешана на искусстве и бредит им день и ночь. Сейчас день. Поступить на искусствоведческий ей не удалось, обстоятельства, они, как всегда, выше нас. И она поступила к нам на исторический факультет. В своей жизни я не встречал человека более нашпигованного сценой, театром, драматургией и прочей всякой дребеденью, чем она. И вот таких умниц не берут в МГУ из-за того, что какой-то дурак-аспирант (а они по большей части все такие), заменивший на час профессора-экзаменатора, решил свести с ней какие-то счеты — несмотря на предыдущие все пятерки. А это создание, ладно тот дурак, не могла дождаться профессора, психанула и убежала.

— Подлый Санька! — Светка делает томные глаза. — Почему же твоя звезда не сверкает на очей моих небосклоне? Душа моя разрывается на части без созерцания твоего стройного тела и мужественной фигуры!

Мы когда-то играли с ней в ТЮЗе, эти штучки у нее оттуда остались.

— Светка, твои остроты бесподобны: дай лучше три рубля. У других баб не попросишь — натурой отдавать придется, а тебе этого не нужно: ты у нас девственница. Я шучу, Свет, правда, если есть, то дай, если нет, то не дай, но озари ответом.

— Опять на завтрак в кабаке не хватает? — уперев руки в боки, заводит песнь она.

— Нет, на дело.

— Я твои дела знаю. От, давеча...

— Светка, ну брось хоть на минуту свои тюзовские штучки. Ты скажи: есть у тебя или нет, а то чего я зря распинаюсь. Пойду к другой. — Я улыбаюсь.

— Ладно, подлый, — глубокомысленно изрекает она, — проводишь — тогда дам.

— Куда хочешь, у меня еще целых три часа.

— До чего? — спрашивает она, и мы направляемся к раздевалке.

На этом посещение колледжа окончено. Я смотрю на часы — еще целых два часа и сорок минут.

— Стоишь как пень. Пальто подал бы.

Я непонимающе уставляюсь на нее. Беру пальто и подаю. Сам я не раздевался.

Она церемонно попадает руками в рукава, и мы выходим на свежий воздух. На улице падает снег. Но не холодно. Я и Светка медленно бредем по Пироговке (студенческая улица) по направлению к метро. Опять метро, сколько можно метро.

— Куда ты потом пойдешь, Санька? — интересуется она.

— Должен встретиться с одной женщиной.

— Что? Очередная...

— Нет, — перебиваю я ее, — не болтай. Очень хорошая, по-моему, хотя час только, как мы познакомились.

— И ты уже сейчас, даже не вечером встречаешься? — удивляется она. — Чокнутый ты, Санька, какой!

— Вечером, видимо, она не может. Она замужем.

— Да?.. — многозначительно произнесла Светка и завелась о своем. — Тут у меня журнальчик, Санька, последние стихи Вознесенского. Он ведь тебе нравился когда-то.

Я беру у нее журнал, заложенный на нужном месте. Замедляю шаг и читаю. Строчки изредка прыгают, но все понятно. Два стишкa ничего. А третий — полнейший маразм: о корове, навозе, да и обманутый муж, то ли жена, совсем ни при чем тут. Отдаю журнал обратно. Светка поскользнулась, и я вовремя успеваю ее поймать. Иначе она своей роскошной попой села бы прямо в мокрый льдистый снег.

— Санька! Вот ты мне объясни, почему все так в жизни глупо устроено... — она говорит, что глупо устроено. Я не пытаюсь вникнуть, без толку. Я вообще мало во что в жизни пытаюсь вникнуть.

— Ты все понял? — кончает она.

— Да, конечно, — киваю я.

— Вот такие дела, — говорит она, — ничего хороше-

го. — И опять завелась. — Да, на Таганочке смотрела «Антимиры», весьма приятно сделали. Вообще, у нас в Союзе режиссеров-то раз, два и обучелся. Товстоногов и ГАБТе, да в Москве Ефремов, Любимов и Эфрос, а остальные так, для количества.

И она заводится. Это ее конек — сцена. Я тут же выключаюсь, блуждаю взглядом по противоположной стороне улицы. Как назло — ни одного столба. Светку перебивать нельзя, она вошла в раж. Все равно, осталось не меньше часа. Людей на снегу не видно, это одна из лучших улиц Москвы, — из-за того, что не видно... Светка продолжает, размахивая руками, объяснять мне наболевшие свои мысли и думы о сцене. Я включаюсь на полминуты.

— ...а Станиславский, с его известной тебе, Санька, системой перевоплощения, говорил...

Добралась уже до Станиславского. И так как Светка не чужда принципа наглядности, то на очереди великий Ка-чалов.

С деревьев падают комья белого снега, когда подует ветер. Они мягкие и мокрые. Автобусы поднимают всевремя снежную жижу с дороги, и она также всевремя обкладывает меня от сапог до коленей. Светка не замечает ничего. По-моему, она уже дошла до духовного экстаза. А я лишь успеваю изредка смахивать с джинсов наиболее крупные комья грязного снега. Наконец-то попался столб с часами. Я задираю голову, натягиваю пальцем глаз — для резкости — и смотрю: без пяти минут три часа. Еще ждать. Совсем невмоготу. Светка разбирает по косточкам Плучинка, то ли Симонова-последнего, я не уловил пока. Пора включаться.

— Свет! Систа, — ору я, — ты лучший человек на свете! Заметь, какая феноменальная и роковая игра слов: Света — на свете. Но если ты купишь мне сигареты, то станешь еще лучше и прекрасней. Музы, покровительницы трагедии, драмы, искусства, как-то: Мельпомена, Эос, Клио, не говоря уже о таких музыкальных бабенках, как Терпсихора и другие, падут ниц перед твоим всеослепляющим светочем.

Кажется, удалось прервать.

— Да ну тебя, Санька. Вечно ты своей прозой жизни разрушаешь хрупкую грань искусства. И всегда-то к слабой девичьей душе ключ подберешь. Какие тебе купить сигареты?

Мы подходим к попутному киоску. В киоске имеются только «Новость», но я не Брежнев и сигареты типа «Новость» не курю. Еще есть «Беломорканал». Я выбрал, без слов, второе. Никогда не умел курить папиросы. Но неделю назад попробовал. Оказалось, ничего. И как это смотрится: небрежно размяв «беломорину», с шиком сунуть ее в рот. Блеск. Да еще в таком раннем возрасте, девятнадцать-то лет. Пошли к метро. Спустившись вниз, уселись на золотистую скамью.

— Светка, сколько времени на часах? Я не вижу.

— Без двадцати четыре, свет очей моих. А ты опаздываешь?

— Пока нет.

— Тогда, Санька, я тебе быстренько расскажу одну историю, и ты мне дашь ценный совет. Нет, ты мне дашь весьма ценный совет — ВЦУ на языке твоего папы. Она хорошо знает моего папу, даром, что в одном городе семнадцать лет прожили.

Оказалось, какой-то художник с «Мосфильма» хотел рисовать с нее что-то похожее на ренуаровскую «Обнаженную», но она ему отказалась, так как знала, чем все эти художества кончаются. А теперь я друг, совсем неожиданно, поняла, что влюбилась и жить без него, вот уже сию минуту, не может. Что ей делать?

Я начал издалека:

— Светка, откуда я могу знать, что делать. Я не Чернышевский, впрочем, и он не знал. Сколько сейчас уж?

— Санька, ты подлый мужик. Я тебе душу изливаю, а ты очи свои в табло вперил и не сводишь.

— Пустое все, Светка, пройдет. Это по молодости: любовь, чувства, розыски — херня все это: главное — наша дружба вечная...

Она посмотрела на меня жалобно и преданно.

— Без пятнадцати четыре, ты не опоздаешь?

Вот так всегда, она — добрая душа, болеющая за меня. Надо ехать, она права. Хотя всего одна остановка, и бу-

дут «Ленгоры». Я поднимаюсь со скамейки и просяще гляжу в зеленые Светкины глаза, крыжковеющий крыжовник, да и только. Это не я сказал, Северянин.

— Так уж и быть, презренный, отпускаю тебя, ступай себе с Богом. — Светка милостиво улыбается.

Подходит поезд. Я уже одной ногой в нем.

— А деньги, — кричит вдруг она, подбегает и сует мне в карман сквозь шторы дверей заветное. И двери, словно дожидавшиеся этого мгновения, как занавес на сцене, закрываются. И Светкина мордочка сначала не спеша и плавно, потом убыстряясь и совсем быстро, уплывает в никуда.

Я влажнею при мысли, что еще секунда, и я б плясал без денег.

В метро на «Ленгорах» всегда пусто. И это прекрасно. Сколько раз проезжал — никогда не видел людей. Выхожу на платформу и задираю голову. Прищуриваю глаза и читаю: нужно идти назад. Я съезжаю вниз и становлюсь возле «разменников». Над головой тикают часы. Не прищуриваю глаза: ровно-ровно без одной минуты четыре. Я не люблю опаздывать.

Лучше прийти раньше — мое мнение, — чем опоздать.

Женщины, вы слышите: лучше раньше, чем позже. И вообще, я лишен предрассудков, вроде стеснения прийти первым, — начисто. Гораздо глупее опаздывать, заведомо сознавая. Думая, что от опоздания тебе поднимется цена или возникнет чувство. Оно может только умереть, или...

Часы тем временем над моей головой прошли нескользко отрезков своего вечного пути. У часов путь вечен? Уже десять минут, как я жду. Я не сержусь на нее, почему-то. Если она приедет, то я скажу ей все, что по этому поводу думаю. Хотя она вряд ли приедет. Я не надеюсь. Слишком все поверхностно получилось, слишком форсированно. Я даже не успел ей толком ничего сказать. Я не за чванные церемонии, но все же... Гораздо больше очков, что ее не будет, чем что она будет. Тоскливо становится на душе. Вот дурак. И чего ради приkleился к незнакомой женщине на улице?! Ведь с детства учили: не приставай на улице, уличные знакомства добром не кончаются. Замуж-

няя женщина, с дочерью... А как сказал наш начальник военной кафедры, полковник такой-то (фамилия звучит как ругательство): мать — это понятие емкое. К чему он это сказал, я не помню.

Снова смотрю на циферблат: десять плюс пять будет пятнадцать минут моего ожидания. Перевожу взгляд на лестницу-чудесницу. Она везет на себе двух-трех людей с усами. Смотрю на самый верх, на площадке появляются разбросанные люди. Смутно вижу какие-то пятна. Очкы ленъ доставать. На середине лестницы пятна становятся различимыми. Дядя. Еще дядя. Снова дядя. Как зарядило: одни дяди. Все съехали и ушли.

Я опять смотрю вверх. О чудо! Если меня не подводят слепые глаза, то спускается женщина, эпилет которой сразу не подберешь: великолепная, прекрасная, божественная. Это чудо! О Боже! Женщина, рукой придерживая подол своей длинной макси-дубленки, тщательно выбирая место, куда ступить (я бы хотел быть ступенькой под ее ногой), не торопясь, спускается вниз. На меня — ноль внимания. Это понятно, куда уж тут нам, дуракам, чай хлебать. Вот мне всегда было интересно, куда и к кому такие женщины ходят, с кем они встречаются, как выглядят и кем должен быть этот единственный избранный?

Правда, подлецкая мысль шевельнулась у меня, что, не жди я как идиот свою новую знакомую, которая мне, видно, нужна была, как, можно было бы и попытаться. Хотя тут и не светит. Более трезвая (они изредка, но случаются у меня) мысль заглушила предыдущую: меня бы не было здесь, не жди я ее. Никого, значит, как и ничего, я бы не увидел. Следовательно, все пустое. Это успокоило, но не очень: не настолько, чтобы успокоиться. Неземная женщина все продолжала спускаться. Ближе и ближе. Я, клянусь, в жизни не видел такой красоты! Какой дурак, к очаровательной женщине подойти неудобно, а ждать черт-те кого — это удобно. И почему так в жизни подло все устроено?! Я снова посмотрел на часы. Можно смело уходить воякся. Последний раз гляну: женщина сходит с эскалатора и направляется к разменным автоматам. Ну, вот всегда так, вокруг никого, все условия, а вдруг появится та, неудобно, плел сий что-то про литерату-

ру, нелюбовь к молодым девочкам... Подойти — не подойти?! Она идет прямо на меня. От досады я опускаю голову и смотрю вниз. Все равно не мое (я собственник), чего зря глаза плятить. Я скромно собираюсь проскользнуть к выходу, как-нибудь понезаметней.

Как рядом слышу голос, от которого становится непонятно внутри.

— Уже не узнаете?

— А... да... это... вы-ы... — я обалдеваю.

— Да. Как ни странно, это я, — с расстановкой говорит она. Я понимаю, что для нес эти слова имеют определенное значение. И я как-то должен был оценить. Но куда мне, когда я еще не пришел в себя.

— Отчего же странно. Все в порядке вещей. — Я медленно прихожу в себя.

Что?! Это она?!? Ко мне??!!

— Просто у Саши такой оторопелый вид...

— Просто Саше надо изредка надевать очки. Чтобы не нарком не ошибиться.

— А вы ждали еще кого-то? Я не вовремя? — улыбается она.

Я смотрю на нее и как дурак сияю.

— Чему ты так радуешься? — спрашивает она.

— Я рад, что вы пришли, — бросаю красноречивый взгляд на часы, — все-таки.

— Прости, но меня неожиданно задержали...

— Это пустяки, — великодушно соглашаюсь я, — я не упрекаю. Ждать можно и дольше, если уверен в конечном результате: знаешь, что придет. Хуже, когда ничего не знаешь. — И так я еще долго распространяюсь. Женщине с самого начала нельзя давать садиться на голову.

Она спокойно, без тени нетерпения, выслушивает меня и говорит:

— Я обещаю быть исправной и никогда больше не опаздывать.

Она внимательно посмотрела на меня. Я не воспринял это как залог наших будущих встреч, но внутри у меня что-то захлебнулось и, как пишут знающие все писатели (откуда они все знают?), сердце резво забилось, — впрочем, неважно, что они пишут. Это не было обещанием бу-

дущих встреч, но, забегая вперед, скажу, что она всегда будет опаздывать и мне всегда будет нравиться — ее ждать. И только один раз за все время наших встреч она придет вовремя, но тогда я снова не узнаю ее.

— Мы так и будем стоять, молча? — Она с интересом смотрела мне в глаза, будто изучая.

— Э... м-м... я...

— Содержательно, — констатировала она. — А ты был когда-нибудь в Лужниках?

— Нет. Толком так и не был.

— Тогда я покажу их тебе. Зимой, когда нет людей, они замечательны.

Оригинально, у нас даже мысли одинаковые, безлюдные.

— Летом — хуже, знакомых много, молодые матери с детьми гуляют.

— И вы тоже? — съязвил я.

— И я тоже, — спокойно ответила она. И чего я все время наряываюсь, цепляюсь к чему-то?

Мы направляемся к выходу, украдкой смотрю все-таки на часы: половина пятого. Правой рукой придерживаю дверь, одну, затем другую, она проходит, за ней я, она смотрит на меня: непонятно. А что, мы тоже, мол, не лишиены...

Снег в Лужниках лежит нстронутым, ровным, не потревоженным пространством. Кусты, деревья, клумбы — все под снегом, настоящим, неподмоченным.

Я немножко отстал, якобы поправляя кашне. И только я стал обозревать панораму сзади, привычка, знаете ли, как она повернулась и проговорила:

— Ты отстал. И потом, я не люблю, когда рассматривают мои ноги, тем более в длинном их совершенно не видно. Если тебя это очень интересует, то потерпи, пока я разденусь, сниму дубленку, и ты посмотришь. На них и на меня.

— Да нет... что вы... вы меня не так поняли.

— К сожалению, Саша, я все всегда *не так* понимаю, это моя беда, и я уже достаточно за это получила.

Интуиция у нее — надо отдать ей должное. Вот осел,

привык иметь дело с малолетками, дымчато смотрящими в лицо.

— У меня к вам просьба: не называйте меня Са-ша.

— А как вам нравится? Санечка?

Кажется, у меня на лбу написаны мои мысли.

— Но я недостаточно знаю вас... тебя, впрочем, сейчас не модны слишком долгие знакомства.

— Итак, Санечка! — Она улыбнулась, как взрослый, давший ребенку конфету. — С чего же мы начнем наш осмотр? Что тебе показать?

— Все равно. Я буду смотреть все, что на глаза попадется. — (Но в основном я буду смотреть на вас.)

— Так и глаза окончательно испортить недолго, — пошутила она. — Потом все меня не признаете!

Что-то снова колыхнулось из области надежд и опять улеглось.

— Хочешь, Са-ня (так можно?!), я покажу тебе спортивный музей?

— Да, я все хочу, — Он глупо засмеялся. Она никак не отреагировала на мою тупую шутку.

Вокруг спортивной арены лед, как пачка балерины. Заливают для желающих кататься и тренироваться. Идти до мостика-перехода, чтобы перебраться через лед, не хотелось, и мы пошли куда-то прямо. Арена напоминала неприступный замок. Вместо рва — лед, и мост не откидной, а стоячий.

— Давай сядем, пожалуйста. Я устала целый день ходить. Ты не примерзешь... — лучики скользнули из ее глаз.

— А вдруг вы, не дай Бог, заболеете?

— Я хладоустойчивая, и потом, меня можно называть на «ты».

— Я не могу так сразу... переключиться. Тем более вы так солидноглядите...

— Неужели?! А я и не думала, что такая старая, — она рассмеялась.

Вообще она очень часто смеялась и улыбалась — мне это нравилось.

— Да нет. Я неправильно выразился, впрочем, я не умею говорить комплименты...

— И не нужно, Санечка, что ты! Куда уж мне — комплименты. Да сейчас их и не говорят, это считается таким же неприличным, как сентиментальность.

— Я не к тому, просто они у меня фальшиво получаются, и я краснею до ушей.

— А сколько тебе лет?

Я давно ждал этого вопроса.

— Разве это играет какую-нибудь роль для такой современной девушки... женщины, как вы?

— А кроме шуток?

— Мне — пятнадцать. И если вы снизойдете и усыновите меня, то я стану вашим ребёнком.

— Очень хорошо. У меня никогда не было сына Сани.

— Очевидно, поэтому у вас очень жизнерадостный вид.

— Да, дальше некуда. А ты сильно обижашь свою маму?

— Стараюсь не обижать. Но моя учеба, чрезмерно усердная, шокирует моих домашних, как папу, так и маму.

— А чем ты занимаешься, кроме неученья?

— Что можно сказать со стороны?

— Ты не обижайся, но сначала я приняла тебя за... за фарцовщика.

— Ну что вы, за что обижаться-то.

Вид, и правда, у меня был кошмарный. Затертые замшевые сапоги, вельветовые джинсы непонятного цвета и дубленка, по цвету приближающаяся скорее к грязно-темно-чёрному. Вот шапка еще держалась мужественно, непонятно как сохранившись в нетронутой и девственной красе.

— Фарца хоть красиво одета, а я так, молодой шалопай. При моём отце не пофарцуешь, но не в этом дело: от такой жизни грязно внутри бывает. Мне часто в жизни все бывает трин-трава, но снаружи, а не в душе. Физиология человеческая, как и тело, — это еще далеко не все, потом останется душа. После радостей-не-приятностей, взлетов-перелетов, достижений-падений все равно придется заглянуть в себя. Залезть туда и, забравшись, поковыряться. А там дермо, простите за слово, вот тогда-то и задумаешься, зачем пачкал? Почему? Для чего? Впрочем, зачем я с вами об этом говорю?..

— Что, я с виду такая глупая?

— Что вы! Вы сами все прекрасно знаете. Да и не хочется говорить избитое, затертое — час на вес золота. Вы же...

— Да-да, я замужем, но у тебя интересно получается, Санечка. Тем более душа человеческая — сам знаешь — потемки, так я буду твою пустыню немного, но знать. Ты не против?!

— Я. Почти всю свою жизнь прожил не в вашей прекрасной Москве, проще сказать, в провинции. Родители и сейчас там. Москву я знаю хорошо, потому что долго и был и жил в ней. После школы хотел поступать в театральный, родители нашли мне режиссера и перевели учиться в Москву, чтобы я мог заниматься с режиссером, который давал всяческие гарантии, хвали и поощряя. Все это оказалось чушь, блеф, туфта. Режиссер обернулся великим аферистом, он смылся как раз за месяц до вступительных экзаменов, но жили мы весело. Завтраки делала одна девушка, непонятно почему живущая у него. Гречанка. Завтрак стоил двадцать пять рублей. Вина — лучшие, люди — заходи, кому хочется. Позже в карты я проиграл ему хорошую американскую куртку отца, кожа с вязкой, джерсовое пальто, свое, водолазку, подарок мамы, ее отыграл, правда, потом. Так и жили. Зерно было заложено. В начале мая человек исчез. Мои часы пропали с его девушкой, непонятно куда. Теперь вроде понимаю. Да еще я чуть было не... но это не важно. Вовремя голова сработала. Потом я не поступил соответственно в соответствующий вуз по имени актера Шукина (эх, все мы хотели быть актерами!), и отец дал команду, чтобы я немедленно, на следующий же день, вылстал домой, заставив поступать меня дома на литературный факультет. После долгих мольб и просьб, обходных маневров и прочего маме удалось уговорить его перевести меня в Москву.

Сейчас февраль, вот уже полгода, как учусь, вернее, не учусь, так, болтаюсь. Блуждаю от нечего делать, неинтересно всё, и неинтересны все. Биография — пустая, так сказать.

— Чем же ты тогда занимаешься все время?
Я промолчал.

— Почему, Санечка, такая горькая усмешка? В твоем возрасте...

— Не нужно только о моем возрасте. В тридцать можно не знать того, что знают в семнадцать, и наоборот. Возраст здесь абсолютно ни при чем.

— Вот ты уже и сердишься. Я не хотела тебя обидеть. Правда, у меня такое впечатление, что ты озлоблен, то ли обижен чем-то или на кого-то.

— Нет-нет, что вы. Холодно сидеть, пойдемте потихоньку?

Она встала сразу. Взяла сумку, сейчас я уже не помню какую, помню только, что все одного цвета, гармонирующее. Хороший вкус, наверное. Но что мне до этого. Она чужая, жена чужая и не будет мне другою. Парапфраз из дурацкой песенки.

— Давайте перчатку. Я отряхну вас. Со спины.

— Пожалуйста. — Я отряхиваю с ее спины налипший снег, и мы идем дальше.

Какая стройная спина! Можно так выразиться?

— Почему ты ходишь зимой без перчаток?

— Я поселял их в «моторе». (Во термины, классическая филология.) Месяц назад, когда снимали последнюю квартиру на Волгоградском проспекте, ехали все гулять к нам, я расплачивался и потерял. Теперь руки засовываю в карманы.

— Я могу купить тебе перчатки в магазине.

— Я ношу только замшевые, кожа раздражает, как и вообще все кожаное, а их в магазинах нет. Как и вообще ничего в магазинах нет из того, что нужно.

— Я могу купить в «Березке».

Я посмотрел на нее, она поняла.

— Родители сейчас работают за границей.

— А, — только и изрек я. — Но мне не надо ни от кого и ничего. Тем более от женщины. Подарки на память — все это...

— Ну, договаривай.

— Не стоит. Я что-то не то плету, простите меня.

Мы дошли уже до выхода из Лужников к метро «Спортивная».

— В «Спорте» идет хороший фильм — «Погоня».

— А в музей мы уже не идем? — словно нечаянно спросила она.

— Я и забыл совсем.

— А я фильм этот уже видела. Там Марлон Брандо хорош. Правда, вырезано много, жаль.

Прошло несколько минут, и я заговорил. (Кому-то же нужно.)

— Он мужик, бесспорно, отличный: штатская челюсть, царские повадки, несравненное киноповедение, но грузнеет уже.

— Я думаю, Саня, многие согласились бы быть такими, как он, и иметь такие же... — она мельком взглянула на меня, улыбнувшись.

— Я не привык никому завидовать, тем более мужчинам, даже если это необыкновенный супермужчина. Бабам еще куда ни шло, а уж мужикам...

— А почему же можно завидовать женщинам, так ты хотел сказать?

— В природе пошло все устроено. Мужик сторона активная. Женщина, как вы ее называете, — пассивная. На самом деле все наоборот. Она пассивно-активная. Мужик, он в действиях активен: подойти, познакомиться, предложитьсь. Всё! А дальше — должен ждать, или, вернее, о-жидать. Либо ему бросят кость и скажут «да», либо пнут ногой и скажут «пшел вон» — нет. И будет ждать, и будет слушаться этих... все-таки не «женщин». Как повелят, так и поступит. До чего ж я ненавижу таких баб, да и мужиков тоже.

Меня занесло.

— Простите, к вам это, конечно, не относится. О присутствующих, говорят, не говорят.

— Почему же мне столь приятное исключение?

Я понимал, что решать сй, и только ей, и, как она решит, так и будет, и от этого уже психовал и нес ахинею. Она, впрочем, может, и догадывалась, но виду не подавала.

— Долго объяснять, — коротко ответил я.

— С тобой тоже так делали?

— О чём вы?

— О твоих рассуждениях.

— Нет. Я стараюсь, чтобы на этой вот голове, — я ткнул пальцем, — никто не сидел. Ни одна. А то ведь сядет — полбеды, так еще и ноги свесит — вот тогда беда.

Она помолчала.

— Пойдем в кино, Санечка. Ты не расхотел?

— Я — нет, тем более с вами!

— Вот и комплимент!

— Это я пошутил!

— Упорный мальчик! И во всем?..

Мы поднимаемся мимо Новодевичьего и выходим на небольшую площадь, на которой стоит кинотеатр и среди которой высится нелепейшая скульптура, в стиле позднего неосталинизма — такой, знаете, дурной, нелепый, соцдеповский стиль, — и входим в казенный холл, — маленькие окошки касс.

Кино вот-вот начнется. Она быстро достает миленький кошелек в ярких цветочках, раскрывает его и протягивает мне хрустящую купюру. Десятирублевую.

— Что вы, — смущенно забормотал я, — у меня есть деньги. Если не будет, я не постесняюсь и скажу, что нет. — Гордо надувшись, я наклонился и... протянул Светкину трешку в кассу.

— Два на «Погоню», пожалуйста, все равно куда.

Я забираю билеты и прячу в карман.

— Я не хотела тебя обидеть, совсем, но ведь у студента может не быть.

— Вы тоже учитесь.

— Я замужем.

Меня как передернуло:

— Только не хватало мнеходить в кино на деньги вального мужа.

— Это мои деньги. Мне присылают их родители на личные расходы, так что не волнуйся вперед.

Я быстро посмотрел на нее, она ответила мне взглядом. Она не оговорилась.

— Давайте о другом, и извините меня, если я иногда резок. Есть вещи, к которым я, видимо, отношусь не так, как следовало: чересчур... — я замолчал.

— Нам нужно уже заходить, да? — сказала она, и у меня разлился бальзам по душе. Она прекрасно сама знала,

что нужно делать, как, когда, почему, но каждый раз, как бы отдавая мне пальму первенства и первого, спрашивала об этом меня.

Я протягиваю контролерше билеты. Получаю обратно у половиненные, и мыдвигаемся к залу. Журнал уже успел начаться. Незаметно как-то. По-моему, я загляделся на нее. Забывши.

— Вы хотите что-нибудь?

— Нет, спасибо, я недавно из дома, — она опять улыбается. Значит, не обиделась на мои идиотские философии.

Я грузно оседаю в кресло. Потом резко выпрямляюсь: слишком пошлая поза. Она замечает, но не реагирует.

— Жаль, — говорит она, — опоздали на журнал.

Мне становится ее и вправду жаль. (Неужели она любит и киножурналы?)

— А мы пойдем на следующий сеанс и посмотрим только журнал, да?

— Да-да, — с расстановкой отвечает она, но мысли ее не здесь, и у меня такое впечатление, что она все время что-то решает, то ли на что-то решается, раздумывая. Или мне это кажется?

Внезапно я поднимаюсь из кресла и говорю:

— Простите, я на одну минуту. — Вечно идиотская ситуация, не знаешь, как уйти в туалет, особенно если новая знакомая.

— Пожалуйста.

Иду в туалет. Как только скрываюсь с ее глаз, несусь быстро. Дождался-таки, горемычный. В туалете народ курит. Везде народ. И откуда он берется, этот народ? Куда ни придешь, везде он...

Мне как-то и курить расхотелось. Начинаю думать об очках. Очки мои, дымчатые, имеют в наличии два стекла: одно раздавленное, но в оправе, другое вполне нормальное. Однако вид первого напрочь губит диапозитивную панораму второго стекла. При ней надо будет надеть очки. Иначе ни хрена с экрана не увижу. Аходить в кино, чтобы ни хрена не видеть, тоже не восторг. Значит, придется надевать очки.

А очки... Вспоминается позавчерашний вечер. Я попал

в чью-то комнату, в какую-то компанию. Кто-то меня усиленно спаивал самогоном из чайника. Всегда есть добровольцы... А вообще я не пью. Потом с кем-то остался вдвоем. Много тем более. Не умею. Остальные куда-то подевались. Мы улеглись с ней на кухне, на столе. На каком этаже, не помню (да это и не важно). Ее тоже. Какая грязь. Одна только грязь. Очевидно, это была последняя... К счастью, ничего не получилось, а на следующий вечер она пришла. Рассмотрел лучше и — ушел под одеяло спать. Точно, это была последняя... Просто, как эхо, как импульс. После всего ноября, декабря, да и октября тоже. Фу-у. Даже плечи нервно передернулись при воспоминании. Курить окончательно расхотелось.

— Я, наверное, очень долго. Не сердитесь, хорошо?

— Я не сержусь. За что? — спокойно отвечает она.

— А давайте не пойдем в кино!

У нее удивленный взгляд.

— Куда же мы пойдем?

— Мы, если вы, конечно, не возражаете, пойдем на Новодевичье кладбище. Там есть одна могила... я не был на его похоронах, это нехорошо.

Она только проронила: «Интересно, что будет дальше?» — и больше ничего.

Мы двинулись к кладбищу. Оно тоже, как и Лужники, все под снегом. На памятниках, давно не обметаемых заботливой рукой, можно с трудом прочитать: кто лежит и в каких годах сей лежащий был похоронен. Идем в глубину, практически до упора. Почти в самом углу, тихо и неприметно, у стены, огораживающей сей мавзолей, холмик, все, что осталось от последнего писателя России. Холмик. Без надгробия. И это ему, Твардовскому. Так мало? Чем провинился? В чем не дослужил?

— Мои друзья были на траурной церемонии. Собрались тьма народу всех возрастов и положений. А что толку? Мертвым уже не поможешь. Когда его сняли с... простите, когда он ушел из «Нового мира», ему оставался ровно год до смерти. Он мог прожить и больше, но «уложился» ровно в срок — один год. Он и его уложили. Свобода слова — не в говоре этого слова, а в мол-

чании его, то бишь ты берешь и свободно молчишь любые слова, какие хочешь.

Он писал. Жалко только: никогда не опубликуют написанное им в последние годы. Панихиду гражданскую и то не разрешили. Все было оцеплено кордоном в три ряда — троекратные повторения еще с былин у нас повелись. А теперь вот что осталось... сбоку припека мечтка выделили, не пожалели, что на Новодевичьем. «Новый мир» больше новым не будет. Голову ему снесли, «Новому миру» Твардовского.

Она молча слушала меня, и лишь на секунду, или мне показалось, что-то блеснуло и скрылось в ее глазах.

Я потом долго еще говорил, но это никому не интересно. Тем более вам, живущим своим бетонным мирком в 30–40 кв.м. Был Твардовский, и нет его. Выкуем еще...

...Он мне очень напоминал хорошую добрую сказку...

Внутри стало пусто как-то, я не выдержал и закурил. Затягиваюсь сильно-сильно, и постепенно становится легче. Недалеко от кладбища, почти напротив, куча аллейки, в ней две-три скамейки, они под снегом. Не сговариваясь, садимся и молчим. Я курю, она сосредоточено смотрит на свою варежку.

— Вам не холодно сидеть? — спрашиваю я.

— Мне тепло, спасибо.

Пар у нее так и плынет изо рта. У меня тоже. Я тщательно и очень долго вминаю папиросу в снег и поворачиваюсь к ней.

— Когда вам нужно быть дома, к возвращению вашего мужа? — Почему я так?

— Ты удивительно догадлив, Санечка. Но, по твоей теории, я уже как полчаса должна быть дома.

— Да... простите, не думал, что время так унеслось.

— Не это важно. По вторникам всегда звонит вечером мама, ровно в семь часов, и я всегда жду. Поэтому, и только поэтому, мне пора.

Я молча подымаюсь и подаю ей руку. Проделываю процедуру, ставшую почти ритуальной: стряхиваю перчаткой снег с ее спины.

Неторопливо, потому что торопиться совсем не хочется, бредем в обратном направлении по Лужникам. К

метро. Голова абсолютно пустая. Одна только мысль долбит и не дает покоя: не прощаться с ней. Что-то задело, затронуло, потянуло, повлекло к ней. Я и сам не знаю что, убей Бог, не знаю. Но не хочется прощаться, прощаться, прощаться... и опять в пустоту — одному, одному, одному... Стихами заговорил, что ли?

Она как чувствует это, она всегда всечувствовала самым непонятным для меня образом, когда я и слова не говорил.

— Хочешь все-таки пойдем в спортивный музей? Я в нем давно не была.

— Я в нем ни разу не был. А где он?

— Совсем рядом, под аркой, только с другой стороны.

А как же ее мама, телефон, разговор, звонок? Впечатление, что она начисто все забыла. В моих глазах она видит такую искреннюю и неподдельную радость, что не может сдержать своей чудной улыбки.

Но я отворачиваюсь, не хочется, чтобы она видела. Стоит женщине дать сесть на голову, и пиши все пропало. Бабы есть бабы: они все зачем-то и кем-то ограниченные. И вдруг я брякаю:

— По-моему, в голове каждой женщины потенциально заложена только одна мысль: постель.

— А это к чему? — спрашивает она спокойно, не показывая удивления.

Я продолжаю лезть на рожон. У меня бывает такое. Не часто, но иногда бывает.

— Они, женщины, в моем понятии — как кошки. Этим все сказано. Система мышления у них приблизительно равна шахматному элементарному ходу, единственному, который знал О. Бендер: e2 на e4. Но стоит даже по той же букве изменить ход, например e3 на e5, как они тотчас начинают метаться, нервничать, не понимать, истерически хвататься за все и за всех — словом, полностью теряют голову.

Ее милое лицо меняет оттенок. Или мне кажется? Она делает паузу и спокойно говорит:

— У тебя, Санечка, не совсем правильное впечатление. Но... во многом я согласна. Это долгий разговор и не в этом месте...

Мне становится жарко на улице.

— Я не совсем так выразился, как хотел. Конечно, есть правила без исключения. Что бы я ни говорил, я всегда делаю на это поправку... Но в основной массе они все такие. С небольшими индивидуальными отклонениями.

Она улыбается. Лоб у меня, что ли, исчерчен мыслями. Впрочем, я добивался ответной реакции, я хотел увидеть ее вышедшей из себя и проявившей себя. Она просто:

— Не нужно делать для меня исключений. Я такая, как все женщины. Не лучше, не хуже.

Я останавливаюсь, закрываю глаза, жду. Открываю — она еще рядом. Улыбается мило и приветливо. Мне не верится. После всей этой чуши, что я нес, она еще не послала меня подальше?! Идиот, какой кретин! Ведь уйдет — не вернется.

— Почему мы стоим? — Она берет меня за руку и ведет, как сына. И я согласен, мне безумно нравится это, я, наверно, истосковался по материнскому началу.

— Вот и пришли, — говорит она.

В здание — через стеклянную преграду, отодвинутую моей рукой. Оказывается, надо раздеваться. Хуже некуда. Скрепя сердце снимаю верхнее облачение... Вот сейчас наверняка — убежит. Помогаю ей. Губы зачем-то, совсем бессознательно, потянулись к ее затылку на переходе в нежную шею. Вовремя опомнился, слава Богу, она ничего не заметила. Сдаю дубленки на вешалку и смотрю на нее. Стою и смотрю, оцепенев. Господи, Господи, что же это я, дурак, плел! И так упорхнет снежный лебедь, уплыв, так хоть мгновенье лишнее больше видеть и неизмеримо наслаждаться в сей короткий миг. Я уже абсолютно уверен, что она — это та женщина, что приходит,дается нам в жизни раз, один только раз. И больше уж не дается никогда. Второго раза не будет. Во всей нашей целой жизни не будет ни-ког-да.

Я также уверен, что эта женщина никогда не будет со мной, ни сейчас, ни после. Не для меня создаются такие. Слишком я ничтожен. Она не красотой и правильностью пленяла, нет. Какое-то абсолютное обаяние, непонятное очарование, словом, все что угодно, — я стою как болван

и не могу оторвать взгляда от этих пепельных волн, как расчесанный лен, спускающихся вниз, к середине спины.

Она поправляет быстро, едва заметным движением волосы, будто не хотят, чтобы заметили эту необходимость, публичную. А я все не могу оторвать от нее взгляда.

— Ты кого-то увидел, Санечка?

Она уже рядом со мной, отойдя от зеркала. А я все смотрю на то место, в пустое уже зеркало, как будто там осталось ее изображение.

— А? Что?.. — не понимаю я.

— Ничего, — говорит она, улыбаясь. Опять все поняла, наверно.

Хотя моя голова и не отягощена большим набором шоколадных мыслей, но не может же она читать их, как раскрытий букварь?!

— Надо купить билетик, Санечка. И, не раздражая тебя своими деньгами, я покорно жду...

Я пьянею. Беру два билета, благо укладывающиеся по цене, смотрю в зеркало на себя — аж жуть, — и мыходим внутрь.

Оговорюсь вначале: что ни одного экспоната, ни одной музейной реликвии, словом, вообще ничего я не видел. Кроме нее. Во всем уже существовала она, и я видел — только ее. Кажется, я начинал попадать. А мне этого ужас как не хотелось.

Она — гид:

— Вот этот кубок, Саня, завоеван... — интересно, когда она без лифа, у нее такая же высокая грудь? Судя по очертаниям...

— ... на олимпийских играх в...

Этот жакет ей очень идет. Первый раз вижу с капюшоном. Вообще у рожавшей женщины редко остается красивая грудь. Не их вина. Все же у нее не может быть что-то некрасивым. Вряд ли мне придется увидеть... Ладно, останемся хорошими друзьями. На крайний случай надо разобраться с платонической любовью. Наверно, халтура. И все же, какая у нее грудь...

— ... а как тебе нравится комплект этих золотых медалей?

Оказывается, мы дошли уже до медалей.

Грудь — это вообще мое слабое место.

Она стоит, сложив руки под ней. Жакет еще рельефней обрисовывает все. Да...

Откуда она знает про эти спортивные кубки, награды?! Прямо филигранная женщина какая. Я-то сам занимался спортом, долго, имел какие-то разряды, грамоты, ценные призы, но в жизни ничего подобного не знал и попросту не интересовался.

Я думаю и говорю:

— А я похож на импотента?

Она секунду подумала и ответила:

— А ты хочешь это здесь проверить?

Нет, эту женщину невозможно удивить или ошарашить.

Я запинаюсь. Вот кретин. Деградированный. И что за привычки.

Но продолжаю:

— Мне летом делали операцию. Облучали потом, и все. Теперь я хожу спокойный и тихий.

— Какое счастье, — смеется она, — наконец-таки встретила мужчину, которому ничего не будет нужно. Просто чудесно.

— Я не мужчина.

— А кто, мальчик?..

Потом, с интересом взглянув на меня, она спрашивает:

— Все-таки, Санечка, сколько тебе лет?

— Это не имеет никакого значения, но для вас скажу: пятнадцать, вас устраивает?

Она смеется одними только губами. Потом очаровательно нахмуривается и говорит:

— Нехорошо такому маленькому мальчику обманывать взрослых.

Я с абсолютно серьезным видом прошу прощения, и мы идем дальше к каким-то другим экспонатам. Зачем они в этом музее — непонятно.

Она листает какой-то иллюстрированный альбом. А я? Я рассматриваю ее руки. Я не заметил их красоты вначале. Необыкновенно женственные руки и в то же время — руки пианистки, в которых чувствуется своя, известная им одним сила. Ее руки чем-то удивительно похожи на

руки моей мамы, они листают снимки команд-чемпионов, не то по футболу, не то по волейболу. Неужели ее и это интересует? Чудесные руки.

Эх, не хватало мне еще на старости лет...

— Тебе понравились эти фотографии, а? — спрашивает меня хозяйка рук.

— Нет. Мне понравились эти руки...

Она все прекрасно понимает (да я ведь и не скрываю), задумчиво и долго смотрит на меня.

На улице заметно похолодало. Давно стало темно. Звезд мало, да я и не наблюдаю за ними никогда.

Мы входим в метро. Я! люблю метро! Вы не ослышались: я! люблю! метрополисен!

На часах восемь.

— Я сильно опаздываю, — лицо ее озадачивается.

Я молчу. Что я могу сказать? Только молчать.

Слышится шум подходящей электрички. Она снимает варежку и поправляет выбившиеся из-под платка волосы. Двери открываются. Никто неходит и не выходит. «Осторожно, двери закрываются». Она никак не реагирует. Двери закрылись, и «метрошка» (мой неологизм) с тихим шелестом унеслась. Она задумчиво смотрит на меня. Лоб слегка нахмурен. Она молчит и ждет. Приходят и уходят уже несколько поездов. Она стоит неподвижно. Лоб ее становится снова чистым и светлым.

— У тебя есть ручка?

Я ищу, но заранее знаю, что ее у меня нет. Она быстро достает и то и другое, спешно скользит по близине маленького листа. Приближается снова поезд. Она дергает нервно ручкой. Прорывает листок чуть-чуть.

— Это телефон. Ко мне нельзя звонить. Но с утра... я буду ждать.

Я наклоняюсь поцеловать ее изумительную руку, она мягко убирает ее, проскальзывает в вагон, и, как будто дождавшись ее, двери смыкаются в объятиях друг друга, и голубой вагон с номером серебристо-стального цвета уплывает. Быть может, навсегда. Телефоны ведь пишут иногда с ошибками. Достаточно лишь на одну цифру... Я стою обалденный и почему-то мгновенно пьяный. Кто-то заставляет меня грубым плечом — «другого места стоять не на-

шел!..». Ну и что ж тут такого, бывает, один человек нечаянно заденет другого, прекрасные пустяки. Неумолимые законы метро неумолимо действуют, я не замечаю и не обращаю на всю эту муть внимания. Перехожу на противоположную сторону, сажусь в противоположный вагон — и все.

От метро я иду пешком. Немного правее дороги, по которой ходят транспорт. Кругом темно. В голове почему-то хорошо. Никого не хочу видеть, только ее.

Мне этот день рождения нужен, как пятая нога. Нехорошо так говорить: человек родился.

Дверь открывает сама в этот день родившаяся. Целую в щеку, иду к своей папке, достаю заранее приготовленный подарок, вручаю.

Ташат к столу. За ним уже нет мест. Усаживаю с кем-то рядом на кровать. О! Павел, здорово! Я и забыл про тебя начисто. Накладывают, наливают (дал согласие на шампанское, полусухое), выпиваю, съедаю. Все равно тоска. Павел дышит рядом. Поднабрался уже, основательно. Ира, родившаяся только что, занята какими-то людьми, что сидят с ней за столом. В комнате полумрак.

Павла рука пришла со стаканом чешского стекла. Чокнулись. Стакан ушел вслед за рукою. Различаю за столом мужчину в военной форме. Очередной дуб, наверное. Все военные такие. Рядом с этим военным сидит представительница прекрасного женского пола, вероятно жена. Потом еще представительница, затем представитель... Рука Павла снова пришла. Ткнулась в мою и ушла с моим стаканом. Я многое не пью, а у него это все лимитировано. Сидим с ним на краю кровати, как бедные родственники. Сзади блюда вкусные стоят по кровати, а я с утра ничего не ел. Думал вечером разойтись, на неделю вперед наесться (денег нет, все промотал, когда будут — Бог знает). Как назло, аппетит напрочь пропал. Стало жарко, и я вышел в другую комнату. Перед тем как снять пиджак, достаю из него сигареты, не глядя, вынимаю одну и закуриваю. Странно-приятный и знакомый вкус... «Мальboro». Господи, когда она успела мне ее засунуть?! Наверно, в музее. На улице я все отнекивался, не хотел брать (не люблю

быть никому обязанным), а она, видимо, подумала, что папиросы по бедности курю.

«И когда ее не было, все ему напоминало о ней».

Невыносимо захотелось в это же мгновение, сию минуту, увидеть ее. Смачно затягиваюсь. На душе становится почти приятно. Только страшно тянется к телефону. Но сегодня нельзя. Завтра — можно. Все в жизни можно завтра. С девяти утра. «Нель-зя», — произношу про себя по слогам, вникаю, расковырявшись в них, в слогах. Снова нехорошо внутри. Втягиваю дым очередной затяжки, легчает. Приходит Павел. Замечает мою физиономию.

— Саш, ты что грустный такой? Может, поддадим?

— Не-е, не хочу.

— Ты наелся хоть? А то с утра хвалился, что все съешь.

— Да. Спасибо.

Нас прерывают, и он идет включать магнитофон: хозяин все-таки. Хотя посмотришь на него, улыбаться тянет — не всерьез. Павел, к слову, битломан. «Битлз» его страсть. У него записаны все диски, начиная с первых и кончая последним. Он вообще признает только поп-музыку. Помню, они как-то присаживали ко мне в гости. Я снимал тогда двухкомнатную квартиру, на Петровке. Борик (это мой брат) жил тогда со мной. Мы сидели, пили, когда он, оно вернулось с работы. Вино, к слову сказать, было очень хорошее и легко пилось, домашнее, виноградное, мне его с Кавказа прислали. Я познакомил брата с Павлом, и они спорили два часа кряду, до потери пульса, доказывая друг другу, что лучше — джаз или поп. Лично я за джаз. А вообще, если учесть, что поп вышел из рока, а тот в свою очередь произошел из традиционного джаза, то все станет на свои места.

До чего они доспорили, я так и не слышал, потому что ушел наверх к Верке. Они и утром продолжали спорить, когда я вернулся...

Он возвращается назад, включив музыку. Из коридора в комнату прячется легкая подсветка. Сизо-темный дым плавает и сворачивается в ней клубами. Название тому, что танцуют, дать трудно. Я это называю свободной деградацией тела в пластических движениях. Или, если хотите, наоборот: свободная деградация мышления в пласти-

ческих движениях тела. Сам я — не лучше. Но люблю деградировать с хорошей партнершей. Вторая половина должна быть отренирована во всех делах и отлично. В делах, в которых является — половиной. Я имею в виду.

Павел подплывает ко мне, слегка качаясь. Словно ялик на волне.

— Вот та Надя, о которой я тебе говорил, — шепчет он мне жарко в самое ухо.

Какая еще Надя! Не нужны мне никакие Нади. Но, чтобы не обидеть Павла, я соглашаюсь:

— Да, ничего, — хотя страшнее быть не может.

Павел озаряется пьяненькой или, вернее, подпьяноватой улыбкой:

— Пригласи.

— Не-е. Я пережду лучше. Не в настроении. Да и весне мой. Господи, до чего ж надоели эти несчастные «одиночки», которым вечно во всех компаниях, как затычку, ищут пару.

Павел уходит, приходит. Он уже забыл про Надю.

— Хочешь, тебе сейчас станет весело? Отключишься от всего.

Я внимательно гляжу на него. Наркотики для меня неприемлемы: человек я слабый, безвольный, податливый, привыкну и не брошу. Павел успокаивает, что это не наркотик, а просто «допинг». Действие как от трех пачек кофе. Всего лишь навсего трехпроцентный эфедрин. Свободно продается в любой аптеке. Он успокаивает меня, как родного.

Садимся на пол на кухне. (Я же говорил, что я податливый.) Он достает из кармана брюк маленький флакончик. Выпиваем по полпузырька, закусываем — он горький — сахаром и закуриваем Натальины сигареты. Павел доволен, тоже предпочитает не родные, а штатские. Ему все равно, какие штатские. А я из штатских только один-два сорта люблю. Лучшие, естественно, «Мальboro».

Заходит друг Павла. По-деловому перемаргивается, достает свой флакон и садится с нами рядом на полу, предварительно закурив.

— Ну как? — спрашивает Павел и, повернувшись к другу, говорит: — Первый раз. Я ему дал немного.

В голове у меня становится напряженно свободно. Но дышит идеально. Прямо чуть-чуть задыхаешься от такого количества свободно и легко вдыхаемого воздуха. В голове наступает удивительное спокойствие, но не покой. Отключившись, целиком думаешь только о близком тебе. Я думаю о ней. Я сосредотачиваюсь на ней. Страшно хочется ее увидеть. Невыносимо хочется. Услышать ее голос, увидеть улыбку, руки...

Я прекрасно сознаю, что делается вокруг, и в то же время отключен от всего. Павел снова обращается ко мне:

— Теперь ты расскажешь, почему грустный такой?

Теперь расскажу. В двух словах не расскажешь, но я попытаюсь.

Он все понимает. Он умничек, как Буратинка. Потом спрашивает:

— Такое чувство, что волосы шевелятся, есть?

— Да, — говорю, — есть.

Приятное очень чувство.

— Тогда давай закурим еще. Самый раз.

Мы закуриваем с ним по новой. Из ее сигарет. И тут я срываюсь, не выдержав, — бегу по снегу к автомату. Полрубля забыты в кармане пиджака. Кто-то добрый дает двушку. Рука почему-то дрожит, набираю номер... Первый гудок с прерыванием, остальные без — нормальны. Она должна подойти к телефону. Она не может не подойти к телефону. Она обязательно подойдет к телефону. Я так хочу. Она...

— Да... Алло!..

— Простите... я звоню по поводу обмена квартиры.

Из трубки еле слышно доносится музыка. Она, кажется, улыбается и весела.

— Я бы с удовольствием обменялась, да не с кем... — она смеется и говорит: — Вы ошиблись номером, молодой человек. — Отбой, гудки.

Я несусь, окрыленный, назад, сдва не сбиваю незамеченную старуху. Я рад, что ей всесело, я счастлив, что она подошла к телефону. Что этот телефон — ее.

— Сумасшедший, ты куда бегал по такому холоду раздетый? — спрашивает ожидающий меня в тоске Павел.

Я быстро сбрасываю все, поворачиваюсь к нему и говорю:

— Подадим! — говорю. — Ты как, готов?!

Он расплывается неописуемой улыбкой:

— Всегда готов.

Мы держим с ним стаканы с хересом (какая же все-таки дрянь — отечественный херес) и сидим на кухне, на полу. Чокаемся и выпиваем. Тишина, никто не мешает, день рождения проистекает где-то там, вдали. Павла хорошо подразвездло, и он говорит мне:

— Видишь, ты теперь веселый и радостный, это все после допинга! Очень хорошая вещь.

При чем тут допинг?!

— Ты ипохондрик, как и я, — продолжает Павел. — И поэтому... я люблю тебя больше всех на свете! Дай я тебя поцелую, — он наклоняется и целует меня.

И я верю, что сейчас он любит меня больше всех на свете. И говорит это от души. Я тоже люблю его сейчас... но не больше... впрочем, это не любовь.

— Я тебе, Са, обещал подарить карты с голыми бабами, бери. Диски обещал дать послушать, забирай на всегда. Флаг американский на стене нравится — сворачивай. Все забирай. Ну, вот тебе еще флакон этого, про запас. А то аптеки сейчас закрыты.

— Да что ты?! А я собирался сейчас бежать.

Я машинально засовываю пузырек в вельвет джинсов.

— Нет, они закрыты. И вообще, — не унимается он, — давай выбросимся из окна. — (Раз, два и выбросились!)

Я привык уже ничему не удивляться.

— Давай, — соглашаюсь я.

— И дадим! — уверяет меня Павел.

— Мой знакомый три дня назад выбросился с восьмого этажа в МГУ, со мной учился. А чтоб не передумать, поставил стол к окну, разбежался и прыгнул. Оставил записку: «Зачем мне эта жизнь?»

— А правда, скажи, зачем нам эта жизнь?

Я подумал-подумал и не смог ответить.

— Осточертело все. Надо выбрасываться. Сейчас.

Я киваю головой в знак согласия.

Павел поднимается с пола, идет к окну, дергает и

открывает его. Воздух ночи, снега и мороза вплывают и разносится по комнате. Он тем временем, не спеша, но то же время проворно и всерьез, перекидывает одну ногу на улицу, через подоконник — на воздух. Я о чем-то думаю, потом не спеша раскрываю рот и говорю:

— Может, не надо прыгать, а, Павел?

— Нет, прыгну, но только с тобой. Иди сюда, выбросимся вместе.

Я встаю и подхожу к нему.

Он сильно сгребает меня и тянет за собой туда, где его нога, наружу. Все это длится примерно минуту. Потом ~~то~~ ли инстинкт самосохранения, то ли еще какие-то фрейдовские дела охлаждают меня, и я говорю Павлу, по-прежнему рвущемуся вперед, то есть вниз:

— Ведь не разобъемся: четвертый этаж только, жаль. А так выброситься совсем не сложно. Ты меня понимаешь, Павел?

А перспектива предстать перед ней калекой и вовсе меня успокаивает. Как машинист локомотив...

Я повторяю, втолковывая Павлу, что этаж только четвертый, а не восьмой, как у того из МГУ. Он думает не много и, согласившись, забирает свою ногу назад, будь она счастлива.

Мы снова усаживаемся на пол и дружно (как будто уже выпили) закуриваем, каждый довольный своему вью, ужасаясь, что я не пробовал ее «наполеона», собираясь. Время позднее. Уже завтрашний день наступит.

Не успели мы выкурить по сигарете, как на сцене забывает предложить мне остаться на ночь. (Эх, а с утра появился военный. (Те же, явление второе, и военный.) я так надеялся на завтрашний, они прекрасны, эти завтрашние завтраки с остатками самого вкусного, многоного,

Павел громко шепчет мне на ухо:

— Он в управлении работает, не болтай лишнего.

— Что ж ты нас не знакомишь? — замусоленноюсь, расцеловываюсь с ними и выхожу на улицу. Возвращаюсь, кажется лейтенант. Боря, брат, тоже дух чудный — свежий, морозный. Пар клубами валит изо рта.

не вспоминает прошлые годы.

— Это Саша, — бурчит Павел, который уже был там, ~~за~~ нас уже не повезет, и чуткие кони не затрясут сверка-гранью самоубийства, да не вовремя остановили. Потом ющими гривами в ночи. Снова в метро, где море огней. В он мне представляет того. Я так и не словил его имени, которое еле успеваю. На «ВДНХ» приезжаю с последней Вообще ненавижу пустые, никчёмно-ненужные знакомст-электричкой. Бреду потихоньку, довольный, по снежной улице к земному общежитию... А оно оказывается закры-

лейтенант начинает нести какую-то галиматью, точ-нее, х... Перебиваю его и говорю, что хочу в туалет. Иду в туалет и сижу там долго-долго. Потом дергаю для прав-дивости болваночку на цепочке и выбираюсь оттуда.

Военный ждет меня, улыбаясь. Не обиделся, странно. Оказывается, он не такой уж глупый мужик, разбирается в разных вопросах, которые, казалось бы, никакого отношения к его службе не имеют. А может, и наоборот — имеют...

Попутно жалуюсь ему, какая идиотская у нас военная кафедра, самая поганая во всей Москве. До чего там тошно и хреново, даже Буденный, Сёма, не знает. Он сочувствует мне, военный. (А может, он и не Сёма, Буденный-то?) Но хрен его знает, страна не знает своих героев, тем более какой он там герой — жопу Сталину лизал, впрочем, сами пускай разбираются, там у них — черт голову сломит.) Военный еще что-то говорит. Но я устал от всего. Хочу быть только с ней, других желаний нет. Нет, и все тут. Запропавший Павел, как бumerанг, возвращается и прерывает наш разговор, таща стаканы. В одном из них, чудом раздобытое, случайно уцелевшее, шампанское обнимаемся. Время позднее. Уже завтрашний день насту-

пил. Ира вспоминает, что я еще (как ни странно) существовали, закуриваем, каждый довольный своему вью, ужасаясь, что я не пробовал ее «наполеона», собираясь. Время позднее. Уже завтрашний день насту-

пил. Ира вспоминает, что я еще (как ни странно) существовали, закуриваем, каждый довольный своему вью, ужасаясь, что я не пробовал ее «наполеона», собираясь. Время позднее. Уже завтрашний день насту-

пил. Ира вспоминает, что я еще (как ни странно) существовали, закуриваем, каждый довольный своему вью, ужасаясь, что я не пробовал ее «наполеона», собираясь. Время позднее. Уже завтрашний день насту-

пил. Ира вспоминает, что я еще (как ни странно) существовали, закуриваем, каждый довольный своему вью, ужасаясь, что я не пробовал ее «наполеона», собираясь. Время позднее. Уже завтрашний день насту-

пил. Ира вспоминает, что я еще (как ни странно) существовали, закуриваем, каждый довольный своему вью, ужасаясь, что я не пробовал ее «наполеона», собираясь. Время позднее. Уже завтрашний день насту-

пил. Ира вспоминает, что я еще (как ни странно) существовали, закуриваем, каждый довольный своему вью, ужасаясь, что я не пробовал ее «наполеона», собираясь. Время позднее. Уже завтрашний день насту-

тым! Я впервые живу в общаге. Не знал. Но делать что-тождет, чтобы волноваться. А может, и не все так деланадо, и я делаю. Через некоторое количество времени ~~ют~~. Может, кто вообще без штанов ходит...
ответ слышу такое, что и написать неудобно. Потом вах ~~Шотландцы~~, например. Это ж надо, удумали! терша, чихвостя, впускает меня. Прошмыгиваю шелестом — У тебя пасти есть, страдалец? — это он обращается по лестнице, ведущей вверх, бесшумно открывая притвор ко мне.

рениную на честное слово дверь, добираюсь до своей узкой девичьей кровати, падаю и, как бездыханный, проваливаюсь в сон праведника.

Интересно, а снятся ли праведникам сны, и какие?.. Неужели я сейчас похож на такого? Кошмар! Он пошел принять процедуру, да пасти вышла. У него всегда все выходит, когда надо идти мыться. И я его подкармливаю хорошим мылом и хорошей пастой. В Москве это всегда дефицит.

Проснулся я от какого-то толчка, на улице и рассвещавшейся Проклятое время тянется как резина. Гриша даже из еще не забрезжил. Пытаюсь снова уснуть, не получается. Кошмарное настроение. Не Гриша тоже спит. Гриша из Рязани, он обещал разбудить меня перед уходом на занятия. Он занимается с девяти утра. Вообще-то город Рязань и мое пробуждение с ~~сп~~ Монро, но посильнее. Грудь — бесподобная. Даже не помощью связи никакой не имеют. Это я просто так, дурачусь. Изредка, очень натурально получается...

Спящий мерно посапывает в своей казенной кровати. А я? Хочу же я все-таки спать! Поворачиваюсь лицом к стенке. Картинок не видно, темно. Забываюсь в разных мечтах на некоторое время.

В комнате уже посветлело, я чувствую через плотно сомкнутые веки. Так как все в лилово-красноватых тонах. Открываю, щурясь, один глаз. Не помню точно, какой Но, если я правша, наверно, правый?

— Гриня, — (я так его зову, при начальном, фривативном «г»), — тебе не пора в институт? Еще.

Гриня, как ни странно, намек понял. И сказал, что только 8 утра, у него часы на руке. Еще целый час мучиться. Больше всего в своей короткой, но странной жизни я ненавижу ждать. Я из себя начинаю выворачиваться наизнанку, когда приходится или обстоятельства заставляют ждать, неважно кого или чего, ненавижу. Начинаю считать: один, два, три...

Наконец появляются из-под одеяла части, а затем целый Гриша. Он, не волнуясь, начинает натягивать штаны. А чего ему волноваться. Сначала левую штанину, по том правую. Справедливо: ему волноваться нечего. А мы жики, кстати, все так делают, я об очередности на тягивания штанин. Это и понятно, не жену из роддома

шотландцы, например. Это ж надо, удумали!

— У тебя пасти есть, страдалец? — это он обращается ко мне.

Неужели я сейчас похож на такого? Кошмар! Он пошел принять процедуру, да пасти вышла. У него всегда все выходит, когда надо идти мыться. И я его подкармливаю хорошим мылом и хорошей пастой. В Москве это всегда дефицит.

Проклятое время тянется как резина. Гриша даже из ванной еще не возвращался. Кошмарное настроение. Не поругаться бы с кем. И тревога какая-то, нехорошая. Смотрю на свою любимую бабу, здакая Мэрилин

Монро, но посильнее. Грудь — бесподобная. Даже не верится, чтобы неразумное человечество могло создавать такие груди. Скольжу взглядом, размер шестой, наверное, но высокий и задранный. Настроение несколько проясняется. Под боком Гриша, продолжает свое уже послепроцедурное переодевание. Смотрю на его грудь... опять паршивое настроение.

Великодушно согласившись приехать... Она взошла торопливо по ступенькам. Что-то неуловимое излучается от всей ее, окутывает облаком. Какой-то обалденный запах.

— Доброе утро, Наталья, — голос все-таки дрогнул, произнося ее имя.

— Утро доброе, Санечка, — она сделала вид, что ничего не заметила. — Вот я и в вашей обители.

Я абсолютно не мог себе представить нашей первой, что ли, официальной встречи. Как говорить и что говорить, я ума не мог приложить.

Она пришла, возникла, а я как онемел, стал деревянный, тупой и оловянный.

Она молниеносно освоилась, как будто жила здесь не год и не два, вписавшись даже в этот пейзаж давно не ремонтированной натуры. А что говорить, я так и не знаю. Суетясь вокруг нее, как мотылек вокруг бабочки. (Знаете, есть такие прекрасные черно-смольные с темно-синим в

крыльях или спинке, забыл название.) Я все суетясь, суетясь.

А она... сама сняла дубленку, я хоть догадался под ватить, повесить на вешалку. Сняла платок, какой-то черный с кистями. Мне нравится уже темный, черный цвет. А раньше только импрессионистические, яркие. Взрослею, наверно. Она сняла маленький шарф, обматывая щиколочное горло, и осталась раздетой, без верхней одежды то есть. На ней натуральная замшевая юбка густого болотного цвета, миди, кофта-жакет с капюшоном, вязанная в крупную английскую резинку. Волосы гладко зачесаны назад. И сзади в волосах продержнута не то лента, не то толстая вязаная нить, свисающая концами вниз. Она хороша! Я, наверно, не могу скрыть своего восхищения, хотя стараюсь.

Гриня тоже стоит раскрыв рот и неотрывно смотрит на нее. Меня он, судя по всему, в упор не видит.

— Это Гриша, — представил я: надо было хоть что-нибудь сказать.

Он дичайше смущился и ляпнул:

— Ага, — у него, видно, состояние не далесое от моего — Наташа, — она мило улыбнулась.

Еще бы ей не улыбаться, когда два остолопа раскрыты стоят и смотрят на тебя, потеряв дар речи.

Она прошла к моей кровати и проронила невзначай:

— Насколько я поняла по машинам, это твой укромный уголок?

Я густо покраснел. Голые, одетые, полураздетые бабы висели на стене вперемешку с гоночными машинами. Позы их были пикантны и дерзки, груди высаживали шарами из лифчиков и коротких блуз, бедра и талии звали прикоснуться... Формы рвались из себя. Это моя школьная коллекция. А сейчас... не смотреть же на обшарпанную стенку, вот я их и развесил. Она сделала непроницательный вид и принялась молча рассматривать гонки. Вырезки были из итальянских, французских, американских авторекламных журналов. Из «Мужчины и женщины» Трентиньян в своем великолепном «порше» под номером даже сейчас помню, «917», несколько снимков из «Большого приза», который решил мою судьбу, окончательно

бесспорно, и с тех пор я брежу гонками во всех видах.

Машины любых марок и моделей стали моей страстью. Я дышу на них и не могу дышать без них.

— А ты знаешь, что на последних гонках «порше-917» установил рекорд мира по скорости на отдельном участке — триста двадцать километров в час, с реактивным двигателем. Это произошло, кажется, на Гран-при в Голландии.

Как, она еще и в машинах разбирается?!

— Я сама очень люблю эту машинку, — и принялась рассматривать стенку дальше.

Господи, кто же мне такое творение послал и за что! Неужели есть всезнающий и всевидящий? Так я ведь не заслужил. Мне не за что. Я смотрю на ее профиль. Больше всего в жизни я боялся влюбиться. Мне это абсолютно было не нужно. Только покажи свои эмоции, чувства женщины, и она усядется тебе на голову.

Интересно, а как она ко мне относится? Судя по ее виду, она думала, как одеться. Но это же еще так мало значит: каждая женщина такова: хочет хорошо выглядеть и нравиться. Может, она всегда привыкла одеваться со всем тщательностью, аккуратностью и старанием.

Вдруг брови ее нахмурились, она смотрела на фото, где в результате аварии на круге голова отдельно от гонщика взлетает над загоревшейся машиной.

Она тут же перевела взгляд повыше.

— Санечка, а тебе нравится Арьян?

Его огромный рекламный портрет кто-то привез из Франции и подарил мне.

— Я люблю только джаз и соул-музыку. А повесил просто так, чтобы стенка не пустовала.

Она принялась рассматривать дальше, выслушав мой ответ.

Гриня слинял так бесшумно, что я даже не заметил. Мы остались одни в комнате. В которой четыре стены, один пол и один потолок. Нет, никаких мыслей даже не возникло, даже мельком не пронеслось в голове. Она уже стояла на пьедестале, возведенном, и возведенная мной.

Наталья устало опустилась на мою кровать, предварительно задернув постель шерстяным казенным одеялом

с серо-чёрным клеймом. Одеяло тоже светилось в ее руках, как все, к чему она прикасалась.

— Я сегодня плохо спала, Санечка, сама не знаю почему. Так что ты прости, что я уж сразу села... без приглашения.

Было нервально, что она может вот так запросто обратиться ко мне, говорить со мной. Что она спит и может спать плохо и что есть кровати, которые держат ее тело, простыни, на которых она может лежать, спать. Прошел кратчайший отрезок нашего знакомства, и я покралась своему паническому страху, своей боязни потерять ее, так и не обретя.

— Кошмары снились? — глупо осведомился я.

— Нет... не спалось как-то. А чем ты занимался?

— О, я спал без задних ног. Если бы Гриша не разбудил, так точно проспал бы и твой приход, и все на свете.

Она взглянула на мое девственно-врущее лицо, но ничего не сказала ничего.

Потом улыбнулась:

— Ты так и будешь стоять, переминаясь с ноги на ногу, как провинившийся школьник перед учительницей?

Не мог я сесть с нею рядом. Ну не мог. Это было невозможно. Эта невзрачная, несчастная кровать, похожая на мою жизнь, приобретала свой особый смысл. Оттого что — на ней сидела Наталья. Мне казалось, что что-то изменится, произойдет, если я сяду с нею рядом... Согласно всем, кажется, выживаю из ума.

— Спасибо, я постою.

Язык еще вдруг как присох. Я мог трепаться с кем угодно и о чем угодно, а тут хоть застrelись, слова нужно вымолвить не могу. Я просто стоял молча и очень сложно менялся внутри. Я преклонялся перед нею. Честно говоря, у меня никогда не было такого состояния, я не знал, что такое может быть.

— Раз тебе хочется, то постой. Не думала, что я на зверскую реакцию: прилетела мама. Остановилась в «России», вызвали неотложную «скорую помощь». Мне это помогло:

Я натянуто улыбнулся.

— Саня, а ты что-нибудь кашал с утра? Конечно, нет. Вероятно, разъехался с Б., к тому времени мы порядком же ведь чуть не проспал мой приход. — Она пристально озабочено смотрела друг другу, и поехал домой отдохнуть.

но взглянула на меня. — А это очень вредно, одевайся, и мы сейчас же пойдем кормиться. Ты ведь маленький мальчик, за тобой нужен глаз и уход. Мама твоя далеко, а так как я гожусь тебе в мамы...

Она, богиня, спрашивала меня, несчастного грешника, о какой-то еде! Я вовсе не обиделся за «мальчика». Раз она так считает, значит, так и есть. А потом, в этой, как я понял, полуматеринской заботе было много приятного внимания. А когда тебе его вообще никто не уделяет... И вдруг уделяет она!..

Автоматом я подал ей дубленку, по-моему, так и не присутствуя пока на земле, оделся сам, и мы вышли из пылающего для меня общежития студентов номер два — на чистый, ясный, морозный воздух.

— Наталья, а давай посдем к моему родственнику на работу, он работает в поликлинике.

— А что, Санечка, у тебя что-то болит? — она тревожно взглянула на меня.

— Нет, — я даже засмеялся.

Мне не терпелось показать ее Б. Мне вообще хотелось, чтобы меня видел с нею весь мир. Чтобы все-все видели меня, жалкого Саньку, рядом с ней, с Натальей. А уж Б. — тем болес.

Б. — это мой родной брат. Сколько я себя помню — он мне брат. Я никак не могу избавиться от этого. Он врач и зарабатывает себе прописку в Москве. До недавнего печального времени мы жили вместе с ним, меняя одну квартиру за другой. Потом Б. и это все мне страшно напомнило, и я решил уйти на «дно» после рождественских каникул и пожить пару недель в общаге.

Сессию я сдал из рук вон плохо, на все четверки. Сдавал я ее целиком за десять дней. Так как первую половину прошлялся с какими-то подругами, и не последнюю скрипку в этом играл мой брат Б. Последовала немедленная реакция: прилетела мама. Остановилась в «России», вызвали неотложную «скорую помощь». Мне это помогло:

я быстро спихнул сессию, порвал последние ниточки с Веркой, разъехался с Б., к тому времени мы порядком же ведь чуть не проспал мой приход. — Она пристально озабочено смотрела друг другу, и поехал домой отдохнуть от тру-

дов и забот прошлой сессии и тягчайшего семестра Из-за которого я вообще мог попрощаться с институтом И благодаря которому я встретился с Натальей. Наталья Наталья — какое волшебное имя.

...И приехал домой. Где получил жестокий инструктаж от прародителя, кучу ВЦУ, впал в какую-то не то де прессию, не то меланхолию, что свет стал не мил. С той и вернулся с каникул. Не прошло и недели, как вдруг встретил ее.

Не скажу, чтобы ей особо понравилась моя идея встречи с братом. Она догадывалась, видимо, об истинности причин, но ответила:

— Если тебе очень хочется, то поехали.

Но ни сейчас, ни потом, ни вообще она не отказывала мне ни в чем и не противоречила никогда.

Я робко стукнул в дверь кабинета, за которой восседал величайший из гениальных, гениальный из благодатей существующих, действующий из существующих — мой брат Б.

— Нельзя, — властно донеслось из-за двери.

Еще бы! Узнаю брата Борю. Вечно у него что-нибудь нельзя. Я стоял около двери, наблюдая за Натальей, смотрящей в заинцевевшее окно. Выкатился большой альбинос Пух, и вслед за ним — встать! стоять смирно снять шляпы! — выходит мой брат Б. Моя ягодка, моя жемчужинка, моя смородинка. Моя черешенка проронила, мое золотко обронило:

— Злодейская козявка, почему тебя так долго не было?

Я страшно смущился. И быстро-быстро зашептал, краем глаза пытаясь увидеть, что делает Наталья.

— Если ты считаешь, что прошло много времени с дня последней гулянки, на твоем дне рождения, то все-лишь неделя. К тому же я не один.

Его хищный взгляд и орлиный профиль разом охватил второй этаж и остановился на макси-дубленке, в котором сидела Наталья, по-прежнему не отрываясь от окна. Интересно, что она там увидела?!

— Козявка никак делает успехи и решил продемонстрировать их мне.

— Пойдем, Б., познакомлю, — я взял его за манжет бе-

лоснежного халата. За время шествия он успел выдернуть руку, вежливо попросить, чтобы «я не хапал своими грязными лапами хрустальную мечту его розового детства — белоснежный халат», и сдвинуться от отеческого подзатыльника, вероятно, в силу того, что мы были в двух шагах от дамы-незнакомки.

— Наталья, — сказал я, она быстро обернулась и мягко глянула на меня. — Это мой брат Б.

Б. бросил на нее один из своих коронных, обжигающих зеленым блеском взглядов. Реакции никакой не последовало. Она едва взглянула и обыкновенно проговорила:

— Наташа.

Первая женщина, которая никак не отреагировала на моего брата! Ну, товарищи. Знаете ли! Никогда уже он не отнесется к ней со всему пылкостью сердца и чуткостью своей прекрасной души.

— Б., — представился он и добавил: — Весьма приятно.

— Санечка, мне немножко жарко. Можно спуститься вниз?

У Б. несколько отвисла челюсть. Я замер. Удивительная женщина. Потом засуетился:

— Да, конечно, сейчас, одну секунду.

Наглый взгляд братца был наградой за первые очки не в его пользу.

— Не спеши, пожалуйста, я сама спущусь. Тем более брат тебя давно не видел.

А?! Значит, она слышала. Теперь у нас обоих с Б. отвисло по челюсти.

Она, мило улыбнувшись, ушла.

Тут же начались краткие прения:

— Откуда? — спросил он.

— Не знаю, — ответил я.

— Надолго? — спросил он.

— Не знаю, — ответил я.

— И как далеко зашло? — спросил он.

— Не знаю, — ответил я.

— Идиот, — не выдержал он, — а что ты знаешь?

— Не знаю, — ответил я.

— Хорошо, подожди минут пять, я окончу присмотр и пойдем поедим.

Я бросился вниз. Сломя голову.

— Как тебе мой брат, Наталья?

— Типичный мой муж, такой же самовлюбленный эгоист.

Как она за две минуты поняла то, что я пытался ее мыслить два года, день за днем, непонятно.

— Насколько я догадываюсь, он тебе не понравился?

— Нет, почему же. Симпатичный, приятный мужик, (это слово звучало у нее не грубо), — что еще нужно бапрохожий. Но мне такие не нравятся. Но мне наталкивалась (и от меня отталкивалась) встречный бам, — (это тоже — не грубо). Но мне такая чужой полуобглоданной костью. В Москве таких персонажей тысячи и тысячи. Автора никак не найдут. обвораживающе-завораживающим взглядом. Только мне это.

Ей не хотелось говорить, а хотелось уйти. Я же обещал подождать его. У людей бывают разные дурацкие привычки. У меня — выполнять обещанное, хоть в лепешку расшибусь. Она ничего не сказала, и мы стали терпеливо прогуливаться по поликлиническому двору.

Брат мой никогда не отличался пунктуальностью, а ту выскочил уже через две минуты, степенно выйдя из дверей. Не могла его гордая натура смириться с первым ее том явно не в его пользу. Приходилось запасаться терпением и невыполнением.

Он, она и я вышли из двора и пошли к Савеловскому вокзалу. Были когда-то такие купцы Савеловы, и называет, когда в хорошем настроении. вокзал принадлежал, — да поразметало... Так он недалеко работал.

— Вы учитесь, Наташа? — спросил Б. Ее имя привычно прозвучало из чужих уст.

— Да, без пяти минут специалист.

— И кто же, если не секрет? — спрашивал Б. дальше.

— Какой уж там секрет: преподаватель английской языка.

— Вам нравится это? — снова спросил он.

— Я и сама толком не знаю. Хотела быть пианисткой из-за руки пришлось бросить училище. И поступать в университет.

Я ничего об этом не знал. Я вообще ничего о ней не знал. Да и откуда.

Она начала оттаивать. Разговор их оживился. Б. сел на своего любимого конька, рассказывал, что если он кем и станет, то только министром (заметьте, и не меньше) здравоохранения (спаси нас, Господи). Они шли прямо по заснеженному тротуару, не обращая на меня даже и уля внимания. Я пытался подрулить к ним то справа, то слева — бесполезно. Либо я путался у них в ногах, либо на меня наталкивался (и от меня отталкивался) встречный прохожий. Либо догоняющий, тоже... прохожий попросту.

— Насколько я догадываюсь, он тебе не понравился?

— Нет, почему же. Симпатичный, приятный мужик, (это слово звучало у нее не грубо), — что еще нужно бапрохожий. Но мне такие не нравятся. Но мне наталкивалась (и от меня отталкивалась) встречный бам, — (это тоже — не грубо). Но мне такая чужой полуобглоданной костью. В Москве таких персонажей тысячи и тысячи. Автора никак не найдут.

С утра я голодный, на улице холода, Наталья уже улыбается Б., а он ее взял под локоть. От всего этого я, заставив в глухом миноре, плелся позади.

Б. что-то рассказывал, кого-то имитировал, Наталья грациозно сбивая снег с рукава, улыбалась. Им было весело и хорошо. Моя депрессия снова подкрадывалась незаметно. Внутри стало привычно пусто, что-то засосало под вздохом, возник этот проклятый неосознанный страх. Где этот флакон Павла, куда-то засунул, то ли в общежитии забыл.

Наконец в переходе обо мне вспомнили.

— А где же Санчик-чик-чирик? — снизошел Б. Я превратился уже в Санчика из Козявки. Он всегда меня так называет, когда в хорошем настроении.

— Я здесь, — пробормотал неохотно Санчик.

Прямо у Савеловского вокзала недавно отстроили пятерочку кирпичных многоэтажек. В одной из них, что стоит на углу, — кафе-стоячка. Ох, уж эти мне стоячие забегаловки! Но Б. так и надо. Когда жил со мной, как у Христа за пазухой питался. Я его кормил лучшим. Теперь — пустой ест столовковское дермо.

— Что будете, Наталья? — учтиво осведомляется он. Б. с видом миллионера подошел к буфету.

Наталья сразу отказалась от всего. Пошла и стала за стойку, в самом углу. Хотел я было отомстить Б. и наесться за его счет (последний рубль я отдал в «моторе», когда

ехали к нему), но передумал: решил, зачем бедному «са-вейскому» терапевту портить единственную за день трапезу. Отказался тоже и пошел в угол — к ней. Б. стоял, не понятно улыбаясь, не то от счастья, что так дешево отдался, не то черт его знает почему. Наталья уголком глаза следила за моей недовольной физиономией, почти улыбаясь.

За круглой стойкой места было много, и мы расположились правильным равнобедренным треугольником. Каждый видел двух других. Слева — Наталья, справа — Б. Он жует, она — вроде сияет, глядя на меня, не пойму. Никого она глядит? Я верчу дубово-граненый общепитовский стакан. На дне болтается немного пива, налитого братом. Совсем отказаться было неудобно, он мог, пожалуй, обидеться. Я кручу стакан, Б. уплетает за обе щеки. Он никогда не давится... А жрать хочется — вот-вот слюна, как у собаки Павлова, пойдет. Б. уплетал, умудряясь в перерывах между своими троглодитскими заглатываниями, изощряясь перед Натальей в остроумии.

Еще секунда, и я бы ушел. Она глянула на меня. Я не могу ни сейчас, ни потом передать, что было в этом взгляде. В нем было все. В нем был я, только я, один я. Глубина, обещание исполнения любых желаний и еще много-много всего, чего ни пожеласт моя глупая головенка. Дурак мой Б. сиял, думая, что она от него уже без ума и второй раз он выиграл; да и я не дальше ушел внутри, думал, что так и есть. Ничего мне ее этот взгляд толком не объяснил. Ни во что я не верил, да тогда и поверить не мог. Кто сразу верит в свалившееся нежданно-негаданное на голову счастье? Я был несчастный человек. А он вообще ни во что не верят.

Наконец-таки Б. насытил свою утробу. И мы вышли в кафе, мой стакан так и остался недопитым. Обычно я бы допивал.

Наталья вежливо, по-зимнему, попрощалась с Б. Чмокнул его в подставленную сырую щеку, и мы направились в разные стороны.

Она начала первой.

— Санечка, глупый, ну что ты надулся, как маленький бычок? Это совсем не серьезно. Он твой брат, тем бол-

родной. И понравился он мне или нет, я должна себя вести как полагается. Достаточно, что я в поликлинике бзыкнула и ушла во двор. Есть такое понятие — такт. В чем брат виноват? Ну, глупыш, не обижайся. — Она остановилась среди улицы и повернулась лицом ко мне. Она оправдывалась. Ничего себе! Почему, со всеми моими фокусами, она до сих пор не послала меня к черту? Этому обстоятельству я буду удивляться все время. Удивляюсь и до сих пор.

Потом лицо ее стало клониться, приближаясь ко мне. Вдруг, что-то вспомнив, она отпрянула, улыбнулась ласковой улыбкой. Еще улыбкой. И еще раз повторила:

— Санечка, право, это несерьезно, не дуйся. Если я тебя нечаянно обидела — прости.

Осел Санечка, наконец-таки, пришел в себя и осознал: Наталья, его Наталья, его богиня, сошла с пьедестала и просит у него, у подставки, прощения. Он никчемно и не нужно засуетился, забормотал что-то пустое, поскольку упал, попкой прямо в снег. Все развеселились. Она быстро протянула ему свою теплую ладонь. Рука оказалась странно крепка. Она и потом всегда протягивала ему свою чудесную, все обезболивающую руку: в большом и маленьком, в хорошем и плохом.

Не могу себе объяснить абсолютно ничего. Пока она со мной, я как теленок. Несу какую-то чушь и чепуху, совсем не соображая. Как только остаюсь один — начинается страх. Неосознанный, непонятный и жуткий страх. Пью эфедрин. От этого еще хуже. Все время тянет курить. Мысли концентрируются только на ней, в центре фокуса она — Наталья. Когда ее нет, я заранее строю наш разговор. Сочиняю свои фразы. Оттачиваю их. Изощряюсь. Пытаюсь придумать ее вероятные ответы.

«—Наталья, я звонил тебе вчера. Он снял трубку.

— Ничего страшного, Санечка. Нужно было позвать меня к телефону. Он ничему уже не удивляется...

— В смысле?..

— Как-нибудь объясню потом. Лучше звони мне всегда с девяти утра. Он уходит на работу.

— А можно ровно в девять? — острю я.

— Тебе все можно. Ты же маленький мальчик. — Ка- жется, она смеется.

— Наталья, тебе нравятся ребята из группы «Эмерсон Лэйк энд Палмер»?

— Трудно сказать. Я не люблю шумную музыку, но последний их диск неплохой.

— Ты знаешь, я их никогда не любил, как вообще все рок, но «Битлз» и «Эйби Роуд» — это прекрасно. Такая напевность, лиричность и, главное, такая вариативность музыки, что и про себя напеть трудно. А как тебе Армстронг?

— С Фитцджеральд они чудо. Особенно «Порги и Бесс». Мне подарили знакомые альбом этой оперы.

— А что насчет Тони Зейлера? — Я меняю тему.

— Это бог. Я когда-то сама пробовала скакать по горам. Но кончилось это печально, вывихнула ножонку.

— Ты смотрела «Большой приз»?

— Да.

— И как?

— Одним словом не объяснишь. Мне очень понравился Пит Арон. Герой, тип шестидесятых годов, великолепный мужчина. Чудесная роль.

— Ты никогда не смотрела чехословацкую фотографию, журналы?

— Почему же? Пару лет мы даже выписывали ее.

— Там есть совершенно гениальные снимки. Например: морда иззыхающей, упавшей на дерби лошади наплывающая крупным фактуражем на полные слез голубые глаза наездника.

— Да, Санечка, особенно гениален «фактураж» морды и голубые глаза, — она звонко рассмеялась.

— Наталья, почему тебя не удивляет, что я прыгаю с мысли на мысль?

— Я догадываюсь, милый, почему.

— И все же спроси...

— Санечка, почему ты такой разнобойный?

— Хо-чу-всё-зна-ть, — с расстановкой сказал я и дико заржал.

— Что с тобой, почему ты так дико смеешься?

Я с трудом успокоился:

— Раньше с Б. мы часто представляли себе такую картинку: я стою с молотом и, как в кино журнале, бью с чувством, с толком, с расстановкой своего папу по голове. Голова выполняет роль наковальни. А Б. в это время, спокойно и мерно отбивая тект ногой, декламирует сакральное «Хочу! Все! Знать!».

Она засмеялась, потом добавила:

— Бессовестные! Два здоровых лба, занимаетесь такими глупыми вещами.

— Ну, это же шутка.

— А я думала всерьез...

Мы говорили обо всем, мы говорили ни о чем.

— Санечка, ты позвонишь мне завтра утром. Хорошо? — голос мягкий-мягкий, почти грудной.

Я смущаюсь:

— Да, да, конечно. О чем ты спрашиваешь?.

Она всегда будет спрашивать меня. Каждый раз, прощаясь, она задавала один и тот же вопрос. Немного разные оттенки, интонации, немного переставленные слова: позвоню ли я? Неужели она сомневалась, неужели она даже думать могла об этом. От одной этой мелочи я был счастлив. Я мог упорно и стойко ждать следующего свидания.

Девять утра, я дефилирую у автомата. Я воспринял также серьезно ее разрешение звонить ровно в девять, как она серьезно дала его. Я не мог позволить себе роскоши звонить ей минутой позже, услышать ее голос позже, без которого я уже не мог. С ее именем я ложился, просыпался, вставал, дышал и жил. Прошла только без году неделя, а она стала для меня... Я не говорил ей ни о чем. И не скажу никогда. Все что нужно, увидит сама. Правда, при такой маскировке такого разведчика, как я, невозможно что-либо увидеть.

— Доброе утро, Наталья.

— Утро доброс, Санечка. По тебе можно часы сверять.

— Пунктуальность — вот что отличает нашего нестиба-емого современника.

— Это чудесно, — ответила она и вздохнула.

— Что так тяжело?

- Бог не дал.
- Чего?
- Пунктуальности и точности.
- Это не самое главное. Не переживай.
- Стараюсь. Держу себя в руках, — ответила она.
- Буду ли я иметь счастье лицезреть тебя, Наталья?

Нет, не мог я простым русским языком попросить ее встрече. Что-то внутри не позволяло, сдерживало. Вон идиотская натура, или, правильнее сказать, натура идиота. Как сказал бы мой брат Б.: дегенерат! Какая разница, что в лоб, что по лбу.

Она сразу ответила:

— Я сегодня целиком и полностью в твоем распоряжении. Отмела все свои дела на день грядущий... следующий и после следующий. Ты не доволен? — голос озабочился сразу.

В горле у меня что-то перехватывает. Что бы это, интересно? Сочетание «я полностью в своем»... Я не привык, я горд, меня распирает от радости. Но я боюсь того времени, когда она будет частью, а не полностью в моем распоряжении. И даже не частью... Я могу распоряжаться ею. Полностью. Какая-то козявка! (Цитирую по брату.) Наверно, она чувствует, как я замираю, когда спрашиваю увидимся ли, и отвечает быстро, не раздумывая.

На ЦТ на Горького, где мы получаем корреспонденцию и где нас знают все в окошке «до востребования», я приехал без десяти десять.

Наконец-таки драгоценный мой прародитель прислал перевод на энную сумму рублей. Господи, хоть поем как человек. Забыл, как это делается.

Жду, она опаздывает... как всегда. Я уже вправе добавить это так мало и так много значащее слово. Солнце взошло: она вошла в холл Центрального Телеграфа. Один из двух стоящих пижонов изрек величественно:

— Очень даже ничего. Только ножки не так чтобы...

Дурак, господи, какой феноменальный дурак! При чем тут ножки. Неужели ее можно расчленять на ручки и ножки, препарировать на губки и зубки. Она — целое, целая, кусок, сплав какого-то непонятного мне божественного мрамора. Она, как я называю это — он.

Мы выходим на шумную улицу имени Максима Горького.

— Наталья, времени сейчас двадцать минут одиннадцатого утра.

Она все понимает с полуслова. Вернее, с четверти.

— Первые упреки, — улыбается она. — Нехорошо, Санечка, попрекать женщину такими пустяками, тем более я тебе говорила, что точность не моя добродетель. Они на-чисто у меня отсутствуют. Какие еще у тебя недовольства?

— Извини. Чисто нервное. Я думал, что ты не придешь.

— Глупый, почему тебе приходят такие мысли, и потом, свое слово я всегда сдерживаю.

— Вот что отличает нашу несгибаемую Наталью.

— Почему несгибаемую Наталью? Я похожа на жердь, да?

— Что ты! Просто меня могут выносить только несгибаемые. Ты сла с утра?

— Ой, Саня, я совсем забыла: надо было тебе притащить пару громадных бутербродов. Но я так закрутилась. Ты мне дал очень мало времени для сборов...

Я — ей — дал. У меня что-то поплыло в голове. Мне снова стало страшно. Я потеряю ее, рано или поздно, скорее, это будет рано. Не в силу того, что я стану еще хуже, а она еще лучше, — просто в силу обстоятельств. Тех самых — пресловутых обстоятельств. Из которых складывается «своеобразие текущего момента». Раньше я не осознавал, что есть для меня женщина. И только когда та или иная уходила, расставшись со мной, я начинал задумываться, анализировать, размышлять. И соображал только post factum, насколько необходима мне была та или другая или не необходима. Чаще лучших из них бросал и оставлял я сам, не сознавая. Время, к сожалению, необратимо. Это не моя вина. Возврата к прошлому не бывает. Но все прошлое было ничто. Они были никем, по сравнению с ней.

— Наталья, а как ты смотришь, если мы с тобой закатимся в ресторацию с поэтическим названием «Я-рославская»? Там тихо, безлюдно и кухня, наверно, поганая.

— Целиком и полностью на твоей стороне, Саня. А как тута добраться?

— Поедем на шашечках, — провозгласил я. — Гуляем, — добавил Рокфеллер, сопроводив это жестом Рокфеллера.

Она мягко улыбнулась, ничего не сказав. С ней я всегда ищу безлюдные места. Люди раздражают. Толпа во время мешает, моя боязнь так и не прошла. Она не противится: если мы бредем переулками старой Москвы, то самыми безлюдными, если куда-то хотим идти, то первое взаимное условие: безлюдие, тишина. Весь мой мир замыкается на ней. Она тоже устала от суеты, шума жизни, орбиты бытия. Мы помогаем себе уйти один в другого. Для меня в этот миг существуют лишь одни ее глаза. Синие очи. У нас одинаковый цвет глаз. У нас во многом совпадают мысли. Говорят, что если биотоки одного лица совпадают с биотоками другого, то это — любовь. Я рассказал ей об этой частной гипотезе. Она сперва ничего не ответила, потом улыбнулась, потом задумалась. Но так ничего и не сказала.

В ресторанции «Ярославская» тишина. Зал идеально пуст, садимся в угол. Чистая скатерть... Опять же приятно. Как мало и одновременно много нужно человеку. Он сидит спиной к залу. Я ее посадил. Нет, не то, чтобы ревность, но чисто так...

Подплывает милейшая официантка в белом накрахмаленном переднике, с такой же снежной наколкой в каштановых волосах. И так вежливо-превесажливо спрашивает:

— Что будем есть, молодые люди? — и улыбается.

И я улыбаюсь ей. Положительно мне везет с Натальей. даже официантка чудесная попалась. Мы улыбаемся друг другу, я ей — она мне.

Наталья не выдерживает и говорит:

— Санечка, ты, наверно, хотел что-то заказать... И за-держиваешь...

Позже девушка в накрахмаленном переднике придет скажет, что стоит взять на горячее. Поразительная любезность. По-моему, ей нравлюсь я. Гм...

— Наталья, как ты считаешь, я нравлюсь этой девушке?

— Конечно, Санечка. Ты не можешь не нравиться не только этой девушке, но и всем остальным. — Она улыбается и опускает ресницы вниз.

Я заказываю два графина фирменного напитка «Медок». У Натальи даже рот слегка приоткрылся от удивления. Все-таки я ее удивил. Она не поверила, что я могу столько выпить. Но все, что не алкоголь, я могу пить цистернами. Кушать принесли. Ура! Наконец-то. Попутно выпил, невзначай, полграфина «Медка». Меду там, прямо скажем, как пчелка наплакала, но пить — есть что.

Чинно приступаем к рыбному ассорти. Я аристократ: черную икру не ем. С высочайшего благоволения перекладываю ее в Натальину тарелку. И что это за жизнь такая настала: раньше дома ел с кузнецовых тарелок, а сейчас — тарелки неописуемого цвета, с такой оригинальной, но самобытной печатью «Мосторгтарелка». Аббревиатуры у нас порой бывают чудесные.

Каштановый лебедь в белоснежном переднике подплыла к нам неслышно:

— Пожалуйста, закуску. Вот хлеб. Сациви, только несколько соус крепковат, острый.

— Это ничего, — рассиял я.

— Приятного аппетита, — пропела лебедь и уплыла также бесшумно.

Все оказалось действительно очень вкусным. Я никак не ожидал, что в таком захолустье хорошо кормят. А может быть, с ней все приобретало особый смысл и вкус?..

— Наталья, давай презентуем ей шоколад, а мне хочется шампанского.

— Может, тогда и ананасов, — улыбнулась она.

— Тебе тоже нравятся «Ананасы в шампанском»?

— Да. А какой шоколад ты хочешь?

— Это мой любимый поэт. А какое шампанское ты любишь?

— Полусухое, — она.

— Плитку «Золотого руна», — я.

Она все смешала, словно миксер, я не стал размешивать.

Лебедь принесла шоколад сначала и сказала:

— К сожалению, есть только полусладкос.

— Это мое любимое, — сорвалось у Натальи с губ.

— Тогда, будьте добры, ее любимое принесите.

Та ушла.

— Интересно, почему же ты назвала сначала не то, что любишь?

— Но ты ведь предпочитаешь полусухое...

Кажется, я ляпнул ей когда-то, что единственное, что могу пить, — это наливки домашние или полусухое шампанское.

Я посмотрел внимательно ей в лицо. Она отвернулась в сторону, делая вид, что ничего особенного не сказала.

— Санечка, а правда, почему у тебя шоколад плавает в шампанском, а?

— Они от этого обоюдно выигрывают: шампанское становится шоколадным — новый сорт из абрау-шоколад дюрсо, а шоколад становится шампанским. Рецепт никто еще не зарегистрирован, но на днях я по очереди вылетаю в Шампань и в Швейцарию, где и будет происходить торжественная церемония вручения мне копий с патентами моих двух гастрономических изобретений.

Девушка вернулась, в левой и правой руке держа по министерскому жезлу. Особенно напоминала его спираль но распущенная салфеточка на кончике котлеты, за которую надо браться, когда кусаешь.

Я вручаю ей шоколад со словами:

— Да, вы возьмите на всякий случай шоколад, а то и ровен час...

Все вежливо заулыбались моей новой «остроте». Девушка взяла, улыбнулась, поблагодарила, ушла.

Я все-таки выпил весь «Медок» и был страшно доволен. Но это все пустяки. По сравнению с ее лицом, которое ни на минуту не переставало быть прекрасным. Биотики его, по-моему, начинали совпадать... а если это...

Мы оделись, я сунул стыдливо серебряный гардеробнику, чтобы она не видела. И — на чистый, свежий, морозный воздух. Ура!

Каждое божье утро, ровно в девять часов, я, с из-под земли достанной девушкой, кружу около злосчастного общежитейского телефона-автомата. Злодейские автоматы — они не так соединят, то они не с тем соединят, т

просто-напросто проглотят девушки, тем самым лишая меня возможности соединиться даже с тем, с кем не нужно.

— Кого?.. Наталью... осел какой-то, здесь такой нет и не было...

Догадываюсь... с трудом, что попал не туда. Но в это утро я попал туда. Ее милый голос:

— Санечка, это ты. Ну что ты молчишь, глупыш. Я же знаю, что это ты.

Я не выдерживаю сцены до конца и вопреки всем театральным канонам подаю реплику:

— А вот представь, что это не я, а кто-то другой... Ага, испугалась.

— Да, но только твое усиленное сопение я различу среди тысяч других.

— Вовсе не сопение, — обижусь я, — а просто дыхание у меня в зобу спирает...

— Саня, я же пошутила, не обижайся! Во искупление грехов моих я одной ногой повинною своей уже на пути к твоему чудненькому общежитию.

Ту улыбку, какой я расплываюсь, мой прародитель характеризует следующим образом: «А рот-то до ушей...»

Я замираю невольно, когда разговор приближается к назначению встречи. Мне кажется, что еще раз, и наступит конец, финал. Я не увижу ее больше, никогда. Уже в начале я панически боюсь конца. Я не хочу его. Я не навижу его.

Я встречаю Наталью в холле «общаги» на первом этаже. Она прекрасно выглядит. Обычные формальности на проходной. Занудные вахтеры — есть ли общежитие, в котором их нет. Но даже эти асы занудства беспрекословно пропускают мою Наталью ко мне (я решился, наконец, сказать: м о ю), не требуя от нее никаких удостоверений, кроме — моего пропуска. У меня такое впечатление, что она магически действует на людей, они, эти люди, что ли очищаются, становятся лучше и добнее. Возможно ли это? Скорее, мне кажется. Я наивен, наверно, думая, что нечто, пусть даже моя Наталья, может изменить людей.

Наверху в моей комнате пусто, никого нет. И только искрятся ее чудесные глаза, словно лунный темный камень, отгенные, будто смоль, искрашенными ресницами

ми. Я помогаю ей раздеться. Она проходит по комнате, садится на в кои-то веки прибранную мною кровать. Я сажусь рядом — верхом на стул. Дотягиваюсь и включаю ей магнитофон (зарю отечественного магнитофонастроения «Айдас»). Я очень люблю эмигрантов, особенно Лещенко не того, который сейчас, а того, который держал до войны в Бухаресте свой ресторан, пел свои собственные песни и жил в эмиграции. Наталье он тоже нравится. По-моему Лещенко бесподобен и неповторим. Я смотрю на Наталью и сияю, как тульский чайник. Лещенко запел про то, что

«На Кавказе есть гора,
Самая большая,
А под ней течет Кура,
Мутная такая.
Если на гору залезть
И с нее кидаться,
Очень много шансов есть
С жизнею расстаться».

Наталья улыбается, потому что песня шуточная. Она улыбается как-то очень так, как надо, как я бы хотел, чтобы она улыбалась: виновато-милой чудесной улыбкой, смотрит на меня. Ласково.

— Санечка, вчера звонили родители по международной, сказали, что с Аннушкой все в порядке. Я очень волновалась, потому что в прошлый раз они сказали, что нее что-то с деснами и болит горлышко.

Она немного задумалась и просто добавила:

— Моя дочь — это моя жизнь. Единственное счастье и утешение. Ты прости, что я завела разговор так вдруг, с бухты-бахахты. Но так тяжело, когда и поделиться не ком...

— Ну что ты. Почему ты извиняешься. Мне приятно, что ты говоришь со мной о ней.

— Я в свое время намучилась с ней. Ровно год я не выходила от врачей. Она мне трудно далась, еще немногого, я вообще бы осталась на столе... хирургическом. Наверно труднее дается — горячее любится. А я люблю ее больше жизни. Не дождусь, когда она приедет. Должна мама

привезти ее, мою рыбоньку, в мас. А сейчас только конец февраля.

— Да, — как эхо подтвердил я, — конец сказочного февраля.

Она быстро посмотрела на меня.

Я: — Никогда бы не подумал, что февраль может быть хорошим месяцем, он как высокосный год.

Она заглянулась на меня. Потом как бы внутренне втяхнулась, и мы заговорили совсем о другом.

К вечеру вернулись мои долгожданные соседи по комнате. Это самый чудный миг. Как в чём-то стихотворении.

Я и Наталья идем по пустынному коридору. Шаги гулко не отдаются в его стенах. Под ноги попалась читальная, это такая голая комната, но зовется модно: читалка. Я тихо-тихо притворил дверь, полутемно. За окном мрачнеют серые сумерки. Здесь никого нет, одна лишь зовущая пустота. Наталья села, я позволил себе сесть рядом. Вдруг тишина стала напряженной, какие-то импульсы забились в ней, я перестал что-либо понимать, последнее, что я уловил, обрывком, скорее, подсознания: то, что мои губы потянулись к ее лицу... и, только откинувшись, отбросившись назад, словно испуганный, я понял: это был наш первый поцелуй.

Это было как забытье, сплошное и сладкое, истомное и ласковое. Завтра, о котором я думал сегодня, никак не засыпая в своей узкой кровати, мне казалось несбыточным, а себя чувствовал недостойным этого счастья: поцеловать ее губы с чуть детской припухлостью. Губы...

Часть вторая (и последняя)

Любовь как акт лишена глагола.

И. Б.

В девять утра я торчу у телефона. Проклятые обшежильцы уже стоят цепочкой к автомату, не спится им поутру. И что у людей за дела такие важные в девять утра не понимаю. Наконец мои торопливые пальцы добираются до телефона, а рука набирает номер, торопя диск назад. Она сразу снимает трубку.

— Санечка?.. Я думала, ты уже не позовишь...

Меня даже не током прошибает от этой мысли.

— Наталья, тут очередь... и за мной еще...

— Я думала, что тебе вчера что-нибудь не понравилось и ты...

— Ну что ты, наоборот — все прекрасно.

— Может, я что-то не так сделала...

Она замолкает, а я говорю:

— Наталья, хочешь поехать сегодня на мотогонки польду? Это моя страсть — гонки. Все, что способно гоняться, я обожаю без ума.

Она смеется:

— Очень хочу, Санечка, я никогда не была. А кто выступает?

— Лучшие гонщики Москвы, Питера, Швеции, Англии, чемпион мира — чех Шваб. Что там будет, ты себе не представляешь!

— Во сколько мы встретимся? — спрашивавшая она.

— Прямо сейчас.

— Саня, мне надо хоть раз в институт для приличия заглянуть за эти недели. Чтобы узнать, не выгнали ли меня.

— ...

— Ну, Саня, пожалуйста.

Я снисхожу — теряя ее на полдня.

— Хочешь встретиться прямо перед началом?..

— Видимо, я слишком красноречиво молчу.

— Нет, лучше я сразу, как освобожусь, приеду к тебе...

— Спасибо, — я сияющими глазами смотрю на очередь, которая недовольно косится на меня, — я очень рад.

Она прощается со мной. Я иду наверх в комнату, она пустая. Сажусь на кровать и начинаю тосковать. Больше всего я ненавижу в жизни — ждать. А, это я уже говорил. Ужас, пытка, катаржная мука — сидеть отсчитываешь, терпеть минуты, получасия, часы. Доедет она туда, в лучшем случае, в пол-одиннадцатого, ей надо собраться, не может же она побежать голой в институт, потому что я ее жду. Я раздражаясь и становлюсь дерганым. Пробудет там как минимум часа два, это полпервого-час. И в результате, когда я дожидаюсь, со злости говорю не то и — поругаюсь. Потом, если она даже возьмет такси, дороги скользкие, уйдет минут сорок, итого где-то около двух. Я злюсь и говорю не 'то, что думал, не то, что хотел или чувствовал. Плюс час на всякие неожиданности. Тем более, когда ждешь, всегда что-нибудь случается, в итоге три часа дня — не раньше. А что мне делать до трех дня, сейчас полдевятого, — вешаться, что ли?! Я откidyваюсь на кровать. Все-таки жизнь наша (и ваша тоже) несправедливо устроена. С этими мудрыми максимами-сентенциями я задремал, уткнувшись в кровать.

Я слышу какой-то стук в дверь, очень скромный, не представляя, кто бы это мог быть (не дай Бог, опять та баба, из кухни — на столе), думаю, что это мне кажется, и сплю дальше. Потом мне снится, что с дверью что-то делается и кто-то склоняется ко мне. Чья-то нежная ладонь, совсем как Натальина, проводит ласково по моей щеке. Я приоткрываю глаза, тоска, ждать ненавижу, а тут еще она снится.

— Ой, — восклицаю я, — Наталья!

Она стоит, склоненная надо мной, и ее лицо старается подавить зайчиков, бегающих в глазах, как лучики.

— Я прошла незаметно мимо вахтера, — сияет она, — видишь, какая я, занимаюсь страшным обманом: тайно проникаю к незнакомому мужчине.

Я вздрагиваю от мысли: а если бы та была, просто так, здесь, как бы я потом объяснял.

— А как же твой институт?

— Я не поехала, — просто отвечает она.

Слов у меня нет, мыслей тоже. Я лежу и смотрю.

— Санечка, ты считаешь, что это удобная форма общения, если ты будешь лежать, а я буду стоять?

— Ты тоже можешь... а...

— Что я тоже могу? — она внимательно улыбается, глядя на меня.

— Это из другой оперы, прошу прощения.

— Оказывается, мы не такие скромные и целомудренные, как притворяемся...

— Нет, ну, то есть... да, конечно, нет: мы нахальные, резкие, самоуверенные. — Я смотрю, как она улыбается, заметив мое смущение в начале фразы, и мне приятно, что ей приятно. — Иначе не проживешь, — добавляю я.

— Иначе и не надо, — говорит она. И многозначитель но смотрит на меня.

Я вскакиваю, бегу умываюсь и возвращаюсь. Она сидит на кровати, у меня. И ей это идет, я имею в виду — на кровати... Эта мерзкая, узкая, скрипящая кровать даже преобразилась и стала прекрасной.

— Санечка, можно я включу музыку?

— Конечно, Наталья, все, что ты хочешь.

Она нажимает на клавиш, и возникает мелодия. Мы долго сидим, ничего не говоря, взглядами обнимая друг друга.

Позже мы идем гулять, выходя из общежития на белый, сугробами лежащий снег. Она достает апельсин из сумки, у нее эта красивая сумка, как волшебная, в ней все есть. Мы чистим и корки бросаем на снег. И получаются — апельсиновые корки на снегу. Я думаю, это красиво, как и все, что связано с ней, но ей об этом не говорю. Одурев от холода, мы заходим в какой-то боль-

шой подъезд теплого дома, такие иногда встречаются в старой Москве, и прижимаемся, влипнув в батарею на втором этаже. Хочется закурить, и я с грустью думаю, что в кармане у меня копеек пятнадцать на метро. Я лезу в карман дубленки, просто так, и, чудо, там пачка какая-то, без надежды быстро достаю и не верю своим глазам: мои любимые сигареты «Мальборо». Я смотрю на нее, разматывающую шарф.

— Да, Санечка, — нсвинно отвечает она.

— Наталья, ты знаешь, интересные вещи происходят в нашем общежитии.

— Какие? — с интересом спрашивает она.

— Простым советским бедным студентам кто-то подбрасывает американские сигареты. Наверно, капиталистические акулы, наверняка провокация, — я смотрю на нее.

— Саня, ну не обижайся. Ты же не хочешь так брать. Это же чепуха, мелочь. Они мне ничего не стоят. Ну, хочешь — плати мне за них... Они тебе нравятся.

— Наталья, я не хочу, чтобы ты мне что-то давала или дарила, — не ты женщина, а я. Что это такое?!

— Хорошо, Санечка, обещаю, это последний раз.

Я вздыхаю и со смаком закуриваю ароматную сигарету, вдыхая терпкий дым. Зажигалку мне — дает она.

По мере приближения вечера растет моя тоска. Эта идиотская бумажная материя — деньги. Без которых никуда не пойдешь и ничего не сделаешь. Вопрос денег — деликатный вопрос, по-моему, все заварушки у Достоевского происходят из-за денег. А не из-за любви.

Мы заходим в метро, и я гордо меняю последнюю монету, небрежно бросая ее в разменный автомат, будто у меня в кармане еще таких по меньшей мере тысяча. Она берет пятак из моей ладони и смотрит на меня. Я забираю его назад и опускаю монету за нее, для нее — она проходит, потом я. Она смеется и говорит, как приятно общаться с вежливым, галантным молодым человеком. Слышал бы мой папа!

Мы выходим на «Динамо». По мере приближения к стадиону шаги мои замедляются. Ставятся тяжелей, и я совсем останавливаюсь.

— Что случилось, Санечка? — спрашивает она.

— Наталья, может, не пойдем? Так погуляем. Чего-то мне расхотелось. Я ведь и не люблю особо гонки, страшное дело, знаешь...

— Что ты, Саня? Утром ты говорил, что обожаешь их, что это твоя мечта.

Вот дурак! До того окрылен и витаю в небесах, что даже не подумал, что там платить надо. За билеты.

— Ну-ка, посмотри мне в глаза, — она даже не догадывается, что останавливает меня. — Саня?

— В общем, такое дело... у меня нет... а-а... ну, денег.

Она смеется:

— Но у меня же есть. Пошли, — она берет мою руку.

— Я не могу.

— Саня, ну перестань. Могу я хоть один раз заплатить, ты и так везде платишь. Это мне будет приятно. Пожалуйста, сделай мне приятное, — она вопросительно смотрит в мои глаза.

Мне стыдно до черта: впервые кто-то платит за меня, тем более женщина, еще более — она. Лицо у меня, на-верное, бурого цвета, если бы не темный вечер зимнего дня, она бы, конечно, увидела.

Она ведет меня за руку, не спрашивая. В кассы напирающая очередь, и она храбро становится среди мужчин. Я наблюдаю: мне и стыдно, и забавно, и трепетно на душе. Она появляется рядом сияющая, счастливая и говорит:

— Я приглашаю тебя!

— Благодарю.

Я тронут, обычно меня никто не приглашает. Мы проходим контроль, отдаём эти билеты и поднимаемся на верх. Стадион и его арена залиты льдом и огнями. Люди стоят на лавках и переминаются от холода с ноги на ногу. Мы пробираемся сквозь, так, чтобы стоять у виража, и остановливаемся наверху, недалеко от перил, ограждающих отсек.

Через пять минут начало. На чёрном табло фамилии участников первого заезда. Написанные белыми лампочками. Я читаю, потом объясняю кое-что из моих познаний Наталье. Она одна женщина на трибуне, и мужчи-

верят головами, оглядываясь на меня, вернее, на нее, но встречая мой железный взгляд.

Начинают заводить мотоциклетные моторы, без глушителя. О, это божественная музыка для меня, как для других, например, сочинения Шуберта или Рахманинова. Когда я слышу звук, треск, гром, мотор, гонки — я забываю все на свете и уже ничего не соображаю. Гонки — это моя жизнь. Всю жизнь мечтал быть гонщиком, только ралли-машин, специальных спортивных машин — «Формула-1», они как в землю вжатые.

Мотоциклы начинают подкатывать, подталкивая к старовой линии.

— Наталья! — сияю я и сжимаю ее руку.

— Ох, Саня, — говорит она, — а ты не хотел идти...

Старт! И четыре кометы, треска и хрюпя, помчались по льду. Какое это неописуемое зрелище. Мы стоим вверху, почти напротив виража, поворота, который они делают, почти кладя плашмя мотоциклы на лед и удерживая его от падения коленом, одетым в железный башмак, задрапированный специальной материей. Кажется, они вот-вот упадут на повороте, ведь почти лежа делают его, но они выравнивают мотоцикл на прямой и, бешено летя, уносятся вдаль, и новый вираж, и опять плашмя, и только комья льда фейерверком взлетают из-под колес, обитых острыми длинными шипами, впивающимися в лед, как розы стебель и содержимое на нем впиваются нам в руку.

После двух заездов я разбираюсь, что к чему, и объясняю внимательно наблюдающей за всем Наталье. Неужели ей всегда будет интересно то, что интересно мне...

Я объясняю: от нас выступают три гонщика в красной форме. Один из Москвы — Цибров, другой из Ленинграда — Смородин и третий из Новосибирска — Дубинин. Мы болеем за москвича, он впервые пробился в такие крупные соревнования. К тому же я живу в Москве уже больше года, а Наталья — москвичка со дня рождения. Лидеров двое: прошлогодний чемпион мира — чех Шваб, очень сильный гонщик, и еще один чех, его друг и сокомандник Петерчка. Очень сильны швед Петерсон и англичанин Маркс. Шваб в темно-синей форме, Петерсон в

черной, англичанин в цвете своего флага. В предварительных отборочных заездах побеждает Шваб, также выходящий в следующие заезды все наши, чехи, швед и англичанин. Начинается самое интересное. После этих заездов восемьмерки, по четыре в два захода, определятся окончательно четверка, которая будет бороться за первое место.

Стартует первый полуфинальный заезд. Гонщики уносятся со старта и несутся по кругу. Я забываю все вокруг.

— Цибров, Володя, побеждать! — ору я.

Он идет вторым и не может обойти англичанина. Смело очень идет, колесо к колесу, проходит поворот, второй на прямой делает невероятное, но не успевает вписаться и обойти до виража.

— Достать! — ору я.

Наталья тоже начинает кричать со мной. Гонки заводят, возбуждают всех, иначе невозможно.

— Достать! — кричим мы.

— Давай! — орет толпа.

Красный цвет стелется по льду, последний круг, мотоцикл несется смерчом по прямой, и кажется, никогда ему не войти в вираж. Он обходит англичанина и вписывается в поворот.

— А-а! — ору я благим матом. — Ум-ни-ца!!

— Достал! — радуется Наталья.

Я тискаю какого-то мужика.

Гонщик выходит на финишную прямую, и мотоциклист его рвется вперед, ревя и треща.

В этом заезде москвич первый и получает три очка. Потом по сумме набранных очков в заездах определяется финальная четверка.

Второй заезд другой четверки — побеждает Шваб, получая тоже три очка. Он идет на первом месте, у него лучшая сумма, лучше, чем у Циброва, на четыре очка. Но молодец парень, впервые на крупнейших соревнованиях состязается как ни в чем не бывало. Конечно, что он выигрывает, шансов нет. Чех — сильнейший спидвейный гонщик мира, чемпион прошлого чемпионата.

Третий заезд. Два наших, Цибров и Дубинин, попадают в него вместе. Засезд начался. Две красные майки-фуфайки далеко уходят вперед, оставляя шведа и другого че-

ха позади. Этот идиот Дубинин обгоняет Циброва, не давая обойти себя.

— Достать! — ору я.

— Достать! — кричит Наталья, употребляя мое любимое слово.

Дубинин не даст себя обогнать и идет впереди. Идиот, думаю я, ведь ему все равно с его очками не светит, а Циброву нужны три очка. Первое место в заезде.

— Дубина, — ору я, — пропусти!

— Пусти, — орут мужики.

Идет упорная гонка, на поворотах мотоциклы, мне кажется, вылетят с круга. Тут я вспоминаю, что этот новосибирский гонщик — новая взошедшая звезда, завоевавший какое-то золото.

— Дубина, — ору я. Фамилия у него такая: Дубинин. — Мозги твои несообразящие! — Краем глаза вижу, как Наталья улыбается, но не могу сдержать себя.

Они вылетают одномоментно на последнюю прямую финиша.

— Цибров, — ору я, — умоляю тебя!

Он не слышит меня, но последним броском швыряет свой мотоцикл вперед и приходит первым — на полколеса.

— А-а! — ору я и подбрасываю вверх ондатровую шапку, подарок отца.

Наталья едва ловит меня, так как я чуть не падаю со скамейки.

— Фу-у, — перевожу дыхание. — Молодец.

— Да, — радостно говорит она, все еще продолжая держать мою руку в своей. Только сейчас это замечаю я. И она внимательно смотрит мне в глаза.

Потом мы кладем замерзшие ладони в карман моей дубленки и согреваем их там.

Кончился короткий отдых, и снова мотоциклы катят к старту. Шваб — черный чех, за ним второй чех, англичанин и один красный, из Ленинграда.

Они выстраиваются у нитки в линию. Судья поднимает руку, нитка (или веревка) вскидывается, и они уносятся с места, ставя мотоциклы едва не «на козла», что, кстати, плохо для старта, и получается это от бросания сразу

большого газа. Ленинградец чуть вообще не перевернулся на финишной линии. Шваб уже свое набрал для финала, у него десять став на заднее колесо, резвый парень. Шваб уносится перочков, и он лидирует.

Итак: Шваб, Цибров, чех-второй и чудом попавший в финал англичанин (из-за несчастья другого) — это и есть англичанин. Смородин, резко входя в вираж, едва удернувшись юркнувшим под колесом сюда, обходит второго. Один заезд. Шансов у Циброва мало, живает мотоцикл и, выходя из виража, обходит второго. Финальная четверка. Два круга Смородин не может обойти чеха. Приближается время надо быть только первым, но чтобы Шваб был не вторым, тогда они наберут по тринадцать очков. При равенстве очков у них будет единственный заезд вдвоем, кто выиграет.

«наш» вираж, чех уходит уже с поворота, Смородин резко кренит мотоцикл, входя в поворот. Какой риск! Раздастся стук цепнувшего леда руля, машина грохается, переворачивается, бешеным волчком крутясь, и, перемалывая гонщика под себя и через себя, вышвыривает его со льда, головой об заборчик, который он перелетает и вонзается спрессованную гору снега.

Единое и громкое восхищение раздается на трибунах. Мотоцикл еще безжизненно вертится вокруг своей оси на льду. Страшный вид — без ездока. Вокруг медицинской машины, крики людей, несущихся к нему. Последние две гонщики успевают объехать место аварии, тормозя. Затем останавливается. Я смотрю в глаза. Алчны и любопытны глаза толпы, ее будоражит зрелище, чужое горе. Я не навижу сейчас эту толпу, ей ничего не интересно, кроме захватывающего происшествия.

Я сразу вспоминаю свой любимый фильм «Большой приз», где главный герой, один из лучших гонщиков мира, говорит, когда случается авария: они пришли посмотреть на наши смерти, им интересна кровь, но брызжущая, — они пришли на наши убийства. Вот что притягивает их к гонкам. Гонки для них только повод, когда мы можем разбиться.

Толпа вытягивает шеи, а Наталья смотрит на меня. Грустный и не подымаю головы. «Скорая помощь» уносится, визжа. Но диктор объявляет, что ничего серьезного: может, перелом бедра при падении об лед. Интересно, как он успел определить так быстро? Наверно, доктор. Впрочем, у нас всегда ничего серьезного. Да, все хорошо.

Заезд переигрывается. Всего три гонщика. Шваб легко идет, лидируя, но под конец пропускает своего чеха, на парника, чтобы тот выбил три очка и наверняка вышел

Итак: Шваб, Цибров, чех-второй и чудом попавший в финал англичанин (из-за несчастья другого) — это и есть англичанин. Смородин, резко входя в вираж, едва удернувшись юркнувшим под колесом сюда, обходит второго. Один заезд. Шансов у Циброва мало, живает мотоцикл и, выходя из виража, обходит второго. Финальная четверка. Два круга Смородин не может обойти чеха. Приближается время надо быть только первым, но чтобы Шваб был не вторым, тогда они наберут по тринадцать очков. При равенстве очков у них будет единственный заезд вдвоем, кто выиграет.

Цибров все-таки молодец, выбился в финал вторым, хорошо катается, и я ненавижу Шваба за то, что победа его решена. Невозможно же, чтобы он пришел третьим, ладно не первым, но вторым-то он — с двумя очками — будет. В конце концов, его же чех пропустит, а англичанин вообще не в счет. Вот так всегда: когда я за кого-то болею, тот проигрывает. И что за жизнь!

— Наталья! — говорю я.

— Да, Саня... — Она сочувственно кивает головой, и по очкам, написанным на черном табло, ей тоже все понятно. — Он хороший мальчик, я тоже за него болею. Он никак не может уже победить?

— Только чудом, — и я чуть не говорю про себя, желаю: если Шваб упадет, и тут же дергиваю свои дурные мысли.

Объявляется последний заезд, напряжение на трибунах дошло до абсолютной тишины.

Мотоциклы по очереди подкатывают к старту. Огонь — и они понеслись. Как назло, его мотоцикл делает «козла», поторопился, конечно, горячится, и он идет на льду третьим. Англичанин последний, два чеха впереди. А, будь ты проклято все! Теперь уже и говорить не о чем, — третий. Проходят пару кругов. Шваб идет первым, второй чех вторым, как бы прикрывая его, и третьим — безуспешно пытается достать их Цибров. Очередной скользящий поворот, второй чех едва справляется с ним, пытается исправить юзящий мотоцикл на прямой, и в это время Цибров, дав газ до отказа, по внутренней бровке обходит его и несется вслед за Швабом.

— А-а! — ору я, и трибуны вторят.

— Достать! — кричит Наталья, и я вторю ей, не видя: — Достать!

Он несется вслед за Швабом, остается только два круга, два! Хвост в хвост они проходят предпоследний круг, но Шваб и не думает пролускать его, не то что — третий. А третьим идет англичанин, обошедший юзившего чеха, но никого эти оба не волнуют, так как все прикованы первым двум мотоциклам. Они выходят на последний круг: Шваб — за ним Цибров. Чех приближается к виражу и сбрасывает скорость, Цибров же идет к повороту на такой скорости, что у всех замирает дыхание. Он входит вираж по внешнему кругу, делая невероятное: он обходит Шваба на виражном повороте и вырывается вперед. Вперед! Его мотоцикл стремительно несется, дико оглушая, всех появляется впервые ощущение, что, может, это победа. Но победа эта — поражение, он проигрывает все равно. Швабу достаточно прийти вторым — что он и сделает. Мотоцикл Циброва выносится на финишную прямую так, что все уже совсем не дышат. За ним выносится Шваб, который через секунду станет чемпионом и получит золото.

— Цибров! — кричу я безнадежно, понимая, что остальное не в его силах — он идет первым! — он сделал все, что мог.

И тут на финишной прямой англичанин вытворяет неизвестное: когда до финиша остается метров двадцать, он, неизвестно как и непонятно откуда, выносится вперед на неимоверной скорости и на два мотоцикла пересекает финиш раньше Шваба, едва не догнав и Циброва.

— Да здравствует А и глия! — ору я.

Шваб — третий, а это — поровну!

Как мы орали, кто бы только слышал!

Трибуны просто стояли и вопили, и ревели, вопя, сорвал голос и орал уже в полуслепоте.

— Циб-ров! Циб-ров! Циб-ров!

— Наталья, — кричу я, — какой гонщик, а? Вот мужик!

Нам уже не важен последний заезд, главное он сделал, что дошел до него, обойдя чеха, и стал первым — третьей позиции.

Они выходят на старт двое, и он выигрывает ехально — красиво, быстро, и со стороны кажется, легко. Но я зна

какая это каторжная, напряженная работа. Все, что профессионально, кажется легко.

На трибунах творится что-то невероятное, все орут, ликуют, кричат: «Во-ло-дя!» Все позабыли, что замерзли. Он с достоинством и спокойно поднимается на пьедестал. Снимает гоночный шлем — парню года двадцать два, — убирает чуб со лба.

Диктор объявляет:

— Первое место и золотую медаль завоевал московский гонщик Владимир Цибров. Одно счастливое событие радостно совпало с другим: сегодня Володе исполняется двадцать три года. Поздравляем!

— Ура! Володя-я!

— Второе место завоевал чемпион мира прошлого года чешский гонщик...

Гонки кончаются. Люди расходятся. Торопятся к метро. Я еще не видел, чтобы москвичи после конца не спешили. Вечно торопятся. Всегда спешат. Я гляжу по сторонам. Выше нас мужик у перил расстегнул штанишки и что-то там делает. Спрашиваю у Натальи, что это, показывая на него пальцем. А он уже журчит вовсю.

— Ну почему ты все-таки такой глупый, Санечка? Беспросветно, — улыбается она.

Выше на трибунах заваривается какая-то драка, я хочу полезть туда, я всегда лезу, когда где какая драка, но она удерживает меня, строго говоря: «Саня!»

Мы спускаемся с обледенелых скамеек, едва не ломая ноги, и проходим туннель под трибунами в обратном направлении, выходя со стадиона. Она кладет свою руку ко мне в карман, и ее ладонь прижимается к моей. Мы бредем не спеша, пропуская всех вперед, нам некуда торопиться или спешить.

— Тебе понравилось?

— Да. Очень, — она смотрит улыбающимися глазами на меня, — особенно как ты болел...

— А! — смеюсь я.

Уже мы идем по какой-то нелюдимой аллее, по бокам которой большие сугробы. Ночь бела, это очень красиво — темнота и снег. Черная снежина и белая темнота.

Ее ладонь просто обняла мою, я не верю, мне кажется, что это случайно, что это мне кажется. Она этого не замечает?.. Я смотрю на нее сбоку, мы долго идем, молча.

Просто идем и ничего не говорим. Из меня, как назло, никаких слов не выдавливается. Я вспоминаю вчерашние губы... прикосновения.

— Саня, мы долго будем молчать, ты на меня обиделся? — спрашивает она.

— Наталья, — не решившись, решаюсь я, — можно тебя поцелую?

— Конечно. Почему ж ты так долго думал?..

Она останавливается, замирая. Глаза ее закрываются, наклоняясь к ее божественным губам. Напрягаюсь... целую ее. На мгновение забывая, где мы стоим, почему мы стоим и что происходит вокруг. Ее холодные губы сразу согреваются в моих. Она не дышит, я не чувствую. Ее язык ласкает мой. Не обняв, она только сжала мои руки, вытянутые вдоль замершего тела.

Мы отрываемся друг от друга.

— Наталья, — шепчу я.

— Да, Санечка, — целует мои глаза она.

Я никогда не целовал таких мягких сильных губ. Я вообще толком не умею целоваться. Не учил никто. Но мне даже не стыдно, умею я или нет. Я просто сливаюсь с ней, не думая. Проходит много времени, прежде чем мы отрываемся; отодвинув шарф, ее лицо утыкается в мою шею. Я сжимаю ее плечи, ничего, ну ничегошеньки не соображая.

Комната, постепенно прихожу в себя я, нужна комната, на улице зима...

Неужели мы читаем мысли друг друга?

— Санечка, — шепчет она, с каждым словом проводя губами по моей шее. — Почему мы на улице...

— Я сниму квартиру, узнаю завтра. Иначе мы все замернем, как на льдине.

— Чтобы была большая ванна, — шепчет она.

— Наталья, неужели ты знаешь, что я хочу?

— Нет, но я догадываюсь...

Это само высакивает из меня:

— Я хочу, чтобы ты стала моей — в ванне с шам-

панским. Я буду целовать тебя в вине, мы будем купаться...

— Да, — говорит она.

— Нет, лучше в ванне с молоком, ты будешь неповторима в молоке.

— Наверное, лучше в молоке, — шепчет в мою шею она, — шампанское холодное.

Я поднимаю ее голову, глаза согласны на все.

— Наталья, — тихо шепчу в ее губы я.

— Я замерзла, Саня. Совсем...

Я обхватываю ее талию, быстро разворачиваюсь, ставлю ей подножку, и мы летим в сугроб. Я подстилаюсь, и она падает на меня, плашмя.

— Ты сумасшедший, Саня. — Она еще не пришла в себя, мы лежим в каком-то громадном сугробе, жарко дышла.

Я быстро и отрывисто начинаю целовать ее вспыхнувшие губы, сильно сжимаю ее спину, начинаю кататься влево и вправо — снег засыпает нас. Греться надо в снегу!

— Саня, — смеется она, — ты задушишь меня.

Мы уже валяемся в третьем сугробе, она сама обнимает и целует меня.

Она целует меня. И эти губы на снегу!

— Согрелась?

— Да.

— Вставай, Наталья, а то простудишь свое мягкое место.

— Не хочу, поцелуй меня. Дай мне свои глаза. — Она берет их в свои губы.

Мне с трудом удается поднять ее. Я и не знал, что она такая, вернее, что ей будет приятно со мной.

Она стоит слегка покачиваясь.

— Где твои варежки? — говорю я и целую ее снежные руки.

— Не знаю, потеряла, — не задумывается она.

— Наталья, они мне очень нравились. Приди в себя.

— Саня, по-те-ря-ла, поцелуй меня.

Все забывается. Я пьянею от ее губ. Я забываю дышать, такие у нее губы.

Я нахожу ее варежки в начале аллеи, коричневыми шо-

колодками лежащие на снегу. Где мы целовались падения... Взявшись за руки, мы идем из парка на проспект, где довольно пустынно. Странно.

— Наталья, — рассматривая я часы на столбе, — по одиннадцатого.

— Ну и что, это моя забота, Саня.

— Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности из-меня.

— Санечка!..

Мы целуемся. Такси само останавливается рядом. Невероятный, редчайший случай. Видимо, потому, что она нездешняя женщина, нереальная, несуществующая. Я верю в реальность ее, особенно сейчас, — больше, чем когда-либо.

— Молодежь, куда едем, замерзли небось?

— Да, — улыбается она. Он ей тоже сияет вовсю. Тогда они и улыбаются друг другу, будто нет меня.

— Сначала на ВДНХ, пожалуйста, потом на Фрунзенскую.

— Поладили, — говорит он.

Я дергаюсь.

— Саня, — прижимается сильно она. — Один раз, прошу тебя, мне будет очень приятно проводить...

— Нет, Наталья, нет.

— Санечка, я не засну тогда...

Она смотрит на меня так, что, если бы мне надо было стать такси по ее просьбе, я бы стал.

В машине жарко, мы сплестины и перепутаны. Я целую ее волосы, падающие льном из-под сползшего черного галстука русского платка. Только в машине я чувствую, как замерзла ног нет. Что же тогда она? И молчала, так долго терпела.

— Наталья? — я не вижу ее лица.

— Да.

— Ты замерзла?

— Нет, ты горячий...

Катится машина. По снежным улицам бежит она.

— ВДНХ — где? — спрашивает шофер, не поворачиваясь от руля.

— Напротив гостиницы «Ярославская», — говорю я.

— Молодежь приходящая, что ли?

— Нет, проходящая, — отвечаю я.
Он останавливает такси.

— Наталья, — говорю я, — завтра я тебе не позвоню с утра.

— Как, уже?! — улыбается она. — Взял от девушки все, что хотел, и больше не нужна?

— Нет, ты меня не так поняла. У меня дела, ну... секрет, в общем. Когда я могу позвонить тебе?

— Когда освободишься.

— Ох, завтра суббота. Ты не одна.

— Ты можешь звонить, когда тебе захочется, и звать меня. Я его предупрежу.

— Наталья...

— Отныне ты можешь звонить в любое время дня и ночи. Я абсолютно серьезно.

Как все меняется, в первый раз я не мог ей звонить совсем.

Мы прощаемся. Я поднимаюсь по лестнице своего постого общежития, — но даже оно кажется мне светящимся этой ночью. Я ложусь в кровать и с мечтами... о ванне засыпаю.

— Гриша, будь ты счастлив, неужели надо хлопать дверью по утрам? — говорю я.

— Ты что, недоцеловался вчера? — спрашивает меня Рязанский Гриша.

— А ты откуда знаешь, что я целовался вчера? — искренне удивляюсь я.

— Откуда же еще человек припирается в двенадцатом часу夜里, забывая даже дверь закрыть на ночь?

Логичные рассуждения.

— Гриша, а Рязань — это город или населенный пункт? Это что вообще?

Он обижается, но это ему за гроханье дверями.

— Сколько времени? — говорю я и вскакиваю. Так, чего доброго, он о исчезнет.

Я еду в метро на станцию «Таганская», опустив последний пятак, оставшийся с вечера. Хорошо, что делать пересадки — денег не стоит, а у меня их две.

Я не знаю, что такое Таганка, звучит как-то странно.

Выхожу наверх, в снег, и спрашиваю первого встречного.
Четвертый — знает, где такая улица, всего в двух шагах от метро. Так и называется — Таганская. Они тут лучами площади идут, и все похожи.

Я ехал к нему в первый раз, он всего там жил два года и переехал, когда я был на каникулах.

Двухэтажный дом желтовато-кремового цвета. Глубокое парадное, две ступеньки вниз, коридор тусклый, полуутемный и длинный; слева и справа тянутся двери. Вхожу и ищу. Почти в самом конце номер «3». Стукнул раз второй — тишина. Опять стучу, и кляну все на свете: надо доехать уже нет пятака, даже двушки позвонить на телефон и то нет. Стучу и стучу, чисто машинально, а что делать?

Открывается дверь:

— Стучи сильнее, он дома, — говорит соседка.

Соседки всегда все знают.

— Кто там?..

— Я, — отвечаю я.

— А, Санчик. Какого черта так рано?

— Уже одиннадцать, какой там рано.

— Мог бы и не будить брата, брат работает. Тяжело.

— Может, ты все-таки впустишь меня?

— Как? А ты где? Разве ты не вошел?

— Борь, проснись. Я стою снаружи, замерзший и голодный.

Дверь открывается, и он сразу падает в постель. Всегда спит, когда бы мы где ни жили, что бы почему ни произошло — мой брат либо лежит в постели, либо спит.

Комната пустая. Посреди нее стол, над которым висит лампа. В углу — широкая железная кровать, на которой лежит, тело моского брата, укрывшись еще и пальто поверх одеяла. Магнитофон стоит на тумбочке, чуть ниже туалетные принадлежности. Два стула, странного образца из-под кровати торчат край чемодана.

— Борь, вроде ты со мной лучше жил, а?

— Не вякай.

— Я серьезно.

— Не вякай, говорю я. К тому же когда я голоден с утра.

— Кстати, о голоде...

— Жрать ничего нет, так что не раздражай этими разговорами меня и мою пищеварительную систему.

— А у тебя нет такого странного желания: встать, пойти поесть и покормить брата?

— Я — бедный врач.

— Вставай, — говорю я.

— Не приставай, — говорит он.

— Я умираю. Борь, я не ел со вчера. Что бы папа сказал?

— Вот зараза.

Он высовывает робко ногу из-под одеяла, ему холодно, вскакивает вдруг и сразу надевает пальто, на себя голого, и идет умываться.

Да, прелестное местечко, оглядываюсь я. Пусто, холодно, но светло.

Он возвращается через пять минут.

— О, Санчик, как ты здесь очутился?!

Он целует меня в щеку, как ни в чем не бывало. Проснулся наконец.

— Я скучал даже, козявка, по тебе.

— Благодарю, — говорю я.

— Где твоя прекрасная пассия?

— В Париже, ей хорошо. Борь, одевайся.

Мне не хочется почему-то с ним говорить о ней, да еще в таком тоне.

— Давно ли это ты стал от меня секретики делать? Или забыл, кто тебя учил всему?

— Вот я папе и скажу, в кого я такой развратный!

Хорошо, — он уже выдавливает улыбку из себя, значит, совсем отходит от сна. Обычно этот процесс у него — долгий.

— Холоновато, Борь, у тебя.

— Зато недороговато.

— Сколько?

— Десять рублей в месяц и свет.

— Сколько?! — обалдеваю я.

— Десять рублей всего.

Он доволен произведенным эффектом.

— Это же неимоверно дешево. Там мы шестьдесят платили.

— Ну, там была квартира, а здесь комната. Тут, видишь, все такие, коридорная система называется, комната-квартира, у каждого свой вход.

— Где ты ее нашел?

— Случайно. Моя больная, у нее своя квартира, а это была пустая, ее матери. Она сюю никогда не пользовалась и отдала мне, деньги так, для приличия взяла, совсем не хотела.

— Ну, ты, думаю, не расстроился? — улыбаюсь я.

— Конечно, нет. Отчего же расстраиваться. Могла пять сказать.

— Узнаю брата Борю, — смеюсь я.

Он одевается.

— Значит, Санчик, не хочешь с братом поделиться?

— Нет, хочу, но потом. Она тебе понравилась?

— Приятная девочка. То есть дама. А то ж душить сейчас бросишься, если не так назову. Сколько ей лет, она старше тебя?

— Не знаю.

Он смотрит на меня.

— Ну, давай, давай!

Это присказка у нас такая, поговорка.

Он одет. Ведет меня в дешевую столовую, в которой будним дням питается какая-то швейная фабрика. Мой брат самый экономный человек Советского Союза. Сейчас здесь тишина, суббота. Для меня в столовку ходить легче харакири со своим животом сделать. Потом не выпихнешь эту еду — ни вперед, ни назад, ни трубой, ни колом.

Беру себе капустный салат, какую-то запеканку и чаю, чтобы согреться. Холода на улице звериная.

— Чего мясо не берешь? — спрашивает Б., стоя с подносом около меня.

— Разорять тебя не хочу, — говорю я.

— Полезное дело, — соглашается он.

— И так будешь попрекать три дня.

— Не вякай, неблагодарный, а то будешь платить за себя, — говорит Б. — Девушка, два подноса.

Мы садимся за столик в углу, сгружая все набранное. Я беру салфетку и долго тру свою чайную ложку и вилку. Я всегда так делаю, не доверяю их чистоте и мытью. Б. тоже быстро вытирает и начинает есть.

Мы сидим одни в столовой, кругом пустая тишина.

— Б., — говорю я.

— Дай поесть. — Он ест и ест, мне кажется, этому никогда не будет конца.

— Сколько можно жрать? — спрашиваю я уныло, глядя на пустующие тарелки, без запеканки и салата, я всегда быстро кончулю.

— Давай, теперь говори, — он откидывается на спинке стула, взяв стакан какао, он сладкое любит, и удовлетворенно урчит.

— Мне нужна квартира.

— Всем нужна, — улыбается он. — Уже, что ли? Могу ключи дать.

— Б., мне квартира нужна, а не ключи от твоей пустой с железной лежанкой комнаты.

— Будешь много вякать, и их не дам.

— Мне нужна квартира, понимаешь, сегодня, сейчас же. Я серьезно.

— У-у... — оно думает. Мозговое вещество.

— Ты говорил в прошлый раз, что слышал от кого-то, что где-то есть.

Он ставит какао на плоскость.

— Одна из соседок сказала, что сдаст, ее дочь не пользуется. Я как раз для тебя спрашивал.

— Ты серьезно, Б.? Какой ты молодец! А когда можно ее увидеть, мы зайдем к ней??

— Без тысячи вопросов. Я сам ничего не знаю. Сейчас вернемся, зайдем к ней.

Мы возвращаемся по снегу назад, вроде потеплело, и я иду расстегнутый. Мне не верится, что это возможно — сразу, так просто. Я даже стараюсь не думать и не мечтать об этом. Все равно не получится.

— А комната примерно как у меня, — подкалывает Б.

— Ладно, — говорю я, — сейчас не до выборов, королевские времена прошли. Мне кажется, что я на улице вымерзну. Представляешь, каково ей?

— Необыкновенная женщина.

— Б.! — говорю я.

— Хорошо, хорошо, святой предмет трогать не буду.

Мы заходим, спустившись по двум ступенькам, в тусклый коридор. Он стучит в первую дверь слева; открывая женщина, почти старенькая и худенькая.

— Простите, вы говорили, что хотели бы или можете сдать комнату: я ваш сосед, живу в конце коридора. А это для брата, он студент.

— Заходите, — говорит она. — Тетя Нина.

— Борис, — говорит он.

— Саша, — представляюсь я.

— Дочкина комната пустая, она живет у мужа. Эта квартира номер два, она прямо напротив вашей, в конце коридора.

Господи, не верю я! Сейчас окажется что-нибудь и так или какие-нибудь препятствия. Я даже стараюсь не думать о Наталье, все равно не получится.

— Можно взглянуть?

— Конечно, — говорит она.

Б. встает, за ним идет она. Я остаюсь сидеть на стуле, не веря происходящему.

— Может, ты все-таки встанешь, — говорит Б., — тебе там жить, не мне.

Как будто речь идет о самом обыкновенном. Эти проклятые квартиры в Москве — днем с огнем не сыщешь. Их попресснимал достаточно: и на Сретенке, на Вернадского, на Яблочкова.

Все останавливаются перед дверью. На ней написано № 2.

— Ключи забыла, сейчас я.

Она возвращается и открывает дверь. Сплошная темнота, включает свет. Ставни в окне закрыты. Еще со ставнями, думаю я.

Комната напоминает келью, и мне сразу нравится.

— Просто прекрасно, — говорю я.

Дверь закрывается, и мы опять возвращаемся к ней в комнату. У нее пахнет вареньем.

— Сколько? — по-деловому спрашивает Б. И когда только деловым таким стал, то все меня заставлял.

Но сейчас я все равно ничего не соображаю и смотрю на него. Как на оракула.

— Не знаю, — говорит она, — никогда не сдавала. Ну, рублей двадцать в месяц, — решает она.

— Пятнадцать, — на всякий случай говорит Б.

— Уж ладно, — соглашается она.

Беспринципно! Вот это да! Раз, два и никаких сложностей.

— Тетя Нина, — говорю я, — вы чудесная женщина.

— Ничего, сыночек, мы тоже молодыми были, жить хотелось.

— Когда... когда можно переезжать? — робко спрашиваю я.

— Хоть завтра, сегодня я приберусь там немного.

Господи! Не верю я всему этому.

— Б.?

— Ну что Б.! Тебе же сказали — завтра.

Я висну на нем в его комнате и целую в обе щеки.

— Ты беспринципно это сделал. Обошел меня на три головы с моими сниманиями, там платили бешеные деньги. Еще и хозяйка хорошая.

— Ценить, может, брата больше будешь!

— Я ценю тебя! — ору я.

— Не ори, соседи сбегутся, подумают, насилию тебя.

— Б., может, ей двадцать в месяц платить, она хорошая женщина.

— Ты что, ненормальный, что ли, или деньги у тебя отцовские кучами валяются?! Тогда давай мне эти пять рублей каждый месяц, если ты такой сердобольный.

— Я не верю, Б., клянусь тебе — не верю.

— Тут фирма работает, — показывает он на себя.

— И еще какая! — искренне соглашаюсь я.

Он запахивает пальто:

— Поедем на Центральный Телеграф, мне надо почту посмотреть. Скучно одному.

— Поехали, — соглашаюсь я, тем более что паспорт случайно взял с собой.

Мы выходим на Горького и поднимаемся к телеграфу.

— Б., мне надо домой позвонить.

— У тебя же денег нет, — он подозрительно смотрит на меня.

— Ты что, забыл?! За счет вызываемого.

— Давай, давай, отец это очень любит.

Он идет в зал, где получают письма, я — где телефоны. Заказываю свой родной дом за счет вызываемого.

Когда денег нет, я всегда звоню домой. Они мне и так присылают больше, чем достаточно, но всё куда-то распрачивается, сам не знаю куда. В последнее время батя нашел защиту от моих телефонных звонков за счет вызываемого. Когда ему московская барышня говорит, что звонит такой-то, вроде его сын, он говорит: только три минуты, девушка, остальное оплачиваете сами. Мог представить, в каком они шоке. Но через три минуты они разъединяют, и часто я ничего не успеваю сказать. Не говоря о том, чтоб попросить.

Б. возвращается с письмом от какой-то б... из Калининграда, он там после института служил начальником лазарета, а она вроде медсестрой. Становилась ему медбратом...

— Еще не дали? — он садится рядом на стул ожидания.

— Нет. В течении часа.

— Надо было срочный заказать.

— Ты хочешь, чтоб папку вообще кондрашка хватила. Он и так не успевает мои звонки оплачивать.

Б. утыкается в письмо. Хотя прошлое ему до лампочки.

Папуся у меня золотой, но трудноуправляемый. Денежки любит, ого-го, только мне и удается что-то вышибить из него. А после зимней сессии он вообще не желает разговаривать, но на данном этапе, кажется, примирился. Сессию я все-таки сдал. Кто б знал, чего мне эта сессия стоила и как мне этот институт нужен. Но папуся не любит, когда я так говорю, и я соглашаюсь, говорю, что нужен.

— Александр, за счет вызываемого, кабина седьмая.

— Это меня, Б., идем.

Я захлопываю дверь в кабину, падает моя шапка. Я снимаю трубку, там пустота. Смотрю на Б.

— Сам поднимешь, не отвалится. Я — больной человек.

Я наклоняюсь и поднимаю шапку.

— Мамуля! Мамуля, — кричу я.

— Да, мой сыночек, да, мой дорогой.

— Как дела, как вы живете?

— Хорошо. Я не болею. Почему от тебя так долго нет письма?

— Мам, ты знаешь, институт, лекции — много времени занимают.

— Ты живешь в общежитии? Тебе плохо там?

— Да, мамуля, конечно. Завтра пересезжаю жить напротив Бори, недорого, всего двадцать рублей в месяц... Вот, я и хотел, значит, сказать...

Мне у нее всегда неудобней просить деньги, чем у отца. Хотя охотней даст она.

— Сыночек, я тебе послала срочный перевод на сорок рублей, проверь на почте. Чтоб ты там не голодал, мой хороший. В общежитии, наверно, измучился? После своей квартиры. Не могу отца уговорить: пока не исправишься, говорит, за квартиру платить не будет...

Слава Богу, думаю я, не надо просить. Она у меня умница. Сорок рублей! Даже не верю я. Это же целое богатство, когда в кармане ни гроша!

— А он тебе регулярный перевод пошлет через неделю, как обычно. Кушай хорошо и не очень гуляй.

— Спасибо, мамуля. Ты у меня золотая. Я целую тебя.

— Может еще поговорить, отца дома нету, он на работе, у него операция срочная, а я в субботу сижу одна.

— Ма, не скучай, в июле я приеду на каникулы. — И мы говорим, и говорим без конца. Б. заканчивает письмо и выходит, в кабине жара.

— Привет Борику.

Я кладу трубку. Выскакиваю из кабины.

— Б., тебе от мамы привет.

— Спасибо. Куда ты несешься?

— За переводом, ура!

Через пять минут я получаю четыре десятки красного цвета.

— Б., дай девушку, быстро — срочно.

- У тебя вон, денег куча, и х трать.
- Ну Б., — смеюсь я, — мне девушка нужна.
- Диск еще срывается, как назло. Смотрю вверх на часы — два часа.
- Наталья? Алло, это я.
- Санечка, что с тобой случилось? Я с девяти утра сижу у телефона.
- У меня были дела. Я же тебе говорил, вчера.
- Но ты обычно звонишь в девять... Где ты был, все в порядке?
- Это секрет.
- Встречался со старыми знакомками?..
- Да, с тремя!
- Им понравилось?
- Наталья! — пауза. — Я хочу увидеть тебя.
- Я тоже, прямо сейчас. Где ты встретишь меня?
- Где ты хочешь, — говорю я.
- Давай на «Фрунзенской», — это ее станция. Где мы познакомились.
- А...
- Мне все можно, — смеется она. — Нужно полчаса, чтобы собраться, я так и сижу в халате с утра.
- (Я представил ее в халате... какой-нибудь необыкновенный, у нее все необычное. Даже простые слова: «халат» — как-то по-иному звучат у нее.)
- Договорились?! Я целую тебя!
- Наталья?..
- Его нет дома, не пугайся. И потом, я самостоятельная женщина! Ты целуешь меня?..
- Да, — говорю я, — только не по телефону.
- Через полчаса, — говорит она.
- Трубка вешается мной.
- Пойди посмотри на себя в зеркало, — говорит Б., стоящий рядом. — Неописуемое выражение лица. Никак влюбился, братик, или недалеко от этого.
- Ни в кого я не влюблялся. И не собираюсь этого делать — влюбляться, чтобы на моей голове сидели. Она прекрасная женщина, Б. Необычная. Но я не верю, что ей хочется встречаться со мной. Я дрожу, что я ее не увижу. Каждый раз боюсь, что потеряю, страх не проходит; когда

- она рядом, еще успокаиваюсь. Но как только приближается час ее ухода, так страх с новой силой нападает на меня. И не отпускает до следующей встречи.
- Вот я о том и говорю, верные признаки, — смеется одними губами он.
- Да ну тебя, я серьезно.
- Я тоже.
- Ну, давай, давай, — отвечаю я, и мы смеемся вместе.
- Выходим с телеграфа. Я иду, не запахиваясь. Совсем потеплело, и не холодно. Даже кое-где снег взмок и тает. Через неделю март, с которого начинается весна. А тепла за снегами совсем не видно.
- Где вы встречаетесь?
- На «Фрунзенской».
- У самого ее дома?
- Да.
- Смелая она.
- Я сам удивляюсь, Б.
- Я целую его в щеку. Он — мою.
- Я тебе позвоню в понедельник на работу, телефон у меня есть.
- А ты переезжать не собираешься? Завтра?
- Не-а, — шучу я.
- Как это?
- В понедельник, — говорю я. — Выдержать хочется.
- Ну, давай, давай, — говорит он.
- Мы еще раз целуемся на прощанье, метропрохожие с недоумениемглядят на нас. Но не буду же я всем объяснять, что это мой брат.
- Наталья! — говорю я, выходя из дверей вагона. — Как ты узнала?
- Спустилась вниз встретить тебя. Помню, через каждую дверь в вагоне выходишь. Ты меня тогда разглядывал от этой двери...
- Заметила?
- Конечно.
- Как это звучит — «встретить тебя»! Я вообще какой-то

обалдевший становлюсь, когда встречаюсь с ней, ничего не соображаю. Интересно, она замечает это или нет?

— Хочешь, посдем на наши Ленинские горы Лужники, сегодня тепло, хочется погулять?

— Конечно, хочу. Все, что ты пожелаешь.

— Благодарю вас, — она кивает царственно.

Сегодня онадержанно холодна. Неужели была вчера, Наталья, ее губы на снегу. Мне показалось, я смотрю на ее лицо, на губах припухлость осталась. На голове у нее моя любимая черная шаль. Я любуюсь ею. Холодной Натальей.

— Пойдемте, Саня, — она берет меня за руку и заводит в следующий поезд, остановившийся на минуту, длящуюся мгновения.

— Что это ты сегодня такая официальная? На «вы»? — спрашиваю я, наклонившись и шепча ей на ухо. Она наклоняется ко мне, я поворачиваю голову, удобней для слуха.

— Я тебя полдня прождала. Думала, что-то случилось. Ты же маленький мальчик. Я к тебе как к Аннушке отношусь...

— Спасибо, Наталья, — шепчу я.

Вагон полупустой, но мы шепчемся. Мне это нравится.

— Ты же как она, можешь поскользнуться, то ли ручонку себе сломать, то ли ножонку.

Мне нравится ее «ручонка», «ножонка».

— Я за маленьких всегда переживаю...

Я тыкаюсь слушающим ухом в ее губы, она прерываетя. Я чуть отклоняюсь:

— ...потому что маленькие детишки, типа, Санечка, тебя, сами не знают, что могут наделать...

Я тыкаюсь ухом в ее губы снова.

— Ну, Саня, — говорит она. — Я сегодня серьезная, не перестранив меня.

«Станция "Ленинские горы", следующая "Уни...».

— Быстро, побежали, — говорит она, и мы едва выскользываем в закрывающиеся двери. — Несерьезный ты мальчик, — говорит она, — взрослую женщину не слушаешься.

— Наталья, а знаешь, куда утки деваются на зиму с Новодевичьего пруда?

— Нет.

— Пойдем узнаем.

Мы спускаемся на эскалаторе вниз. Я смотрю на те разменные автоматы.

— Здесь я ждал тебя.

— И был просто прекрасен, не узнав меня, — через два часа.

— Разбогатеешь, значит.

— Я и так богатая...

— Чем?

— Ни чем, а кем...

Дверь открывается, закрывается.

— Почему тебя интересуют утки? — Она берет под руку меня. Вообще я ненавижу ходить под руку и смотрю на таких как на идиотов. Но с ней мне даже это нравится. Ее рука приятно зажата под моей.

— У меня есть любимая книжка, американского писателя, «Над пропастью во ржи».

— Я читала ее на английском. Тебе нравится этот мальчик?

— Да. И его сестричка Фиби, такая лапочка.

— Поэтому тебе хочется походить на него и узнать это.

— Нет, мне ни на кого не хочется походить, я не похожий...

Она останавливается, повернув меня к себе:

— Да, ты, правда, не похожий мальчик. — И добавляет: — Ни на кого.

Двигаемся дальше.

— Просто я захотел узнать, куда из этого пруда деваются утки. И сказать сму. Ему ведь так никто и не сказал. Куда из их парка деваются утки.

— Как ты ему сообщишь об этом?

— Не знаю, — говорю я, — надо сначала узнать, куда утки деваются.

Пересекая Лужники, дамбу, мы приходим к пруду. Где утки, мы так и не узнаем, и мне жалко того мальчика.

Мы стоим на ледяном пригорке, и я придерживаю ее.

- Наталья, а хочешь в лес поедем?
- Хоть в Булонский!
- Наталья, я серьезно. Ты как маленькая...
- Конечно! Могу я побывать такой, как ты, хоть иногда... А где лес?
- Внуково, — говорю я отловленному таксисту.

Туда они всегда едут, так как там аэропорт и можно на колоть прилетевших. Пролетающих и перелетающих.

- Ты опять об утках думаешь? — спрашивает она.
- Нет. О тебе.

Я наклоняюсь и целую ее руку, лежащую на колене. Ей стало жарко, она расстегнулась. На ней кремовато-коричневая кофта английской вязки, а под ней — темно-коричневый свитер-водолазка. А под ним... очертания прекрасны. Меня почему-то волнует ее грудь. Я никогда толком не разглядывал Наталью до конца. Обычно в первый же раз я разглядываю в пришедшей все сразу, до упора; мысленно раздевая, если не раздевается сама. А здесь у меня даже такого желания не возникало. Не то я боюсь увидеть что-нибудь не такое... К тому же она не «пришедшая»...

Но грудь все-таки должна быть у нее потрясная, она тревожит.

- И что же ты обо мне думаешь, Санечка? — она смотрит на меня.

Я колеблюсь. А, всегда надо в лоб.

- Какая у тебя грудь? — и осекаюсь.
- Женская, — спокойно отвечает она.
- А я думал, что мужская, — смеюсь я, видя улыбку в ее глазах.

— Хочешь посмотреть? — спрашивает она.

— Прямо сейчас?

- А почему бы и нет, — она берется за край свитера. Шофер внимательно смотрит в заднее зеркальце, по-моему, даже не следя за дорогой.

— Наталья! — говорю я и делаю ей глаза.

- А что? — отвечает она. — Мы современные люди. У тебя девочки раньше такие были?

— У меня не было раньше «девочек». Ты первая...

Она порывисто наклоняется и целует меня.

- Спасибо за это...
- Мы несемся за городом, где-то посредине дороги.
- Здесь, — говорю я.
- Что? — не понимает он.
- Здесь остановите.
- Посреди леса?

(Посреди города, говорю про себя.)

Он останавливается, резко тормозя. Наверно, кляня меня и считая за придурочного.

Наталья быстро раскрывает сумку. Я останавливаю ее руку и царственным жестом, чуть повернувшись, достаю из кармана хрустящую десятку.

Она смотрит удивленно на меня, а я шепчу ей:

- А ты думаешь, так бы я и сел с тобой в такси...

Она целует меня в щеку.

Таксист дает мне сдачу.

- Рубль себе, — говорю я.

Рубль в то время были большие деньги.

По-моему, он не смотрит на меня уже как на придурочного и все кивает головой — благодарно.

Я помогаю Наталье выйти из машины и по привычке смотрю на сиденья.

Коричневые две шоколадки лежат, забытые, в углу.

— Наталья, ты когда-нибудь точно потеряешь свои варежки, которые я люблю. Где они?

Я хлопаю дверью. Такси отъезжает, потом возвращается.

- Может, за вами приехать, когда скажете?

— Спасибо, — говорю я, — мы в лесу жить останемся. Он смеется и уезжает.

— Все, Наталья, в лес, в тишину, на природу. Два года мечтал, благодаря тебе выбрался.

Строгий взгляд:

— Так, так, Саня, — говорит она, когда мы спускаемся вниз по склону. — Значит, вот о чем ты думаешь, глядя на меня. И не представляла, что ты такой...

— Нет, Наталья, я... ты меня не так поняла... Просто в тот момент я подумал об этом, а ты спросила. А вообще меня это не интересует...

— Ах, вот как! — она расширяет глаза. — Значит, я тебе уже не интересна?..

— Нет, ты не так поняла, — я сбиваюсь, она наклоняется и целует меня.

— Санечка, даже взрослой женщине объясниться не умеешь. Комплиманта... что молода, не дождешься.

Какого там комплимента, когда она выглядит моложе меня.

— Ты, Наталья, ты, — мы проходим заснеженную поляну, приближаясь к первой гряде леса, — ты — хорошая...

— Забавный комплимент, — смеется она.

— Я их вообще не могу говорить. Я считаю, что дела лучше слов.

— Ладно, не смущайся, не твоя вина, что я стара и не вызываю у тебя...

Я делаю вид, что ставлю ей ножку, а она делает вид, что падает в снег. Но не падает. Мы входим в хвойный лес. Божественный запах. Елки, сосны стоят ровными рядами, колоннами. Снег лежит девственный, нетронутый, нехоженый. Ровным — шапкой — покровом. Солнце лучами пробивает сквозь вершины, давая загадочную светотень лесу, будто окружив тебя и держа в спокойной хвойной тишине, замкнутой и недоступной для других; для всего остального мира.

Мы идем след в след, я заставил идти ее за собой, чтобы она не проваливалась и не мочила ноги. Она сопротивляется, говорит, что у нее сапоги выше и кожаные, а у меня замшевые. В результате она сталкивает меня со следа и уходит вперед сама.

— Наталья, ты преступница!

— Да, — искренне соглашается она. И эхо — а-а, — мы уже в лесу.

Я догоняю ее и ставлю подножку, она, невероятно почувствовав спиной, успевает переступить, и я падаю в снег сам. Она оборачивается, такие лучики бегают в глазах:

— Саня, ну почему ты такой маленький, совсем малыш: Аннушка моя и то знает, как ножки маме ставить, чтобы самой не падать.

— Я подучусь, Наталья.

— Ладно уж, — она протягивает мне руку, чтобы я встал, — поверю, только не лежи в снегу, простудишься.

Я иду за ней в след и, изловчившись, ставлю подножку наверняка, она, как ждала, отскочив, быстро подсекает мою воздушную ногу, и я грохаюсь в снег. Опять.

Она смеется.

— Хватит, Саня. Я же не твои институтские подружки. Я все-таки женщина зрелая.

— Зрелая женщина, а ты любишь блатные песни?

— Очень. Да. Просто обожаю.

— Хочешь я тебе спою?

— Как, ты еще и поешь?! Универсальный ребенок.

— Стараюсь, но голос жуткий. Правда, там тексты важны, так что не обращай внимания на голос.

Мы идем по широкой просеке хвойного леса, в белом проваливающемся нетронутом снегу, и я начинаю:

Он за растрату сел, а я за Ксению.
У нас любовь была, но мы расстались,
Она кричала «бля», сопротивлялась.
А нас двоих захапало ЧК,
И вот опять мы те же самые ЗК,
Зэка Петрова, Васильева зэка.

А в лагерях не жизнь, а темень тьмующая:
Кругом «майданники», кругом «домашники»,
И очень странные к нам отношения,
И непримальные пополнения.

И вот бежать нам очень хочется,
Не то все это страшно плохо кончится:
Нас каждый день мордуют уголовники
И главный врач зовет к себе в любовники.

Четыре года мы побег готовили,
Харчей три топни мы наэкономили,
И даже дал в дорогу нам половничек
Один ужасно милый уголовничек.

И вот ушли мы с ним к руке рука,
Рукоплескала нашей дерзости Москва,
Зэка Петрова, Васильева зэка.

И вот идем мы с ним как сиротиночки,
Не по дороге все, а по тропиночке.
Куда мы шли, в Москву или в Монголию,
Он знать не знал, паскуда, я — тем более.

Я доказал ему, что север, где закат,
Но было поздно, нас захапало ЧК.
И вот опять мы те же самые эзка,
Эзка Петрова, Васильева эзка.

Ну а полковнику и деньги и два ордена
За то, что он поймал двух страшно крупных уголовников.
Ему и деньги и два ордена, а он от радости
Все бил по морде нас.
Ему и деньги и два ордена,
А он от радости — все бил по морде нас.

Я чуть поостал, чтобы не видеть ее лица.
— Саня, мне очень понравилось, еще.

Я иду сзади:

— Наталья, только ты не поворачивайся, ладно, а то я
стесняюсь, в общем, смущаюсь и...
— Согласна, у-у, какие мы стеснительные...

Весна, еще вначале, еще не загуляли,
Еще душа рвалася из груди,
Но вдруг приходят двое с конвоями, с конвоем:
«Оденься, — говорят, — и выходи».

Я так тогда просил у старшины:
Не забирайте меня из весны!

До мая пропотели, все расколоть хотели,
Но нате вам, темрю я сорок дней,
И вдруг, как нож мне в спину, забрали Катерину,
И следователь стал меня главней.

Я понял, что теперь тону,
Покажьте мне хоть в форточку весну.

И вот опять вагоны, вагоны, перегонь
И стыки рельс отсчитывают путь,
А за окном зеленым березки и клены,
Как будто говорят: не позабудь.

А с насыпи мне машут пацаны:
Куда ж меня увозят из весны-ы?

Спросил я Катю взглядом: уходим? — Не надо!
— Нет, Катя, без весны я не могу,
И мне сказала Катя, раз надо, так надо,
И в ту же ночь ушли мы с ней в тайгу.

Как ласково нас' встретила она,
Ах, вот, ах, вот, какая ты тайга-а.

А на вторые сутки на след напали суки,
Как псы, напали суки и нашли,
И повязали суки и ноги нам, и руки,
Как падаль по земле поволокли.

Я понял, мне не видеть больше сны —
Совсем меня убрали из весны..!

Она идет, не оборачиваясь, но внимательно слушая. Я умолкаю, она поворачивается и спрашивает:

— Откуда ты их знаешь?

— Увлекался когда-то, песен сто пятьдесят знал.

— Еще, Саня. Пожалуйста, я буду идти, не поворачиваясь.

— Наталья, есть одна неплохая песенка, ваша, московская, только там это, ну...

— Это ничего, Санечка, я мата всякого наслушалась. А это фольклор, правильно? И его надо изучать. Вас так учили этому в институте, филолог?

— Нас учили, но тебе такое я говорить не могу.

— Ну, Саня, я буду впереди и с закрытыми глазами. Считай, это не я, а твои институтские подруж...

— Наталья, ну что они тебе покоя не дают, нет у меня этих подружек, тем более в институте: где живешь, там не..., то есть, я имел в виду, ничего не делаешь.

— А где не живешь?

— Ну, Наталья.

Она улыбается моему смущению.

— Все, — говорит она, — я иду впереди.
И она идет. Лес пахнет.

Я продолжал, а она шла по лесу и удивительна была в этом лесу.

Моему лицу было жарко, когда я окончил.

Она спокойно повернулась, улыбнулась и сказала:

— Еще.

Я спел еще песен десять, пока мы не вышли на глухую поляну и остановились. Две сломанные слии, лежавшие поодаль, в метре друг от друга, устилали сплошными толстыми лапами все пространство между ними.

— Давай сядем, — предложила она.

Мы сели на лапы, забросив ноги на одну лежащую сосну, откинувшись на другую.

Я лежал и ни о чем не думал. А стоило бы.

Смотрел в серо-голубое небо и впервые за полгода отыхал: лес, тишина, чистота в воздухе, она, запах, как дурман.

— Саня, ты где? — спросила она.

— Здесь, Наталья.

— Я сто лет в лесу не была. Спасибо тебе. — Она повернулась полулежа, приблизившись, и смотрела. Ее волосы распустились из-под опущенного платка и обнимают все плечи. А лицо было открыто совсем, полностью, как для поцелуя. У нее чудесный лоб, думаю я.

Она долго внимательно смотрит на меня. Она ждет. Или мне кажется?

— Наталья... — начинаю я.

— Да, Санечка! Почему ты такой робкий, совсем как маленький...

— Я просто не знал...

— Да. Мне очень хочется.

Я еще секунду чего-то жду и прикасаюсь к ее губам. Я целую их горячими губами, и от этого поцелуя жар разливается внутри меня, нас, наши губы целуют друг друга. Мы расстегнуты до тела. Моя рубашка от узости сама выскакивает из пуговиц. Она целует мою шею, наклоняется ниже. Я забрасываю голову наверх и ничего не вижу, даже неба, только чувствую ее скользящие по моему телу волосы. Мои руки обнимают, нежат ее спину. И гранью ладони, соскальзывая со спины, я касаюсь, как бы нечаянно, ее груди. Она прижимается сильнее, и я касаюсь увр-

ренней, смелее, не боясь, что обижу ее каким-то движением, я ужасно боюсь обидеть ее. Она женщина, и этим неприкосновенна для меня.

Она отклоняется, упираясь в меня, и смотрит, ничего не говоря. Я не понимаю этого взгляда.

— Наталья, — говорю я, — не уходи.

— Что ты, малыш, я не ухожу...

Неожиданно она опускает свою руку вниз, берет край свитера, задирает его к шее, и ее грудь, обнаженная, касается меня, вдавливаясь глубоко, глубоко. Господи, если я не потерял сознание тогда, я его уже никогда не потеряю. Губы и волосы ее мгновенно закрывают мое лицо, и поцелуй, делящийся вечность, не дает мне думать.

Наконец я прихожу в себя. Я начинаю ощущать, чувствовать. Меня волнует чудо женской груди, а у нее неописуемая грудь, что-то неповторимое. Я еще не касался такой...

Я освобождаю свой рот от перепутанных волос, которые мы ели в поцелуе ее губ, и шепчу:

— Наталья, я хочу поцеловать...

— Да...

Она приподнимается надо мной, я приближаюсь лицом и, коснувшись щекой, губами обхватываю ее божественную грудь. Нервно трепещущий сосок. Потом я целую ее всю, ничего не соображая. Как одержимые, губы шарят по плоти другого, сталкиваясь и разбегаясь, на мгновение соединяясь в боли и сладости.

Я вожу руками по ее обнаженному телу, стараюсь согреть и не дать замерзнуть.

Стемнело, мы час, наверно, не отрываемся друг от друга, и я начинаю бояться:

— Наталья, я боюсь, что ты простудишься, ведь мы на снегу лежим.

— Не простужусь, Санечка.

— Пожалуйста, — я отстраняюсь от нее.

— Я хочу, чтобы ты меня целовал...

Я переворачиваю ее на спину, опускаю задранный свитер, укрываю своей дубленкой еще и начинаю целовать ее горячие губы, глаза, шею, волосы, лицо.

Мне кажется, что она не дышит, что замерла, как будто

уснула. И только отвечающие губы, пальцы, касающиеся меня, говорят, что она жива. Дурманящий запах хвои, снега, ее тела совсем расслабляют меня. У меня кружится голова, как не кружилась сто лет. У меня нет сил держиваться.

— Наталья, — отрываюсь я от ее губ, — останови меня. Ты пьянящая, у меня кружится голова...

— Выпей меня, — говорит она и прижимает мои губы к своим. У меня нет больше сил целовать. Я только держу ее губы в своих, без движения.

Ноги мои замерзают, и я не чувствую их абсолютно. Как я буду вставать, не представляю. Об ее ногах я даже не думаю. Какая терпеливая. Она обнимает меня и опять раскрывается вся, оголяется, прижимая меня к себе. Я замираю, слушая стучащие сердца и вздохи ее груди. Снова темно.

— Волки, Наталья...

— Неправда, Саня...

— Я боюсь, ты простудишься. Ты на снегу...

— Пустяки, — отвечает она.

— У меня ног совсем нет, абсолютно отмерзли. — Я откidyваюсь, поднимая ее. Она садится и берет свои волосы двумя руками.

— Где сумка, Саня? Я ничего не соображаю, совсем пьяная.

Ее слова волшебны. Я не верю, но она искренна.

Я встаю на ноги, чтобы поднять отброшенную сумку, и тут же падаю, как несвязанный спон.

— Ой, — вскрикиваю я.

— Что такое, Санечка? — ее лицо встревожено.

— Наталья, ног абсолютно не чувствую. Встать не могу, как два ледяных стержня.

Она встает на колени, приближается к моим сапогам.

— Ты понимаешь, я всю жизнь жил в тепле и к вашим ненормальным морозам не привык. А ты замерзла?

— Не очень. Видишь, какая я глупая и нечувствительная, заморозила тебя.

Она снимает с меня один сапог, расстегивая молнию, потом второй.

— Саня, ты будешь терпеть?

— Ради тебя, да. Ой, где мои ноги!

Она осторожно садится на них. Потом опять, снова, сильней, быстрей, боль неописуемая. Тысячи игл вколо-ты. И вкалывают. Я откidyваюсь на локте и, чтобы не заорать, кусаю край дубленого воротника. Проходит вечность, прежде чем она останавливается.

— Санечка, тебе больно, ты прости меня.

— Нет, нормально.

— Ты можешь идти теперь?

С ее помощью я встаю, кое-как держусь на ногах, но боль дикая. Зато могу на ногу наступить, а то падал. Она опирает мою руку на свое плечо и надевает по очереди один сапог за другим, заставляя держаться за нее. Мне неудобно, я хочу сам, но она одергивает меня и строго смотрит.

Наконец я одет, обут и стою на ногах, своих. Она поднимает с ельных лап сумку, приводит в порядок распущенные волосы, повязывает шаль-платок и смотрит на меня:

— Нормально?!

— Ты прелестна, — улыбаюсь я.

— Все шутишь, — грустно говорит она.

— Как всегда, — не спешу, как обычно, раскрываться я.

Идем мы потихоньку, она держит меня за руку.

— Осторожней, Саня! Тебе больно, да? Ты скрываешь от меня?

Ног, к черту, все равно нет, но ведь не женщина же я.

— Все прекрасно, Наталья.

— Прекрасно, пять часов на снегу пробыл. Бедный Саня, — она целует мои губы.

В лесу, застrelились, ничего не видно, хотя снег белый, но если и сосны — очень густые деревья. Снег белый, а вокруг темно. Как мы выберемся, не представляю.

На звук проносящихся машин мы идем, возвращаясь назад. Выходим на опушку, проходим поляну, овраг и выбираемся на дорогу.

Хоть не заблудились, думаю с облегчением я, и от этого вроде легче. Неужели сейчас будет теплая машина и окончится эта холода? Я поднимаю руку. Проходит

одна машина, вторая. Они и не думают останавливаться, слегка притормаживая, когда летят мимо меня, и слепя фарами. Проклятые, думаю я.

На ногах стоять просто невозможно. Сейчас я упаду. И на ее глазах... Я оглядываюсь на темный молчаливый лес. Может быть, это было счастье? Хотя кто знает, что такое счастье, думаю я.

— О чём ты думаешь, Санечка? — она вглядывается в мои глаза.

— О счастье, — банально отвечаю я.

— Что ты думаешь?

— Это секрет. Если я тебе все расскажу, тебе завтра будет неинтересно, а я еще хочу увидеть тебя, — она стоит очень близко от меня.

Проносится еще одна машина.

— Что же делать? — спрашивает она.

— Они, идиоты, боятся, что ночью из леса двое останавливают. Боятся, что убьют. Вот кретины, тут ног нет, а они боятся.

— Саня, не злись. Спустись, а я остановлю одна.

Я смотрю ей в глаза.

— Правильно, Наталья, ты у меня волшебная. Спуститься — я спущусь, если только потом смогу подняться обратно.

— Я тебе помогу, — смеётся она.

Я спускаюсь и выглядываю. О счастье, совсем пустой, с зеленым огоньком, она стоит одна — он сразу останавливается как вкопанный. Ну, получишь ты на чай у меня, думаю я.

Она открывает дверь и говорит:

— Саня!

Потом ему:

— Подождите, тут раненый у меня.

Я взираюсь по склону наверх — она подает мне свою крепкую тонкую руку — и плюхаюсь на заднее сиденье. Она садится рядом и обнимает меня. Шепчет в ухо ласково:

— Санечка, потерпи, доедем, я согрею тебя.

— Гуляли в лесу, молодые? — спрашивает шофер и поворачивается, глядя на меня.

— Да, — отвечаю я.

— Замерзли небось, двадцать четыре холода.

— Да, — отвечаю я.

— Сейчас мы печечку подключим, натопим побольше, — говорит он. Ладно, дам ему на чай, думаю я.

— Наталья, давай поцелуемся, — шепчу я. — Иначе я умру от охлаждения...

Она, видимо, не хочет, чтобы я умирал.

Мы сидим на заднем сиденье машины и целуем губы друг у друга. Я сильно обнимаю ее и так держу, не давая дышать.

— Саня, ты задушишь меня, — шепчет она.

— Это как раз то, что я хочу, — чтобы ты никому не досталась.

Машина уже въехала в Москву, кольцевое кольцо. Мелькают дома, Юго-Западная, мы едем по Ленинскому проспекту.

— У тебя есть время, Наталья?

Она смотрит на часы, и мне становится темно в глазах: без десяти десять. Она должна была быть не позже семи дома.

— Да, Санечка.

— Так уже...

— Скажу, что была у подруги, — перебивает она.

Мы просежаем «Кинолюбитель», универмаг «Москва», «Трансагентство» — скоро Гагаринская. Улицы пусты, освещены и покрыты укатанным снегом. Гагаринская. Мне приходит в голову:

— Здесь остановите, — говорю я.

Расплачиваюсь, и мы выходим на улицу из тепла.

— Спасибо, — говорю я. Я редко говорю таксистам «спасибо», только очень хорошим.

— Куда мы, Санечка?

— В кафе «Южное», заманчивое название. Я там никогда не был.

— Я тоже, — она смотрит на меня, — не была.

Мы заходим, в кафе полумрак. Даже не похоже на наше кафе, у нас нельзя полумрак. Черт-те что творится: места есть. И уже совсем невероятное, официантка через

пять минут подходит... Наверно, потому что я с необычной женщиной, она — необыкновенная.

— Что ты будешь, Наталья? Что-нибудь есть?

— Нет, я — кофе, горячего и побольше.

— Еще что-нибудь, пожалуйста.

— Спасибо, больше ничего не хочется.

Она, видимо, решила быть бухгалтером-экономистом — по учету моих денег.

— Какие пирожные у вас есть, девушка?

— Всякие. Пятнадцать видов, что я вам перечислять буду!?

О, это уже знакомое.

— Значит, не будете?

— Нет.

— Тогда: кофе, все пятнадцать видов, а мне крепкий чай.

— Вы что, серьезно?

— Конечно, серьезно, я вам не хочу лишнюю работу задавать: перечислять.

Она уходит.

— Саня, зачем столько? Ты что, все их съешь?

— Нет, есть будешь ты, я — ни одного.

В полумраке в ее глазах какие-то блики, лучи, как флюиды, они завораживают меня, хотя по мне этого не видно.

Где-то танцуют, кто-то танцует. Я протягиваю руку и стряхиваю иголки у нее на плечах, в волосах.

Молчу и долго ничего не говорю. Держу ее руку, она у нее горячая.

— Она понимает это по-своему.

— Санечка, тебе не понравилось, какая я была в лесу?

— Что ты, Наталья.

— Мне не надо было этого делать?..

— Наталья...

— Я знаю, тебе это не понравилось. Так сразу...

— Просто я не ожидал. Не думал...

Она меняется моментально:

— Ты думал, мы будем ходить по лесу и петь песенки все время?

Мы смеемся, у нее лукавая улыбка.

— Видишь, какая я плохая, развращаю маленького мальчика.

— Это не страшно, — говорю я.

Приходят пирожные, уходит официантка.

— Наталья, хочешь я тебе расскажу о своих родственниках?

— Да, Санечка. Мне все интересно, когда ты рассказываешь.

Внутри я таю. Приятно, когда тебе такая женщина говорит такие слова.

— Итак, о моем клане. Дед и бабушка родили пять мальчиков и ни одной дочки. Младший, пятый, его Шурик звали, погиб на войне в сорок втором. У отца три брата, и у каждого по двое-трое детей. Одного, родного, ты видела. Это, так сказать, представитель папиного раннего классицизма, а я уже позднего неоклассицизма. Папа говорит, что я у него не удался. Какой-то шальной сперматозоид выскочил, из которого я и получился. Неусидчивый, говорит, несосредоточенный, и имя его не прославлю. Он все хочет достойного потомка, пишущего диссертации. А я за нее сяду, разве только попросят написать о тебе...

Она скромно улыбается. Вернее, делает вид, что скромно. Вернее, делает вид, что делает...

Я достаю «Беломор», она успевает раньше меня и кладет передо мной «Мальборо». Мои любимые сигареты. И, как ни в чем не бывало, смотрит на меня.

— Я тебе слушаю, Санечка.

— Наталья, — говорю я.

— Ну, пожалуйста, Санечка. Я же не курю, только иногда. Это для тебя. Я специально в магазин ездила.

— Специально для меня?..

Я без слов закуриваю сигарету.

— Знаешь, у меня есть в Ленинграде чудесный дядька. Я от него всегда умираю: и от того, что он говорит, и от того, как он говорит. Обязательно увезу тебя в Ленинград, познакомлю с ним. Он тебе понравится.

Она грустнеет.

— Что такое, Наталья?

— Этот город вызывает у меня отрицательные эмоции. Там родственники мужа живут, его мать.

— Прости, я не знал.

— Что ты, Санечка! Конечно, мы съездим, если получится. Я обожаю «Эрмитаж»: Рембрандта, Родена, Ван Донгена, Сёра.

— Наталья, кстати, Ленинград красивей вашей Москвы.

— Согласна. Но Москва одна.

— Нет, я ее тоже люблю, но это какие-то различные чувства. Москва привычна, она как дом, а Ленинград — это дворцовый город, здания, архитектура.

Я задумался. Танцевать перестали.

— И что же дядя, Саня?

— А, да. Такой седой боевой капитан, любит очень говорить «сыночек», курит всегда папиросы и при этом застывает вот так. — Я показываю как, и она улыбается. — А дым выпускает вот так, — она еще больше улыбается. Я рад, что она отошла от Ленинграда.

— Дядька у меня, правда, забавный. В войну он был капитаном подводной лодки, она сейчас стоит в морском музее. Во время блокады перевозил по замерзшему Озеру части, подразделения, снаряды — подо льдом. А немцы прилетали и бомбили Озеро по два раза в день, сбрасывая глубинные бомбы. Ему везло. Один раз лазарет моего отца вышел к этому озеру. Ну, они встретились, поцеловались. А когда папа собрался с ранеными в подлодку, дядя-капитан везти наотрез отказался. Послал его вёрхом, на машине, вдоль берега, хотя это было опасно. И объяснил: взорвётся мина, я один погибну, ты останешься, а если вдвоем погибнем — отец мне этого не простит. И папа вёрхом поехал. А отец у них, мой дед, крутой был. У него была такая воспитательная манера. Раз в неделю он брал палку, клал одного из них на лавку, а остальные четыре брата держали за руки и ноги. И он дубасил. Потом очередь менялась и бил другого, а побитый уже держал. Это было чисто профилактически плюс за разные провинности — бил обязательно. Зато людьми выросли. Отец мне все говорит, что он мало «дубасил» меня, оттого я не получился. Ты дочь не бьешь?

— Что ты, Санечка?! — У нее даже глаза расширились от такого предположения.

Я потушил тлеющую сигарету.

— А меня отец бил до конца школы.

— Бедный мальчик, — говорит она, и я вспоминаю тогда. Он клал меня поперек дивана и порол голого, со всего размаха. Если бы не мать, прибил бы когда-нибудь. Боялся я не боли от ремня. А его неистовства и крика, когда он бил меня. Животность страха тошила меня. Может, он был прав, иначе вообще каким-нибудь подонком вырос. (И сейчас не лучше. Но все-таки.)

— Дядя провоевал всю войну, дослужился до капитана первого ранга, должен был получать контр-адмирала. И как-то рассказал анекдот на лодке, безобидный совсем, кто-то из офицеров или матросов заложил его, а он к ним относился как Бог. Ты же знаешь сталинские дела, сажали как черешню. Получил он десять лет, звание сняли, разжаловали. Семь лет отсидел, реабилитировали да списали. Толку было от этой реабилитации, если он сахарный диабет заработал да зубы повыпадали. Оттого он и курит так забавно...

— Да, грустно, Санечка. Мой отец сам чудом уцелел тогда, хорошо, что был в невысоком звании и не престендовал.

Я закурил новую сигарету и глубоко затянулся.

Ног я еще не чувствовал, зато времени, наверно, было полдвенадцатого. А она сидит как ни в чем не бывало. И не собирается никуда.

Я допил свой чай, а заказывать мне не хотелось. Пока дозвонившись официантку, пропадет вся охота.

Она говорит:

— Саня, я съела пять пирожных, и все ради тебя, но, если мне предложат взять в течение года еще хоть одно сладкое, я умру безвозвратно!

— Наталья, — смеюсь я. — Я же шутил, не ешь, конечно! — Я смотрю на нее: она съела пирожные ради меня. Она сейчас такая бедная и, наверно, такая сладкая.

— Наталья, можно я поцелую твою руку?

— Даже меня... — мы целуемся через стол.

И хорошо, что темнота, я считаю глупым целоваться при людях.

Ее губы завораживают меня. Они такие, что хочется целовать их все время, долго. И не останавливаться.

Мы отрываемся друг от друга и смотрим, не понимая,

— Наталья, ты... — говорю я.

— Санечка...

Я оставляю деньги и «чаевые» на столе, мы идем одеваться. Когда я опускаю руку за номерком в карман, там уже лежит пачка сигарет, я понимаю, что со стола.

В дверях меня догоняет официантка — думаю, не заметила денег на столе, сейчас ор начнется, — и протягивает мне коробочку: ваши пирожные. О Господи, не избавиться, заказал на свою голову. Наталья улыбается, но в ее улыбке тоже есть что-то смущающее — видно, много съела сладкого.

Выходим из тепла на мороз. Я иду с этой дурацкой коробкой и не знаю, куда ее девать. Ноги мои еще не отмерзли до сих пор, а руки уже замерзают.

— Наталья, я выброшу их.

— Нельзя, Санечка.

— Но я замерзаю.

— Нельзя. Давай я понесу, — она смеется и забирает коробку у меня. Я моментально засовываю руки в карманы дубленки.

Мы идем по Ленинскому проспекту, который пуст и бел. Который сейчас час, думаю я. Смотрю на столб, и ужас охватывает меня: пять минут первого.

— Наталья, ты знаешь, который час?

— Нет, — отвечает она.

Я показываю ей на часы.

— Поздно, — говорит она.

— Тебя никто нигде не ждет? — спрашиваю я.

— О, я и забыла про него. Спасибо, Санечка.

Она ищет в сумке, остановившись, две копейки. Даже не волнуется, что она ему будет говорить. Волнуюсь я.

— Я ему позвоню сейчас, что-нибудь придумаю, хотя действительно поздно. Но я не хочу уходить от тебя, — говорит она.

Заходит в телефон-автомат. Я отхожу дальше от тел-

фонной будки. Отхожу максимально далеко, чтобы не слышать ни слова. Не могу, когда выдумывают. Хотя это Наталья. Я понимаю, что так надо и это ради меня. Я бреду мелким шагом, переваливаясь с пятки на носок, а ноги не согреваются.

Она нагоняет меня и говорит:

— Все в порядке, Саня. Его вообще нет дома, я забыла, что сегодня у его друга день рождения и мы должны были идти.

— Что ты скажешь потом, Наталья? — Я опять быстро закуриваю в ладонь на ветру.

— Не знаю. Сама не знаю...

— Я не хочу неприятностей для тебя, ты слишком...

— Знаю, Санечка, знаю. Спасибо. Не думай об этом, не переживай, тем более из-за меня, — она целует, остановив меня. Мы целуемся, не отрываясь, посреди Ленинского проспекта. А моя сигарета сгорает, не выкуренная. Оказывается, не так плохо: целоваться на улице. Впрочем, с ней мне нравится все, даже целоваться.

Мы трогаемся дальше. Полночная Москва, полночная Наталья, у меня прекрасное настроение, ее рука гладит мою в кармане, и только ноги — замерзают окончательно.

Не дойдя до Октябрьской площади, я беру такси, или убейте меня!

— Наталья, поздно уже очень.

— Да, Санечка, отвези меня домой.

— Фрунзенская, — говорю я, и мы целуемся, до умопомрачения, забыв про всех.

— Наталья, — шепчу я, — Наталья. Это было прекрасно, весь день, я благодарю тебя.

— Я не хочу уходить, Санечка, от тебя, — мы смотрим грустно друг на друга.

Я пожимаю плечами.

— Возьми пирожные, — вдруг говорю я.

— Убей меня, если я съем еще одно в ближайшие полгода.

— Жаль, — говорю я и целую ее волосы. Целую снова и снова, и не могу остановиться.

Я выхожу и открываю дверцу с ее стороны, подаю ей

руку, и она выходит. Свет фонаря освещает ее лицо, ласковые глаза смотрят на меня.

— До свидания, — говорю я.

— До-сви-да-ния-я, — по слогам произносит она.

— Иди, Наталья, очень поздно, я подожду.

Она не уходит. Целует меня. Проходят мгновения. На конец мне удается, чтобы она пошла, и очень нехотя она идет. Медленно удаляется от меня. Я боюсь за нее, ведь с ума сойти как поздно.

Я сажусь вперед. Машина уже едет по проспекту Мира.

— Чего ж ты отпустил, не захотела?

Я не понимаю и смотрю на шофера. В голове я про�� ручиваю заново целый день, и мне кажется, мне начинает казаться, что я счастлив.

— Чего? — не понимаю я.

— Отпустил почему, не захотела?

— Да, — отвечаю я, — совсем не захотела, только надо.

Он недоуменно смотрит на меня. Ничего не понимая. Кто о чём, каждый о своем.

— Слушай, шеф, — говорю я, — у тебя дети есть?

— Ага, двое.

— Тогда хватит.

— Чего? — не понимает он.

Я не отвечаю.

Проходит время. Или: мы прошли перед временем.

— Приехали. — Мы стоим около моего общежития.

— Там на заднем сиденье коробка у тебя — возьмешь детям, — говорю я, захлопывая дверь. Я не слышу, что он отвечает, так как уже иду.

После получаса охлажденного стояния вахтерша впускает меня, поминая при этом чью-то маму. Лифт не работает. И я на четвереньках взбираюсь на свой этаж, ноги у меня уже не идут.

Холод — не моя стихия.

Во сне мне ничего не снится. А странно. Чокнутый Гриша уже шумит с утра, идет заниматься в читалку. В воскресенье — и заниматься!

Читалка, думаю я, почему это слово как-то странноозвучит? Там мы первый раз поцеловались, вспоминаю я. Первый поцелуй. Наталья, что она сейчас делает, спит

или нет? Где, в какой комнате, какая у нее кровать, какие это простыни, счастливые, на них лежит ее тело, они обнимают его.

Я хочу увидеть ее, но сегодня нельзя. Наверно, она еще спит, должна спать, сказала, что будет долго спать, а потом читать, чтобы день скорей прошел.

Я поворачиваюсь на бок и пытаюсь уснуть, и вроде получается, но не больше чем на полчаса. Я смотрю в потолок. Хвоя, снег, она... Чтобы отвлечься от мыслей, вскакиваю с постели и бегу в умывалку, в туалет... возбуждение успокаивается. Я быстро умываюсь. Возвращаюсь в комнату и соображаю, что же у нас на завтрак. И тут вспоминаю, что ни хрена у нас на завтрак нет. Сейчас бы хоть пирожное, жалею я, но потом радуюсь за детей таксиста.

Комната пустая, Гриша ушел заниматься, а другой живущий со мной, тот все работает, и на курсах преподает, и уроки дает, и семинары ведет — математика на французском, — деньги зарабатывает, и куда ему столько. Вот бы мой папа на него порадовался.

Кушать все-таки хочется. Тратить деньги на себя не хочется, потом, когда буду с Натальей, не хватит на что-нибудь. И в воскресенье все закрыто, открыт только ресторан. Но ресторан не для меня, я — бедный студент. Слышишь ли ты меня, папа?!

И тут я вспоминаю про «гарем». Это четыре девочки, живущие на третьем этаже. Те, с которыми я раз надолбался без остатка из чайника, — еще до Натальи. Бабы хорошие и всегда зовут меня в гости.

Молниеносно одеваю свитер, вельветовые джинсы, вытертые на коленях (но не заметно), и спускаюсь на третий этаж. Стучу в дверь и открываю.

— Здорово, девоньки! — изрекаю я.

— Саша пришел, — наконец, — загулял, — давай заходи, — раздались их голоса.

— Как живете? — спрашиваю я.

— Лучше всех, — отвечают они. — Живем.

Их четыре. Таня — мне нравится больше всех, и, по моему, я ей тоже. Вторая — ее подруга, здоровая и очень добродушная Наташка, зовут ее Конь. Ее дядя — декан

моего факультета. Третья, Лена, — она случайно из моего города, а четвертая, вообще незаметная, Лариса. Командует всем и заправляет Таня; Конь — ее правая рука.

— Садись, чего стоишь, — говорит она.

Я сажусь и с тоской вижу, что завтрак у них кончился, а просить — я сам никогда не попрошу. Ну все, с голода я точно помру.

— Кушать хочешь? — спрашивает Таня.

— Не-а, — отвечаю я.

— Ты уже завтракал? — спрашивает, допытываясь, она.

— Да, — отвечаю я, — я без завтрака не выхожу.

— Чего ты его спрашиваешь, Татьяна, конечно, не завтракал. Вон, глаза голодные по полке и тарелкам рыщут, и ноздри втягиваются. Ты же на биологическом учишься, должна эти симптомы понимать, — и Наташка смеется.

— Ну, Конь, предательница, — говорю я.

— Ладно, не верещи, — говорит она. И они с Таней готовят мне завтрак: одна бутерброды, другая чай.

Масло! Колбаса! — думаю я. Ура! И такое богатство существует. Нет, я точно сойду с ума.

После того как я съедаю два завтрака, подчеркиваю два, голод мой успокаивается.

— Закурить бы, — говорит Наташка. У них в комнате нет сигарет.

— О, — вспоминаю я, — у меня есть хорошие сигареты. — Я иду наверх и приношу Натальины сигареты. Мы все курим, сидя вокруг стола.

— Саш, расскажи анекдот, — говорит Наташка. Мою треплю они готовы слушать с утра до вечера, особенно анекдоты. Наташка, так та даже пишет от счастья.

— Какой? — спрашиваю я.

— Подряд все, — говорят они.

Пожалуй, у меня хорошее настроение после завтрака, и меня хватит надолго. А Наталья не слышала никогда моих анекдотов, думаю я. Как я их изображаю в лицах.

Через час я выдохся, и они отпустили меня, в смысле анекдотов.

— Ты где это пропадал? — спрашивает Татьяна.

— Дела все, учеба, — отвечаю я.

— Да, дела, — говорит Коняга, — а что это за красивая женщина с длинными ресницами к тебе приходила! Дубленка на ней потрясающая, аж по полу волочится.

— Это... Наталья.

— Кто такая? — они сразу все сдвигаются вокруг меня.

— Это... это... сестра, — говорю я.

— Ну, ладно лапшу на уши вешать, — ржет Коняга, — у меня таких братьев знаешь сколько было?

Хотя я знаю: только два, она вообще скромная девчонка, ведет себя только так, развязно.

— Нет, серьезно, сестра; дальняя.

— То-то ты смотрел на нее взглядом близкого родственника, — говорит Наташка, и мы все ржем до упаду. Татьяна внимательно глядит на меня.

— Сегодня кино хорошее в «Космосе», — говорит одна из них.

— Какое? — спрашивает Татьяна.

— «Приключения Одиссея».

— Пойдешь с нами? — спрашивает она.

— Только Одиссей мне и не хватало, я же не Сирена.

Мы опять смеемся, они читали « античку ». Одеваемся и идем все в кино. Билеты покупаю я. Вот так всегда я экономлю деньги на очень важное. Вот так всегда.

Кино хорошее и цветное. Но в воскресенье билеты в два раза дороже.

После кино мы обедаем у них в комнате, а я покупаю бутылку вина. Курим мы американские сигареты, и они кончаются. Я грустно гляжу на красную пачку: Наталья, я хочу увидеть тебя. День тянется век, и нечем убить его. Я хочу увидеть тебя!

Я не выдерживаю и бегу к автомату вниз, в вестибюль.

Бросаю двушку, заранее приготовленную. Набираю номер и кладу руку на рычаг. Раздается первый гудок, и трубка сразу снимается.

— Алло, — говорит она.

Я молчу, с ума сойти, пока кончится воскресенье.

— Алло, — повторяет она, рука моя нажимает на рычаг. Я рад, что она дома, что сразу сняла трубку, значит, она сидит у телефона и думает, что я могу позвонить. Что она есть она, у меня все по-другому, кажется,

только с ней я и ожил, стал что-то чувствовать, быть радостным и радоваться всему.

Я поднимаюсь наверх и захожу к ним в комнату.

— Деуки! — говорю я. — Завтра переезжай от вас.

— Как? Куда?

— На Таганку. Снял квартиру, вернее, комнату, но как квартира. Через неделю новоселье, пить будем, праздновать.

— Покидаешь нас?

— Измучился, девоньки, я у вас в общежитии, я ведь до этого всегда квартиры снимал.

— Да, мы липовой крови, интеллигентская закваска, — подкалывает Коняга меня.

Я смеюсь:

— Нет, просто характер у меня тяжелый. Поэтому и изолирую себя от других людей, жизнь им облегчая.

— Мы будем скучать, — говорит Татьяна, как-то необычно, но я не обращаю внимания.

— Я к вам буду приезжать, вы же самые золотые у меня.

— И нас в гости приглашай, — говорит Коняга.

— Конечно. Давайте на следующее воскресенье, — сразу приглашаю я. Воскресенья у меня свободны...

— Смотри не передумай, — смеется она, предупреждая меня, — а то как появится женщина с длинными ресницами, сразу забудешь про друзей.

— Ни за что, — отвечаю я. — Пойдем, Наташ, проводишь меня.

Она выходит со мной.

— Она тебе правда понравилась?

— Очень красивая женщина.

— Ты знаешь, я только сейчас сообразил, что у вас одинаковые имена.

Я счастлив, что хоть с кем-то могу поговорить о Ней. Мне это необходимо как наркотик. Я не видел ее целый день, невыносимый, и кажется, что я начинаю задыхаться.

Мы еще долго стоим с Наташкой на лестнице и говорим. Наташка очень хорошая. Она понимает меня.

Утром надо вставать рано — военная кафедра. В девятьтра начало занятий. Пропускать их нельзя, за несколько

пропусков исключают из института. Дурацкая армия и сюда влезла.

Опять этот козел, татарин Бармалеев, будет класть меня в снег, и никуда от этого не денешься.

Я рысцой бегу из общежития в здание кафедры, холод поутру жуткий, никакие кутанья не помогают.

Нас строят в подвале для расчета.

— Тра-та-та, — рявкает дежурный капитан по кафедре мою фамилию.

— Не я, — отвечаю я.

— Что?! — спрашивает он.

— Шучу с утра, — говорю я, — заряжаю бойцов на дневной подвиг — строевая на плацу.

— Так, — говорит он, — два часа отработки после занятий по уставу, — уже заработал. Вечно на военной кафедре я не выдергиваю, встреваю. Но как же, останусь я ему еще после занятий.

— Есть, товарищ капитан! — отвечаю я.

Все ржут вокруг и смотрят на меня.

— Не ори, — говорит он.

— Я не ору, а отвечаю, как в армии.

— Ох, и договоришься же ты, — предупреждает он.

Проверка окончена, и я как угорелый несусь к телефону, чуть не сбивая этого капитана. Точно выговор в личное дело закатит.

Пальцы мои не попадают в номера, диск срывается. Я останавливаюсь и говорю сам себе « успокойся », и убеждаю себя, что не сошел с ума. Диск крутится нормально, и номер набирается. На половине первого гудка трубка снимается и говорят:

— Я слушаю тебя, Саня.

— Ой, Наталья, как ты узнала?!

— Кто же еще может звонить в девять утра? Я думала, что не дождусь. Уже двенадцать минут десятого, где твоя пунктуальность, Саня?!

— Наталья, я на поверке был, у меня же военная кафедра, ты знаешь.

— Я тебе сочувствую. Искренне, — смеется она.

— Ты можешь позвонить своему папе, чтобы он перезвонил сюда и скомандовал нашим ... полковникам.

— Да, Санечка, только завтра. Они мне будут звонить, я же не могу им звонить туда.

— Ты убила меня. Но хотя бы за мои моральные и физические муки будет мне вознаграждение увидеть тебя сегодня в шесть часов вечера у театра на Таганке?

— Два вознаграждения: и сегодня, и завтра, и все дни... Только потерпи, Саня, не ругайся с ними. Они такие тупы... Глупые.

— Ты опоздала, Наталья.

— Что? Уже?

— Ага. Получил два часа дополнительного чтения устава. Но это что собачка ножку подняла, капитан только.

— Ну, Саня, какой ты недисциплинированный мальчик.

— Так из-за его дурацкого смотра я тебе позже звоню.

— За это он заслуживает трибунала. Передай ему. А почему мы встречаемся у театра, мы на спектакль идем?

— Нет, у меня сюрприз для тебя...

— Какой, Саня?

— Вечером узнаешь.

— Я не вытерплю до вечера! Ну хорошо, я буду ждать, кто-то звонит в дверь, иди на свою службу, до шести.

— На Таганке, — говорю я.

Она вешает трубку. Впервые звучит между нами это слово: Таганка.

В девять тридцать нас выводят на плац, переодетых в какие-то драные фуфайки, не закрывающие ничего и открывающие куски голого тела. Холод ужасный, снег лежит утрамбованный, и отовсюду — дует. Я представляю Наталью, в теплой квартире, с часем с утра, ее колени в распахнутом халате, и думаю, слава Богу, что ей не холодно и она не знает, что это такое: строевая подготовка на плацу.

— Товалиси студенты, — начинает с татарским акцентом майор Бармалеев, «р» он не выговаривает. — Возьмите ваша автомата, — дальше я не слушаю. Стою в строю в холодных сапогах с гвоздями, слава Богу, вторые шерстянные носки надел. — Вашу левую руку положите на автомата приклада... — Неужели будет три часа, четыре

часа, и все пойдут домой и все окончится? Ноги вмерзают, как ненормальные, я к московской зиме не привык. Когда же обед, а-а, занятия только начались.

Что этот майор там говорит, козел? И кому? О, это, оказывается, мне!

— Товалиси такой-то, — он называет меня. — Почему вы не делаете ваша автомата, когда я командую?

Вот козлятина тупая. По-русски говорить не научился, а туда же лезет: командовать.

— Я делаю, делаю, — отвечаю я, он отстает на время.

Руки даже в чужих теплых перчатках замерзают, ну и холода. Я начинаю топтаться на месте в строю, а пальцы поджимаю к ладони, внутри перчатки.

— Товалиси такой-то, — он опять называет меня, — вы должны стоять смило, даже если и холода.

— Ага, — говорю я и думаю про себя: еще раз — и получит по башке автоматом. Тут холодно, голодно, к тому же ноги на гвоздях, а он меня испытывает на терпение. Смотрю на ребят по соседству, они тоже все замерзли, а он не дает двинуться, заставляет выполнять команды с автоматом на месте. Руки мои, особенно пальцы, совсем не слушаются, и я опаздываю все делать, не успеваю. Каждый клянет его про себя и возится с автоматом.

— А теперь, — говорит он, — плиготовиться к стельбе лежа.

А! — думаю я. Кретин, в снег, лежа!

Он кладет нас всех по команде на холодный плац. Мой живот неприятно касается снега из-за короткой телогрейки. Все начинают упражняться.

— Снимите ваши пелчатка, — говорит он.

Я ничего не понимаю. Оказывается, Боб, он учится в другой группе, забыл перчатки, он их и не имел, по-моему, никогда, и еще двое без них. И умный татарский майор решил, что по русскому уставу форма у всех должна быть одинаковая, и раз нет перчаток у двоих, то все должны снять перчатки и с голыми руками лежать на снегу.

Тут в перчатках у меня рук нет, а без...

— Пелчатки снять! — командует он. Ну, дурак, Господи, кто ж тебя родил такого! Кто ж родил такого дурака,

да еще в мирное время военным сделал. И они снимают перчатки, начинают, лежа на снегу.

Я лежу и не смотрю никуда.

— Товалися такой-то, — он называет меня, — снимите ваши пелчатка, немедленно.

— Для чего? — спрашиваю я, не глядя на него, чтобы не сорваться.

— Фолма должна быть одинаковая.

— У меня руки мерзнут, пальцами двигать не могу.

— Не знаю. Снимите ваши пелчатка. — Он останавливается и смотрит на меня.

Я поднимаю голову от снега.

— А пошел ты на х... — говорю я.

И жду его реакции. Он обалдевает, его маленькие глазки расширяются, он поворачивается и уходит в сторону от меня, к другим, лежащим на равных промежутках друг от друга. В самом снегу.

Через полчаса занятие кончается. Я быстро иду в подвал и физически засовываю ноги в батарею, а руки — под холодную ледяную воду. Иглами колет в ладонях, десять минут на них не действует вода, потом постепенно отходят. Только красные до ужаса, не переношу холода. Не успеваю я сменить сапоги и сбросить вторые шерстяные носки, которые сегодня же выброшу после этих мерзких сапог, как прибегает дежурный этот капитан, что на разводе дал мне два часа устава, и срочно тащит к зав. кафедрой. Есть у нас такой м... полковник Кокоебенко, который любит начинать свои речи примерно так: «Что такое наша мать? Мать — это понятие емкое», — бесподобно, не правда ли?

Захожу к нему в кабинет, не ожидая ничего хорошего. Вообще от тех, кто при Сталине выжил и не пострадал, я никогда не ожидаю ничего хорошего.

— Товарищ полковник, по вашему распоряжению явился, — говорю я.

— Ты это где находишься? — тыкает он мне, хотя по уставу не положено.

— На военной кафедре педагогического института.

— Это не кафедра, это армия, забудь свой институт.

— Забыл, — сразу соглашаюсь я, люблю его слушать, мне забавно. Главное, глубина какая!

— Что забыл, — орет он, — я тебе напомню!

— Забыл, что это институт, — говорю я, — вы же сами сказали.

— А! — говорит он и минуту раздумывает. Это для него трудно.

— А ты знаешь, что такое армия?! Армия — это понятие емкое... — о, раз дошел до емкостей, скоро будут примеры, «как я воевал». — В армии надо подчиняться, беспрекословно, обязан слушаться. Ты знаешь, когда я воевал, командир скажет «под лед», так под лед, на дзот грудью, так на дзот, а ты на снегу без перчаток полежать не можешь. Распустился, избаловала вас Советская власть.

— Ага, — соглашаюсь я. — Но ведь то какие командиры были тогда в войну, крестьянские, а сейчас, товарищ полковник, командующий состав Академии позаканчивал, понимает, где разум граничит с сознанием, сознание с разумом, а не просто солдатчина.

Он приодернулся, выпрямился.

— Вот вы, например, товарищ полковник...

— Ну ладно, ты демагогию не разводи, — не дает он, на всякий случай, мне продолжить. — Что вас там на филфаке язык чесать научили, я знаю. Вас там больше ничему не учат. В институтах они сидят! В армию вас гнать надо. И нам еще не дают вам показать жестко, что такое армия.

— Я понимаю, но мы ведь в институт пришли не для того, чтобы служить в армии, а чтобы учиться.

— Не рассуждать! Ты мне лучше скажи, куда ты старшего офицера на плацу послал?

— Никуда.

— Как это никуда?! Ты его на ху... — он успевает и обрывается, — ты туда послал. А? Да, тебя бы в армии такие штуки под трибунал отдали. А ты тут...

— Но я никого никуда не посыпал, честно. И что это такое «ху»... — я даже не знаю, — добавляю я.

— Как не знаешь? — он смотрит обалдело на меня.

— Не знаю я. Объясните мне, пожалуйста. Вы, как ко-
мандир, должны объяснить бойцу все непонятное.

— Ты что, серьезно не знаешь? — он вопросительно
смотрит на меня.

Я недоуменно гляжу на него.

— Это, — начинает он, — ну, это как мужской... в об-
щем, ругательство.

И тут я не выдерживаю и улыбаюсь. Но вы бы видели
его рожу!

— Строгий выговор, — орет он, — с занесением в
личное дело!

— Есть, товарищ полковник, — еще громче ору я. —
Разрешите идти?

— Убирайся, — рявкает он.

Я выхожу радостный, хоть отработку после четырех не
дал, а то б от него я не отвертесь.

Подходит долгожданный обед. Я вталкиваю в себя горячую пищу в столовой недалеко от военной кафедры и думаю: чего они все от меня хотят, я же никого не трогаю.

В четыре я как угорелый проношусь мимо дежурного капитана с кафедры, он даже не успевает понять, что это я. Ко всем прочим несчастьям — меня подстригли после обеда. Проклятый полковник, начальник огневого цикла, эсэсовец Карайкоза, каждый раз гоняет меня стричься, то ему «баки» у меня кажутся длинными (ниже середины мочки уха), то затылок обросшим. Этот гад дает тридцать минут, и доложить ему потом о выполнении задания, то есть голову показать. А стригут наши цирюльники за сорок копеек и восемь минут, чтоб им руки повыламывало.

Добегаю до общежития, запыхавшийся, времени мало. К зеркалу даже боюсь подойти, взглянуть на себя, обкорнали как недоносока. Сбросив дубленку, сбегаю вниз к автомату и набираю номер.

— Борь, — быстро говорю я, — она дома?

— Кто? — не понимает он.

— Хозяйка. Я переезжаю сейчас.

— Нет, ее нет.

— О, проклятье!

— Но ключ она мне дала...

— Сразу сказать не мог?

— Может, ты поздороваешься для начала, Саша?

— Здравствуй, Боря, — говорю я.

— Здравствуй, Саша.

— Борь, меня подстригли так, что боюсь глядеть на се-

бя.

— Опять на военной кафедре?

— Ага.

— Это ничего, когда я служил после института...

О Господи, и этот служил, еще один Колоебенко.

— Борь, — перебиваю я, — когда ты дома будешь?

— Часов в шесть.

— Постарайся раньше, хотя бы в полшестого.

— Не могу. Мне сорок минут ехать на транспорте.

— Хорошо, возьми такси, я тебе отдам деньги.

— Ты богатый у нас стал, это приятно. Только кушать потом не проси, кормить не буду.

Родной брат называется!

— Ладно. Итак, в полшестого.

— Куда ты несешься?

— Секрет, — говорю я. — Ну, пока, пока, пока!

— О, Наталья! — слышу его восклицанье, когда вешаю трубку.

Я несусь наверх. Вещи свои я бросаю в пять минут, у меня их немного, набирается одна сумка, — прекрасная жизнь. Зато вся стена обкреплена вырезками и снимками: гоночных машин, женщин и оригинальных ситуаций, всё в цвете. Я начинаю осторожно снимать, открепляя от стены. И складываю это на стол по размерам, чтоб не помялось. Наконец через час кропотливая работа закончена. Я смотрю на часы на тумбочке: четверть шестого. Вот это да! Опаздываю первый раз в жизни. Быстро пишу коллегам записку, что буду заезжать раз в неделю, чтоб не ляпнули коменданту, что я постоянно не живу здесь, а «то к вам же», объясняю, «кого-нибудь и засунут». (А я прописку потеряю.)

Хватаю сумку, кашне, дубленку и несусь вниз. Такси хоть сразу ловится, у гостиницы, где мы были с Натальей в ресторане.

— Быстро, — говорю я, — на Таганку.

— За быстро надо рубчик сверху, — говорит таксист, ухмыляясь.

Если вы хотите узнать, кто самый наглый народ у нас — это московские таксисты. Наглей еще Господь Бог не придумал.

— Хорошо, — говорю я, — поезжай только!

Он несется по скользким улицам и вправду лихо. Когда я нахожу дом на Таганской (по цвету, скорее, и форме, а не по номеру) и вбегаю к брату, проломив дверь, уже остается пятнадцать минут — до свидания.

— Б., — говорю я, запыхавшись, — я побежал, давай.

— Чего давай?

— Ключ.

— Сядь, — говорит он, — успеешь.

— Ну что? — я сажусь.

— Просто брата давно не видел, — говорит он, — посмотреть хотца.

— Смотреть не на что. Подстригли так, что шапку снимать не хочется.

— Ну, мне-то снимешь?

Я показываю, и он начинает кататься со смеху по кровати, на которой сидел. Да, думаю, совсем дело швах.

— Ключ на столе, — говорит Б.

Я беру.

— Ты сейчас вернешься?

— Да.

— Зайди ко мне. И не забудь деньги хозяйке отдать завтра, сегодня она у дочки.

— Хорошо. — Я выбегаю из двери и бегу по коридору. Форсирую расстояние перебежками, как нас учили на военной кафедре, разве что не переползаю отдельные участки. Опыт у меня есть. До метро всего пять минут. А театр рядом с метро.

И вот такой оболваненный я появляюсь перед ней у театра на Таганке. Шапку пока снимать не надо. А когда придем домой — о ужас!

— Нет лишнего билетика?

— Чего? — не понимаю я.

— Билета на сегодня.

Ох, это же популярный театр, а я и забыл совсем. Вечно сюда всем билета не хватает. (Напечатали бы на всех...)

— Нет, к сожалению, нету.

— Спасибо.

Я всматриваюсь в толпу, выходящую из метро, прищурив глаза. Я определяю ее по платку или дубленке. Лиц я все равно не вижу, расплываются, а очки при ней — не одену никогда. Проходит минут десять уже, пятнадцать, ее все нет. А толпа из метро растет, кончилась работа, пресловутый «час пик». Где же она?

Спрашиваю время у стреляющих билетики, уже человек пять, и все спрашивали у меня: неужели я похож на того, кто имеет... Говорят — шесть двадцать. Я опять замерзаю.

С визгом останавливается машина, и из нее быстро выходит молодая женщина, в платке, похожем на Наталину. Очень неплоха. Она подходит ко мне. Это же Наталья!..

— Опять ты меня не узнал, Санечка!

Я гордо молчу. Она быстро наклоняется и целует мою щеку. Как будто так было всегда. И смотрит на меня.

— Саня, не обижайся. Я из дома без пяти шесть только выскочила. Свекровь приехала.

— Что такое свекровь? — я не знаю родственных связей.

— Его мама. Устраивать нашу супружескую жизнь, только ее не хватало. Сейчас сидят меня обсуждают. Говорят, переменилась.

А я думал, она устроена.

— Как же ты ушла? — Я восхищен, и что за дурацкая привычка, обижаться.

— Придумала с подругой и занятиями что-то. Это не интересно.

— Да? — киваю я и смотрю на нее во все глаза.

Нас толкают вокруг, начался съезд театральной публики. Спрашивают, нет ли лишнего билетика. Нет, спокойно отвечает она. Я ничего не слышу и никого не вижу, только ее лицо.

— Ну что, пойдем гулять, Саня?

— Да, как обычно, на набережную.

Я засовываю руки в карманы, а она снимает варежку и

кладет свою руку, сама, в мой карман. Я сжимаю ее ладонь.

— Хочешь яблок? — спрашиваю я.

— Очень, я с утра ничего не ела.

— Наталья...

— Саня, не успела.

— Идем в гастроном.

— Нет, не хочу. Хочу только яблок.

— Идем! — Я сжимаю ее руку, и ей уже не вырваться. Мы заходим в гастроном. Я покупаю докторскую колбасу, прошу нарезать, и две городские мягкие свежие булки. Выходим из гастронома. Я делаю два громадных бутерброда и вручаю ей. Она распоряжается, отдавая один мне. Подхожу к ларьку и беру пять огромных красных яблок, венгерских, «джонатан» называются.

— Можно начинать, Наталья. — Мы спускаемся по снежному тротуару к набережной.

— Саня, неудобно на улице.

— Наглевать на всех. Кушать хочется, надо есть. Начинай, я то я умру с голода.

Она откусывает и смотрит на меня.

— Все в порядке? — спрашиваю я.

Она кивает и улыбается. Я вонзаюсь так, что у булки, по-моему, трещат бока. Она с восхищением смотрит на меня, и — как третья большой булки исчезает в мой рот.

— Ой, Саня! — только и восклицает она. — Какой рот...

— Угу, — урчу я и, прожевав, говорю: — Наталья, положи пока яблоки в сумку, руки мерзнут.

У нее черная сумка из жатой кожи, которая мне очень нравится. В боковых кармашках она обязательно приносит мне сигареты, от которых мне иногда удается отказаться, но никогда не до конца: она все равно заставляет брать. Она раскрывает ее сразу и запихивает туда яблоки. Сумку жалко, она такая хрупкая.

— Саня, ты, по-моему, замерзаешь. Идем в подъезд, я тебя согрею. — Я никогда ей не возражаю, прямо сам на себя не похож. Мы стоим и греемся у батареи внутри какого-то подъезда. Исходя из чего я подбираю подъезд: без запаха. — Теперь хоть доешь твой вкусный бутерброд, —

говорит она, кусая булку. Я вижу, он ей правда нравится. — Никогда не ела на улице, — она улыбается.

— Ты много чего еще не делала, — двусмысленно говорю я.

Она сияет:

— Но с тобой научусь, ты хочешь сказать?

— Ага.

Она смеется.

Мы съедаем все без остатка и вдруг — целуемся. Это совсем неожиданно, я забыл, что мне можно прикасаться к этой женщине. У меня никак не родится к ней отношение — как к женщине, которую хочется. То есть как к другим. Когда-то было... То есть я не могу объяснить. Она мне нравится как женщина. Она бесподобна. Но раз меня не тянет в постель, значит, это что-то большее, очень редкое для меня. Я вообще не думаю об этом, даже не могу представить себе: она — и моя. Поэтому я сам воздвигнул какую-то канву ореольной черты вокруг нее и не переступаю.

Я смотрю в ее глаза, они близко, губы почти не отрываются. Неполная темнота подъезда закрывает тенью ее глаза. Наверху хлопает дверь. Мы выходим на улицу.

— Бедный Саня, — говорит она, — ты совсем замерзешь от московского холода, да? Ты же тепличный мальчик, вырос под солнцем.

— Да, — улыбаюсь я, а сам потихоньку заворачиваю ее на ту улицу, где дом.

— Квартира нужна, — говорит она, — как никогда... А то ты совсем простудишься и отморозишь себе все. Потом наследства не будет, — она смеется.

— Наталья, сплюнь три раза.

Она плюет. Действительно.

— Все подруги, как назло, никуда не уезжают, не сезон, так бы я могла ключи взять...

Я и не думаю о другом, ключи взять — значит, от холода.

— Бедный Саня, — она на ходу поворачивается и касается меня. Долго смотрит, повернувшись (я берегу ее от прохожих, она их просто не замечает), и говорит: — Мне нравится твоя щека...

Мне нравится, что ей нравится. Но я всегда по-

идиотски реагирую на комплименты. Поэтому отвечать по-идиотски мне не хочется.

— Куда мы идем, Саня?

— Никуда.

— Тебе надо бы согреться, но не в подъезде.

Кто-то оборачивается ей вслед.

— Пойдем в любой дом и постучим в квартиру: пускай впустят, дадут согреться. Люди должны быть добрыми.

— Саня, это неудобно, — говорит она, улыбаясь, не веря.

— Да чего там неудобно. Вон смотри, дом, пошли.

Она идет, с интересом глядя на меня. Осторожно сходит по ступенькам, сапоги на каблуках, и я завожу ее в полутемный коридор. Дверь за нами на пружине закрывается.

— Ты что, серьезно, Саня? — спрашивает она, следя за мной.

— Как никогда. Какая тебе квартира нравится?

— Не знаю.

— Я всегда был двоенщик, давай номер два.

Мы стоим в конце коридора.

— Давай, — шутит она.

Я беру и стучу. Она даже обмирает от неожиданности.

— Саня!..

— Никто не отвечает. А я хочу туда. Подожди, у меня ключи есть, давай попробуем, может, подойдут.

— Саня, ты что, нас посадят, — она уже улыбается, радостная, что там никого нет.

Я достаю ключи. Пробую один, второй, не подходят. Мимо проходит вышедшая соседка. Наталья отворачивается к стенке и не дышит. Та проходит на кухню в конце коридора и говорит: «Добрый вечер».

— Ага, — отвечаю я. Наталья приходит в себя и выдыхает задержанный воздух.

— Саня, ты ненормальный, — шепчет она, — пойдем отсюда быстрее, я не хочу носить тебе передачи...

Третий ключ подходит.

— Тебя тоже посадят, не волнуйся, за соучастие, — говорю я, успокаивая.

Дверь открывается, и у нее широко раскрываются гла-

за. Я беру ее за руку, остолбеневшую, и завожу в комнату. Дверь захлопывается. Сплошная темнота, слышно только ее дыхание. Ощущу нажимаю где-то на свет, скорее угадывая, и загорается настольная лампа.

Комната освещается. Она как келья. Потолки — свободом, и негладкие, а разводами. Узка, длинна, таинственна, тяжелые ставни на двух старинных окнах.

Слева большая кровать. Круглый стол, на котором лампа, прижат к стене, между ним и кроватью стул, у стола — еще один. Дальше тумбочка, напротив старый шкаф, за ним в углу оттоманка. Она потом будет скрипеть как рехнутая. Справа, вдоль стены, у входа, детская кроватка, в нее все будет бросаться...

Я замираю: понравится ей или нет.

— Это и есть твой сюрприз? — догадывается она.

— Да, — сдержанно отвечаю я.

Она оглядывается еще раз.

— Саня, какая чудесная комната! Просто восемнадцатый век, таинственно и необычно. Как готические кельи. — Она целует меня, обняв за шею.

— Раздевайся, чувствуя себя как дома.

— Хорошо, Санечка, я буду.

Она кладет сумку на стол, где лампа. Я снимаю с нее верхнее одеяние, кашне, потом свое и бросаю все в детскую кроватку. Большая кровать не застелена, только одеялом прикрыта.

Мы садимся на кушетку, повернувшись друг к другу. Впервые мы полностью изолированы от внешнего мира и остались одни.

Сердце у меня прыгает непонятно куда. В горле сухо. Хочу пойти наполнить графин водой, он стоит на тумбочке, но кушетка будет скрипеть. Остаюсь на месте.

Наталья смотрит на меня ожидающе. Я не знаю, что говорить, как начать, совсем непривычно оставаться вдвоем.

— Наталья... можно я тебя поцелую? — говорю я.

— Конечно, я этого жду с шести вечера...

Я раскрываю губы, и мы целуемся. У меня плывет все в голове от проходящего холода, наступающего тепла, от ее губ и рук, которые я целую вперемешку с ее щекой и во-

лосами, рассыпавшимися по ее настойчивому лицу. У нее прекрасные волосы, совсем как расчесанный лен, мягкие и, мне кажется, сладкие. Она отвечает все сильней и сильней.

Я стараюсь делать все, не двигаясь, даже не обнимая ее, иначе кушетка скрипит как рехнутая, и мне кажется, весь дом пронзается этим скрипом.

— Санечка, — шепчет она, мои губы уткнуты в ее шею. — Давай пересядем туда...

— Там не застелено, — говорю я и страшно боюсь этого. У меня ничего не получится.

— Застели...

— Все у брата, я еще перед каникулами все простыни у него оставил.

— Забери...

— Да... Наталья. Но...

— Что? — Она целует меня в висок, и ее губы сползают по моей щеке к шее.

— Я боюсь, Наталья...

— Ты что, Санечка? Отчего? Ты такой смелый мальчик...

— Не знаю. Я не ожидал этого. Сегодня...

— Не бойся, мой хороший, — она успокаивает меня.

А у меня внутри все оцепенело — перед первым разом. И надо же, чтобы все так получалось.

— Наталья, мне неудобно идти у него брать все, я не хочу, чтобы он знал.

— Хорошо, Санечка, — соглашается она. — Я тебе сигареты принесла. Хочешь сейчас?

— Да, — облегченно, с радостью внутри, вздыхаю я.

Она встает, достает из сумки мои любимые сигареты, серебристую палочку — зажигалку и подходит ко мне. Я беру в рот сигарету, она подносит мне зажженную серебряную палочку.

— Спасибо, Наталья.

— Не за что, Саня, — она кладет все на стол. Потом находит пепельницу на тумбочке и подает ее мне. Как она быстро освоилась.

Достает из сумки белый батистовый платок, очень тонкий, кладет его на стол и вынимает яблоки.

— Можно я съем яблоко?

— Конечно, Наталья. Из двери направо — вода, а в шкафу должна быть тарелка.

Она кладет все пять в найденную тарелку и уходит, притворив за собой дверь.

Я сижу какой-то передерганный. Что со мной творится? Это же моя Наталья просит меня. И я как не-нормальный иду говорю «не могу». Это я отвечаю ей. Точно сошел с ума.

Но не могу же я насиливать себя, что-то сдерживает внутри. Я сильно затягиваюсь два раза.

Стук в дверь, очень тихий, прерывает мои размышления. Я встаю и открываю дверь.

— Санечка, я захлопнула, — говорит она.

— Это ничего, Наталья.

Она садится на стул, ставя тарелку на стол. Берет на гад яблоко и некусает. Наталья смотрит на меня:

— А почему ты не снимаешь шапку, Саня?

— Знаешь, Наталья... — я мнусь.

— Тебя постригли, — смеется она. Снимает быстро шапку, я не успеваю. — Ой, какой ты забавный, Саня, — она целует меня в голову.

— Я сейчас, — вскакиваю я и выхожу из комнаты.

Захожу к нему.

— Как дела? Уже поцеловал? Рыцарь печального обра-за!

— Б., твоей развратной душе не понять высокие чувства.

— Конечно, — говорит он, — высокие — до первого раза.

Тыфу ты, как назло. Теперь точно не возьму. Вдруг меня осеняет. Он лежит на кровати. Как всегда.

— Б., отвернись к стенке, у меня сюрприз для тебя.

— Вкусное что-нибудь?

— Да. И пока я не сосчитаю до трех, не поворачивайся.

— Ладно. — Он поворачивается к стене. Ему тоскливо, поэтому он и соглашается. Он любит игры.

Я говорю «раз» и на цыпочках ступаю в угол, подхватывая скатанный баул с моими постельными принадлеж-
ностями.

ностями. Хорошо хоть он не скрипит. Я говорю «два», возвращаясь к двери обратно.

— Ну, чего так долго! — он делает движение, будто поворачивается.

Я говорю «три», и дверь захлопывается. Фу-у, вздыхаю я в коридоре, вроде получилось. Но как теперь внести перед Натальей, а тем более стелить. Я умру со стыда. Она для меня совсем другая...

Я стучу, она тихо спрашивает «кто?», я говорю «я». Дверь открывается.

— Наталья, договоримся, стучать будем коротко два раза подряд. Это наш стук будет.

— Условный, — улыбается она.

Потом видит мою руку и в ней...

— Саня... — она беззвучно целует меня.

Я бросаю это в детскую кровать.

Вот же незадача: как это постелить? Она, будто специально, смотрит пристально на меня.

— Наталья, отвернись, пожалуйста... к окну.

— Я постелью, Санечка. Сама...

Ох, вздыхаю я, слава Богу: я б со стыда сгорел делать это перед ней. Не вяжется все это у меня с ней, для меня она больше, чем женщина. С ней была б неприлична эта простота...

Она беззвучно стелет. Иду к заставленному окну и отворачиваюсь я.

— Все, Саня.

Я поворачиваюсь и смотрю, как она улыбается. Она смотрит очень ласково, совсем ласково на меня. Так она смотрит в первый раз.

Свет выключается сам, я не понимаю уже как. Я сажусь в темноте и сижу. А что делать? Она опускается мне на колени, но не сильно, почти не сидит.

— Саня, — на ухо шепчет она, — ты не хочешь?

— Очень хочу, я настолько хочу, что даже не мечтал...

Она проводит по моим волосам лицом, потом шепотом спрашивает:

— Ты хочешь, чтобы я разделась сама?..

— Да, я не смогу...

Она встает. Отходит к кровати и на что-то раздевается.

Кажется, стул. Я боюсь, что она будет громко раздеваться, но она делает все бесшумно, так, что я даже не догадываюсь, где она. Как снять с себя одежду, я не представляю, мне кажется, что эти звуки молний на расстегиваемых сапогах, стаскиваемые брюки, хрустящая рубашка — ужасны. По-моему, ей тоже неудобно, что я какой-то ненормальный. А говорил-то, трепался, прямо донжуан рода человеческого, и всего женского.

Как я раздеваюсь и оказываюсь сидящим на кровати, непонятно. Она касается моего плеча и опускает его рядом с собой. Я не дышу, боясь двинуться. Господи, да что это со мной! Ведь она же женщина. О возбуждении тут и мысли быть не может. У меня такое впечатление, что я вообще никогда не возбуждался, Все куда-то убралось в глубь меня и не думает появляться. Как это я когда-то мог думать о ее губах. Да я и прикоснуться к ней сейчас не посмею.

— Саня, — она подвигается, коснувшись меня.

Она шепчет:

— Что с тобой? Куда девалась твоя храбрость?..

О Господи, думаю я, ну куда же еще больше надо! Я отрываю руку от себя, от своего туловища. Она была вытянута... вдоль, по шву.

На ней только тонкая комбинация. Я провожу рукой — по голому телу. От этого тела у меня пробегают мурашки и начинают бегать постоянно. Я еще не касался такого. Она, по-моему, сама не понимает, что она волшебная, а тело у нее — богини.

Она глубоко вздыхает, наши губы сливаются, едва не кусая. Ее грудь приводит меня в чувство, и страх отступает, уступая инстинкту. Появляется какое-то желание, и я возбуждаюсь. Не до конца, но мне не боязно. Она сдергивает с себя комбинацию, и я впиваюсь поцелуем в ее грудь, грудь... Она стонет тихонько, и я не понимаю отчего, и боюсь, только бы не от боли, и ослабляю свои губы на ее соске.

— Саня... я хочу тебя...

Ее ноги раздвигаются. Мос колено во что-то давит, упирается... Она вскрикивает, не то это всхлип, не то вздох, — не понимаю я, входя в нее.

— Мой милый, — шепчет бесслышно она, — а... да...
Она становится моей, постепенно, убыстряясь, вдруг ее тело стало сжиматься и разжиматься, — как без сознания, она забормотала:

— Только не в меня... мне нельзя.

За секунду до этого я успеваю выйти из нее. И выхожу...

Она крепко прижимается ко мне. Она обнимает меня, сдерживая мое бьющееся тело. Что-то течет по ногам ее, выше... Она стала моей.

Я отбрасываю голову на подушку сбоку, она удерживает меня.

— Са... ша, — по слогам шепчет она, и мне непривычно такое имя, от нее.

— Наталья, тебе неприятно все это, — я прижимаю колено к ее ноге.

— Что ты, Санечка, ты прости меня...

— Я просто не люблю то, что из...

— Глупыш, — шепчет она. Простынею вытирает все мокрое, мое тело.

— Ты прекрасна, — не удерживаюсь я.

— Это тебе кажется, — говорит она. — Саня... — и целует меня.

Я шепчу ей на ухо такое, что у нее прекрасно, что она вспыхивает, горящим лицом касаясь моего тела.

— Ох, Саня. — Она снова долго целует меня. — Мой хороший, мне надо выйти...

— Куда? — спрашиваю я.

— ...

Э-э, совсем одурел, как только что родился.

— Да, конечно. Только нет... ванны.

— Я что-нибудь придумаю.

Она одевается. Наверно, не полностью, думаю я, берет графин и уходит.

Я лежу опустошенный на спине и думаю, почему у меня всегда так все скомкано в первый раз. Потом думаю, как она обойдется без ванны, несчастная. Будь они счастливы, эти коммунальные условия.

Она скоро возвращается. Вдруг что-то мокрое и холодное касается меня. Это полотенце, она намочила.

— Саня, я сожалею, но вода холодная.

Я быстро вытираюсь и отбрасываю полотенце в детскую кроватку: все туда.

— Тебе холодно, да, Наталья?

— Очень.

— Иди сюда, я тебя согрею.

Через несколько мгновений она опускается рядом со мной уже абсолютно голая. Потом ее тело ложится на мое. Мы дышим друг в друга и сильно обнимаемся. Нам становится горячо, жарко, потом раскаленно... Я растворяюсь с ней опять. Немного смелей и уверенней, не сдерживаясь в телодвижениях.

После второго раза я лежу и не чувствую себя. Ее рука гладит меня везде. Я совсем выдохнувшийся, что со мной сегодня, не понимаю.

Она целует мою щеку, скулу, нежно водя губами.

— Наталья... ты моя? — с удивлением осознаю я.

— Да, только твоя...

— Ты моя, — шепчу я, — ты моя.

— Я твоя, Санечка, только твоя...

Я закрываю глаза и не верю... Я просыпаюсь оттого, что она мне шепчет в ухо:

— Саня, ты придавил меня, мне некуда деться.

Я ничего не понимаю, раскрываю глаза и в темноте вижу, что она прижата к стенке и почти примята мною. Стенка холодная, я завожу руку за ее спину, а она не укрыта. Вся махровая простыня стянута на меня.

— Наталья, — я быстро дергаю ее к себе, в середину кровати, и закутываю. — Ты же была раскрыта? Ты что, Наталья, там же холод!

— Я не хотела будить тебя, Санечка, — шепчет она.

— Как будить? — не понимаю я.

— Ты так сладко спал и губами касался плеча. Я не хотела шевелиться.

— Сколько же я проспал?

— Около часа.

— Не может быть.

Вдруг где-то тикают часы по радио и играют гимн.

— Наталья, ты знаешь...

— Да, — говорит она, — я их уже час слушаю, они каждые четверть часа передают время.

— Наталья, — я целую ее в губы, долго, бесконечно... — Тебе пора...

— Не хочу, я хочу оставаться...

— Первый час, они ждут тебя... да?

— Я не хочу уходить от...

— Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности.

Я прошу ее еще, и она поднимается. Я щелкаю кнопку, не знаю, как ее назвать, и свет зажигается. Я отворачиваюсь к стенке, отпуская патрон, прикрепленный к спинке кровати. Слышу, как она берет графин, полотенце и не уходит.

— Саня, отвернись, пожалуйста, — тихо говорит она, — там холод ужасный.

— Я же отвернулся, — говорю я и убираю голову под подушку, чтобы не смущать ее, чтобы она не боялась звука.

Через какое-то время она касается моего плеча и говорит «все», но просит не поворачиваться. Она одевается. Не глядя, через плечо я подаю ей комбинацию, лежащую в постели.

— А я и забыла совсем, — говорит она.

Полумрак, кажется, она опустила козырек лампы вниз.

По логике, думаю я, она должна одеваться спиной ко мне, лицом к ставням. Я чуть отклоняюсь и вижу ее спину, прищуриваю глаза, но она уже застегнула. Я быстро хватаю, потянувшись, шапку из детской кроватки и нахлобучиваю на себя.

— Я готова, Саня, — говорит она и добавляет, — как ты просил.

Поднимает абажур у лампочки, комната больше освещается, она смотрит на меня и вдруг начинает смеяться. Я лежу голый в ондатровой шапке. Она смеется все громче и громче, глядя на меня.

— Какой ты забавный, Саня! — Она падает в одежду на постель, смеясь, и целует меня.

Я отрываюсь.

— Наталья, я провожу тебя.

— Не надо, я сама. Холод на улице, куда ты пойдешь.

— Да, только в полпервого ночи ты еще не ходила одна. Отвернись, пожалуйста.

Она отворачивается, я одеваюсь быстро.

— Нравится яблоко?

— Да. Вкусная греха называется, — смеется она, и я смотрю на ее безгрешное лицо.

Нет, она не грехна.

Я подаю ей дубленку. Закуриваю, выходя из дома. Снег и ветер холодной улицы обхватывают нас, и мы прижимаемся друг к другу. Потом останавливаемся и долго целуемся, одетые; моя сигарета прогорает. Мы не можем оторваться.

Потом все же направляемся к метро, губам стало горячо.

— Наталья, ног совсем не чувствую, как спичечки в сапогах, воздушный весь.

— У меня тоже кружится голова, но проходит.

— И вообще, как-то у меня не получилось сегодня. Ты не обижайся...

— Эх, ты, — говорит она, — а говорил, что супермужчина, любовь необыкновенная...

Я смотрю на нее, она улыбается.

— Вот, так все мужчины, обманывают бедных женщин...

Она прельнула к моему плечу и шепчет:

— Ты мой самый лучший, и какая разница, как все получилось сейчас... Я знаю, что будет необыкновенно, я верю в это...

«Натальинька», — шепчу я и целую, ничего не сообщая.

К метро мы подходим не спеша, а оно закрыто. Я хотел проводить ее домой... Метро не открывается даже для нас, а это обозначает час ночи. Что она думает, я не знаю, но впечатление, что она ни о чем не думает.

— Возвращаемся? — спрашивает весело она.

Я даже вздрагиваю. И от несбыточности, и от расставания, и от неверия, что это тело — может быть моим. Мне кажется, что этот раз был случайным и больше не будет никогда.

Метро закрыто, значит, расстояние в пять минут мы

шли почти полчаса. Хорошо мы ходим. К стоянке такси. Снег под ногами убран, видно по следам — сгребали большой лопатой. Может, пятнадцатисоточники, думаю я. Вечно мне необыкновенные мысли приходят в голову в самое неподходящее время.

Стоянка безлюдна, она в проулке за метро, стоят только два-три таксиста.

Она останавливает меня, не доходя до них:

— Саня, только обещай, что ты не будешь ничего думать, что было так или не так. Не будешь расстраиваться и опущенный потом ходить. Ты такой чувствительный... А завтра я приеду к тебе с самого утра, в девять часов, хочешь?

— Да, — выдыхаю я.

— Только не думай ни о чем, я тебя умоляю. — Она наклоняется порывисто и шепчет мне на ухо: — Я хочу тебя...

Я обхватываю ее плечи и сильно обнимаю, не веря. Ни во что не верю. Вот все, сейчас я потеряю ее навсегда.

Мы подходим к таксистам, стоящим у столба.

— На Фрунзенскую, — говорю я и добавляю, — старики.

— Можно, — говорит один, — как раз в парк у меня.

Я высвобождаю свою руку из ее, чтобы подойти к нему.

Она негромко говорит:

— Саня, только выйми ручонку из кармана, где у тебя деньги. Иначе я не поеду никуда. Ну! — говорит она. Так серьезно, что я вынимаю.

— Тогда я еду провожать тебя.

— Чтобы опять целые дни ничего не кушать? — спрашивает она. — И ножонки потом были как воздушные?

Она наклоняет мою пустую голову к себе и шепчет:

— А кто будет справляться со мной...

— Наталья, — пьянею я и целую ее куда попало. Пусть все смотрят.

Она опускается в такси и открывает окно. Таксист заводит машину и говорит:

— Все сказали, молодежь?

— Нет, — говорит она.

Я наклоняюсь. Смотрю на ее губы, говорящие.

— Не звони завтра, он не работает, взял день из-за матери. Я сама приеду, с самого утра.

— Спасибо, — произношу я и отклоняюсь.

— Подожди, — торопливо говорит она, — дай я тебя поцелую!

Я наклоняюсь, ее губы у моего лица. Мягкие-мягкие. Мне кажется, что это последний поцелуй и я ее точно не увижу никогда. Что-то случится...

Мы отрываемся друг от друга.

— Посхали, что ли? — шофер оборачивается.

— Аккуратно только, — предупреждаю я.

Все трогается, двигается Наталья. Я хочу снять шапку на прощанье, но, вспоминая, одумываюсь.

Машина с шашечками уезжает, юзя на снегу.

Я бреду домой. Неторопливо. Сейчас почему-то совсем не холодно. Говорят, что среди ночи есть такое время, отрезок промежутка, когда всегда не холодно. С веток снег сдувается ветром и падает иногда. У меня воздушно все внутри и от голода чуть-чуть кружится голова. За целый день съел только тарелку супа и булку вечером. И надо же, чтобы все случилось сегодня. Хотя я счастлив, что все позади и не будет больше первого раза. Он жуткий, растерянный и беспомощный для меня. А будет ли вообще раз, будет ли она, вдруг вздрагиваю я. Она приедет завтра, конечно, с утра. Надо только мне закрыть глаза и проспать до утра. А утром дверь откроется...

Я смотрю на церковь около моего дома, она вся в снегу. Чего я неверующий? Я бы им храм сейчас построил и назвал его Наталья.

Я захожу в комнату-келью, сбрасываю дубленку и засыпаю. Лампочка горит, я не тушил, когда уходили. Смотрю на кровать...

Я раздеваюсь и ложусь под простынь, утыкаясь лицом в подушку. Я втягиваю носом в себя и чувствую аромат ее тела и каких-то неземных духов, которые, к счастью, не выветриваются.

Так, в запахе ее тела, и засыпаю до утра.

Когда я открываю глаза, то в комнате стоит темнота. Совершенно не понимаю, где я. Потом до меня доходит, что это келья, моя новая квартира. Я утыкаюсь в подушку и чувствую запах. Это же Натальин, думаю я, Господи, откуда, — и тут я все вспоминаю.

Кто-то идет по коридору, я прислушиваюсь. Это не она.

Часы тикают по «Маяку». Девять утра. Надо встать, одеться, а мне не хочется. Лучше разденется она. Сегодня у меня нет уже неуверенности и страхов, что что-то не получится. Я обнимаю подушку. Какой необыкновенный запах остался после... Вдруг опять на меня находит, что она не приедет, это конец, мне становится пусто и страшно. Чьи-то шаги по коридору: Я привстаю на локте, нет, проходят мимо. Радио тикает половину десятого. Я встаю и иду умываться, оставив дверь широко раскрытой, чтобы она видела, когда пришла, что я дома. Вода холодная до одурения.

Захожу опять в комнату иключаю верхний свет. Подхожу к ставням и пытаюсь их открыть. Бесполезно. На завтрак только яблоко. Беру одно из лежащих на столе. Хочется закурить, но на голодный желудок не могу. Я сижу и прислушиваюсь к шагам. Наконец раздаются похожие шаги, я вскакиваю и подхожу к двери, но они проходят мимо. По радио уже одиннадцать. Но я думаю о свекрови, которая приехала вчера из-за нее, улаживать ее семейные дела с мужем, а она уехала и вернулась в полторого ночи. Конечно, она не может вырваться с самого утра. Но она вот-вот приедет. Вдруг я вспоминаю, что у нее нет адреса. А вчера она сказала, что ей не нужен номер дома, она и так запомнила, у нее хорошая зрительная память. Тем более дом такой необыкновенный: розово-кремовый, в два этажа.

От этой мысли я выскакиваю на улицу, едва не захлопнув дверь, без ключа, иглядываюсь вдоль улицы, в сторону метро. Никого нет. Я напрягаю глаза — пусто. На столбе на часах сорок минут двенадцатого. Что же случилось? Я не могу ей позвонить, она просила. Там все дома, она все равно не сможет говорить, тем более, после вчерашнего возвращения.

Я захожу и начинаю ходить по комнате в длину. Попerek некуда. Двенадцать тикает, она точно не приедет. Причем тут родственники, просто решила, что это ей не надо, не получилось вчера... Все просто, не надо строить иллюзий, она обычная женщина. А все бабы — самки. Это же твоя теория. Вот и пользуйся ею, она проявляется воочию. Нет, это невозможно. А почему невозможно? — все возможно.

Раздается стук в дверь, я не слышал звука шагов. Я подскакиваю одним прыжком и распахиваю дверь.

— Здравствуй, Саша. Как тебе спалось?

— Здравствуйте, тетя Нина.

— Кровать не жесткая?

— Нет, спасибо, нормальная. Я вам деньги должен.

— Да. Я как раз в магазин собралась.

Я достаю деньги и рассчитываюсь с ней. За свет в конце месяца.

— Сколько времени уже?

— Четверть первого, — говорит она и уходит.

Я выглядываю в пустой длинный коридор, никого. Теперь я знаю, что она не приедет. Звонить я не буду. А по логике, если не приходят сегодня, то не придут и завтра. Ведь не для того же не приходят сегодня, чтобы прийти завтра.

Я лезу в свою сумку, боковой карманчик, и достаю флакон эфедрина, еще Павла подарок с дня рождения. Того дня, когда мы с ней познакомились. Достаю скальпель, который всегда со мной, и открываю им металлическую обойку, потом снимаю резиновую крышечку и делаю два глотка. Это полфлакона. Горькое ужасно. Откусываю красное яблоко и сажусь у стола.

Через пять минут у меня начинает электризоваться в мозгу и волосы шевелятся. Очень приятное ощущение какого-то сжатого перевозбуждения, но только мозгового. Все мысли отключаются, ни о чем постороннем не думаешь, и мозг концентрируется только на желаемом, на ней.

Я думаю о Наталье, сижу и думаю. Даже если я ее и не увижу никогда, все равно, слава Богу, что она была. Закуриваю сигарету и натыкаюсь на зажигалку, забытую се-

ребряную палочку. Огонь зажигается вместе с моей сигаретой. Вот и память нечаянная, случайно забытая, в спешке. Или это повод, причина позвонить, чтобы вернуть?.. Нет, я не позвоню ей никогда, первый. А ей мне и звонить некуда. Тикает два часа, а я все прислушиваюсь к шагам, голова моя напряжена, и выкурена пятая сигарета. Когда пьешь эфедрин, очень курить хочется.

Около шести раздаются шаги, по которым я узнаю шаги своего брата, и следом — стук в дверь.

Я открываю.

— За такси три рубля, — произносят его свежие с мороза губы.

Я смотрю на него и ничего не понимаю.

— Какое такси?

— Вчерашнее, ты сказал, чтобы я взял.

Я достаю три рубля и отдаю. Он заходит и садится у стола. Берет яблоко икусает. Он всегда все берет икусает. Когда видит съедобное. Такая жизнь.

— Как дела? — спрашивает он.

— Нормально, — отвечаю я.

— Ну и как Наталья, — спрашивает он, — чего нас поделишься?

— Чем?

— О вчера.

— Ничего не было такого, чтобы делиться.

— Только ты мне не рассказывай, я уже взрослый, или постельное белье ты сташил, чтобы в кубики играться?

— Во-первых, белье мое, я его не утаскивал, а во-вторых, нехорошо подглядывать.

— Я не подглядывал, потом заметил, да еще ваши голоса около часу ночи ходили туда-сюда. Ну и как?..

Ему всегда не терпится узнать начало. Обычно мы все рассказывали друг другу, но в этот раз мне не хочется и у меня никогда не расскажется.

Собственно, он мой учитель самого недалекого прошлого, я должен говорить ему о достигнутых успехах, победах и боях. Но здесь другая ситуация, не было: дала или не дала. Хотя все они дают. Вопрос: в первый раз или нет.

Но при чем тут она.

— Борь, не хочется, в другой раз.

Он вглядывается, повернув лампу на меня.

— Что это у тебя зрачки такие расширенные?

— Не знаю, — говорю я.

— Как ты не знаешь, просто так они не расширяются. А это что? — он берет флакон со стола.

— Эфедрин. В нос закапал, простудился, еще с общежития.

Ему, доктору, даже в голову не приходит, что можно еще делать.

— Наверно, много закапал, а он сильнодействующий.

— Да нет, как всегда... — я осекаюсь, он не обращает внимания.

— Ты ел что-нибудь?

— Мне не хочется.

— А где Наталья?

— Она занята, родственники приехали.

— Ее ждешь, конечно? — догадывается он.

— Нет, Б., правда, не хочется.

— Ну, давай, я зайду позже, а то голодный с работы.

Он уходит, и кажется, что не приходил никогда. Но он возвращается.

— Хочешь музыку послушать?

— Что угодно, — отвечаю я.

— Сейчас принесу магнитофон сюда, а то у меня холодно.

Он приносит свой хороший магнитофон и ставит кассету. А мой — в общежитии, надо будет его девкам, что ли, подарить.

Звучит какая-то музыка и в первый раз за целый день расслабляет меня. Все, не пришла. Ну и что. Жизнь не окончена. Не умирать же из-за этого. А почему нет? Мысль эта мне нравится — о смерти. И думать больше ни о чем не нужно будет, и ждать не надо. Хотя я знаю, что все это глупости и ждать я буду: и завтра, и послезавтра, и долгие еще дни, до конца.

Брат остается спать у меня, осведомившись, не придет ли она. Я отвечаю ему, что замужние женщины по ночам не ходят. Они неочные, они дневные или вечерние.

У него холодно, и он спит в моей кровати. Какая смена прилагательных.

Утром он будит меня, уходя на работу, я поворачиваюсь на другой бок, засыпая. Заставляя себя, так как лучше ждать во сне.

Где-то передают сигналы точного времени. Кому оно нужно. Это уже прошло, значит, полдня.

Я решаю прождать еще два часа и пойти что-то купить поесть.

В коридоре тихо, ничьих шагов не слышно. Я вслушиваюсь и устаю вслушиваться, устал от коридорного безмолвия.

Верчу двушку в пальцах, но звонить не собираюсь. Мне не пять лет, и я не мальчик, чтобы сидеть и ждать ее с утра до вечера. Я встаю, одеваю дубленку, но решую оставить записку ей в дверях.

Я выхожу из темного подъезда, шурясь на белый снег, приоткрываю глаза и не верю: прямо на меня идет Наталья, нет, это не она.

Она бросается мне на шею: град поцелуев. Господи, думаю я про себя, слава Богу. Но лицо каменное.

Она отклоняется:

— Санечка, прости меня. Я целый день искала вчера твой дом. Целый день и не нашла. Ну не смотри так.

Она целует мои глаза.

— Я знаю, что ты думал, но это все глупости. Я мечтала увидеть тебя вчера, — (тут я перестаю смотреть так), — но я заблудилась, пять раз обошла всю Таганку, а твоего дома не нашла. Улицы от площади лучами расходятся, и кажется, что каждая твоя. Я ведь и сейчас шла наугад. В поисках. И вдруг ты выходишь из подъезда, я даже не поверила сначала. Но такая шапка только у тебя... Я так обрадовалась.

Она обнимает меня. Она рада, а что говорить обо мне.

— Прощения тебе нет и не будет никогда, Наталья.

— Да, Саня, я согласна, только прости сегодня. Хочешь я на колени стану, если простишь, — она и вправду снимает сумку с плеча и... Я подхватываю ее и обнимаю.

— Наталья, ты что! Я не обижусь на тебя. В доказательство этого идем, беру тебя в магазин, вернемся, будем завтракать.

— Я тоже ничего не ела с утра, свекровь на

Ленинградский вокзал к часу провожала, она «Стрелой» уезжала (лучше бы «Метеоритом»), слава Богу, уехала. Только проводила и сразу к тебе по кольцевой... — она улыбается, — ...я так скучала без тебя.

— Придумываешь все, презренная.

— Нет, правда, — она опускает руку ко мне в карман. И я таю. — Прости, прости меня!

Я покупаю все в маленьком пустом магазине к завтраку. В булочной беру хлеб, чай, палочки и возвращаюсь с ней назад. Коридор уже мне не кажется мрачным и темным. Мы подходим к моей двери, в которой торчит записка.

— Это для меня?

— Нет, — отвечаю я. — Для Пушкиной, Натальи Александровны.

Она раскрывает и читает.

— Какой слог, Санечка. Платон прямо.

— Два, — улыбаюсь я.

Она открывает дверь, которая была просто прихлопнута, и пропускает меня. Я начинаю готовить чай, нахожу в шкафу стаканы, ложки, кофейник, в котором кипячу воду для чаепития. Она все нарезает. И тут я вспоминаю, что забыл сахар. Лезу в шкаф, там чья-то пачка.

— Наталья, как ты думаешь, дочь хозяйки не обеднет, если мы возьмем ее сахар?

— Я думаю, она должна быть счастлива.

— Тебе смешно, а я ничего не ел вчера, тебя ждал.

— Бедный Саня, — целует меня, — а я нажарила вчера цыплят-табака для тебя и, как дура, носилась по Таганке с ними. Вечером им пришлось скормить, иначе испортились бы.

— Наталья, — говорю я, сильно сжимая ее, так, что она хрустит.

— Давай, Санечка, еще сильней...

Ее даже не смущает, что чай в граненых стаканах, она не обращает внимания.

— Это твой магнитофон, Саня? Еще один?

— Это брата, тот в общежитии. Хочешь музыку?

Она кивает.

Я ставлю наугад одну из пяти кассет. Звучит прекрасная песенка, которая мне нравится: «Pretty Woman...»

— Наталья, что значит это?

— «Красивая женщина» или «приятная».

— Не зря тебя в институте учили, даже перевести можешь. — Она смеется. — Это как о тебе, Наталья.

Она оставляет все и подходит, склоняясь надо мной. Опускается рядом.

Я раздеваю ее сам, и мы ложимся в объятия друг друга. Я гашу лампу у стола и отмечаю сиротливый недопитый чай.

— Наталья, — говорю я, — ты красиво кушаешь...

— Саня, — она целует меня в губы.

Я не могу больше ничего говорить. Она прекрасна сегодня и ее любовь неистова. И у меня все получается, не так, как...

По-моему, уже поздно, когда мы отрываемся друг от друга.

Я щелкаю выключатель у кровати, свет зажигается.

— Наталья, — шепчу я, — я хочу посмотреть на тебя...

И тут же раздается стук в дверь.

— Санчик, я вижу, свет горит у тебя, дай, думаю, зайду на огонек, — слышу голос.

Я прыскаю, представив, как он заходит.

— Не сейчас, Боря...

Наталья касается губами моей шеи и, я чувствую, тихо смеется.

— Ах, брату не хочешь открыть, да?

— Ну, Борь. — Я сле сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться.

— У тебя что?.. — (Наталья скользит рукой вниз, по мне...)

— ...Да, да, — перебиваю я, — зайду к тебе потом.

Его шаги удаляются.

— Наталья, у тебя бесстыжая рука.

— Я вся бесстыжая, — говорит она и наклоняется, целуя мой живот.

— Но мне это очень нравится...

Она снова растворяется во мне. Наконец она устает и

откидывается головой на подушки. Перепутанные волосы закрывают ее лицо, лежат на губах.

— Наталья, я хочу закурить до одурения.

— Кури меня, — шепчет она в мое ухо.

Я беру ее губы в свои, затягиваюсь.

Мы лежим, отдыхая, ее голова на моей груди. Я говорю:

— Наталья, ты зря относишься критически к моему брату.

— Он напоминает моего супруга, — отвечает она.

— В табели о рангах нашего рода, я имею в виду молодого поколения (родственники как-то совещались с моей мамой), его ставят по красоте на первое место.

— А тебя на какое? — спрашивает сразу она.

— Ни на какое, я не вошел в призовую тройку.

— Ничего твои родственники не понимают, — говорит она, поднимает голову и сквозь перепутанные волосы целует меня.

— Сколько времени, как ты думаешь? — отрываюсь я от ее губ.

— Не знаю, — отвечает она.

Она даже не догадывается, к чему мой вопрос.

— Мне так кажется, что уже поздний вечер, — намекаю прозрачней я.

— Ну, Саня, мне не хочется уходить. Почему ты прогоняешь меня?

— Что ты, Наталья, — я целую ее мягкие твердые губы, — я бы хотел, чтобы ты осталась здесь навсегда! Но я не хочу, чтобы у тебя были ссоры и скандалы.

— Какие ссоры, Санечка, — она усмехается грустно, — мы цивилизованные и воспитанные муж и жена, ни один не вмешивается в жизнь другого.

— А что ты сказала, когда пришла?

— Сказала, что перезанималась и хочу спать, и сразу пошла в спальню. И, самое главное, сразу заснула. — Она, улыбаясь, смотрит на меня. — Они, по-моему, так и остались сидеть в зале без движения.

— Ох, Наталья, — говорю я, чувствуя, как внутри эти рассказы тревожат и будоражат меня.

Она одевается, когда я курю сигарету, отвернувшись.

— Наталья, ты забыла зажигалку вчера. То есть позавчера.

— Это тебе, Саня, на новоселье, — она опять улыбается.

— Никаких новоселий, нашла причину.

— Ну, Саня.

— А то обижусь.

— Хорошо, я пока оставлю ее у тебя для себя, а потом заберу.

— Когда потом? — спрашиваю я.

— Лучше поцелуй меня.

— Куда? — спрашиваю я.

— Куда хочешь.

— Но ты уже одета...

Она быстро поднимает тонкий свитер и опускается возле меня. Я больно целую ее грудь. Мне кажется, ей нравится... эта боль.

Мы идем по снежным улицам, тишина, нет людей, часы показывают полвснадцатого.

— Наталья, — шучу я, — сегодня ты укладываешься вовремя: сегодня ушла, сегодня пришла.

— Да, — говорит она, о чем-то думая.

— И хотя я, конечно, не верю, что ты вчера не нашла меня...

Она как будто не слышит меня.

— Саня, давай завтра встретимся на Центральном Телеграфе, у меня есть дела в центре, если ты не против.

— Конечно, Наталья, я всегда за: за тебя, за... — я беру ее за грудь.

— Ну, Саня, — смеется она, — люди вокруг...

Хотя кругом ни души. Она наклоняется ко мне и шепчет:

— Хочешь, вернемся?

Я даже забыл, что надо дышать.

— Пошли, — поворачивается она и направляется обратно.

— Наталья, —держиваю ее руку я. — Не соблазняй меня, а то запру и не отпущу до утра.

— Правда?! — Она радостно поддается ко мне и обнимает за шею.

— Неправда, — с сожалением говорю я, — тебе пора домой.

Она грустная садится в такси, даже не обращая внимания, что я целую ей руку, оттягивая варежку у запястья.

— Завтра в десять, — говорит она и уезжает.

Без четверти десять я на телеграфе. Почту смотреть не иду. Ее все равно не будет. А перевод и тем более: неизвестно, когда придет.

Я становлюсь в углу и считаю деньги. Долго считать не приходится: четыре рубля и копейки. И это все, думаю я. Очень мало. А куда же девались сорок рублей за четыре дня? Проклятые гнусные деньги, вечно проматывают себя, как дешевки. Даже не задерживаются в кармане.

— Санечка, ты занимаешься полезным делом?

Я успеваю спрятать все в карман, надеясь, что она не заметила. Впервые приехала вовремя и — не вовремя.

— Наталья, ты заболела, — смеюсь я, целую ей руку, она мне ее подала чисто, как друг, вроде посторонняя, — приехала вовремя.

— Нет, — смеется она, — семь минут после десяти. Но я рада, что ты не ругаешь меня и не дуешься. За это я поцелую тебя в щеку. Можно? — И целует. — Ты письма уже получил? — спрашивает она и разворачивается обратно.

— Нет, сегодня не от кого, а перевод от папки только первого числа.

— Пойди посмотри, может, что-то есть.

— Не от кого, Наталья..

— Я прошу тебя.

— Ну хорошо, — я иду и не понимаю, чего ей далась моя почта.

Протягиваю паспорт в арку окошка и правда получаю письмо, незнакомый почерк, но красивый.

Я иду к ней, она стоит и ждет меня в конце зала, у самого выхода. Женщина такта. Вдруг любовные письма...

— Наталья, правда, письмо, ты как волшебница, откуда ты знала?

— Не знаю. От любимой девушки, наверно, эх ты, а говорил, что я — одна.

Я не знаю, честно, от кого письмо, — я смотрю на обратный адрес, какая-то Наташа Т., у меня не было никакой Натальи, кроме...

Смотрю в ее глаза — фейерверк искр.

— Так это же ты — Наталья!

— Наконец-то, Саня, — она от души смеется моей расстерянности. — Прочитай, пожалуйста.

Я открываю письмо, в него вложены две открытки с одинаковыми картинками: три чайных розы, на первой начало, на второй конец.

«Санечка!

Как все глупо получилось. Вот уже два часа как я болтаюсь по Таганке. Я обошла все церкви, но нет твоего дома. Я ведь не знаю названия улицы. Только умоляю тебя, поверь ты мне, все так необыкновенно глупо. Я купила эти открытки и пишу у метро «Таганская», на улице, ужасно расстроенная. Но больше не тем, что мы не увиделись, а тем, что ты не знаешь сейчас, что я где-то рядом, вот бегаю, тебя ищу, а ты близко и думаешь обо мне всякую чушь.

Хоть бы ты позвонил мне.

Целую.

14.00».

Я смотрю ей в глаза, она — совсем серьезно на меня.

— Теперь ты мне веришь?

Я киваю головой.

— Я хочу, чтобы ты мне верил всегда. Я бы не встречалась с тобой, если бы мне нужно было обманывать тебя.

Она серьезна. Мне непривычно ее выражение лица.

Я смотрю на штемпель конверта, и правда, день, когда она не приехала.

— Да, дата совпадает, — говорю я неуверенно.

— Ох, Саня, ты неисправим, — она уже весела.

Мы выходим из телеграфа, проходим подземный переход и оказываемся в Театральном проезде.

— Пойдем в букинистические магазины, Наталья. Я там давно не был.

— С удовольствием.

Я не замечаю никого и ничего, зато на нее многие обрачиваются. Центр... в центре всегда все липнут глазами. Она идет, не замечая никого, и только, повернув голову, смотрит на меня.

— Наталья...

— А?

— Я рад... что мы идем.

Чушь какая-то.

— Совсем сдуру, — говорю я.

— Да, Саня, прямо скажем... Ты что ночью делал?.. — шепчет она.

— О тебе думал...

— И я... — мы целуемся.

Я люблю ходить в книжные магазины. Только когда там книжки есть. Что в последние времена — редкость большая: книжки в книжных магазинах.

Она смотрит какой-то альбом Батиста Тьеполо, а я наблюдаю за ней.

— Саня, — она поворачивается ко мне и натыкается на мой взгляд на ее губы. Она быстро проводит языком по губам, они зажигаются. — Саня, здесь нельзя, — предупреждает она меня, видя мою склоняющуюся голову. Я опоминаюсь. — Тебе нравится «Вирсавия в купальне»? — она показывает мне репродукцию. — Она в Эрмитаже висит.

— Я видел. Она похожа на тебя...

— Ты, оказывается, комплименты умеешь говорить, не знала, не знала. Мне говорил, что не умеешь и никогда не говоришь. А тут и двух дней не прошло, как отпускаешь. Могу себе представить, что ты другим говорил... через три дня.

— Наталья, — я начинаю объяснять, что она не права, это не комплимент, а правда. Она смеется, ее забавляет мое спотыканье.

— Саня, я прощаю тебя — за комплимент.

— Хочешь альбом, Наталья?

— Нет, Саня, у меня есть, только другого издания.

Она не дает купить ей альбом, буквально вытаскивая из магазина, оставив его на прилавке. Только на улице я (с ужасом) соображаю, что у меня в кармане всего четыре

рубля. С копейками. Эта мысль убивает меня и делает грустным на какое-то время.

— Саня, куда ты хочешь пойти? — спрашивает она.

Я начинаю перечислять:

— Можно поехать в Лужники, или в кино, или матч сегодня по волейболу в Сокольниках, — (а я когда-то играл в волейбол, и сейчас еще числюсь в сборной института, только до института никак не дойду). — Можно погулять по центру, — продолжаю я, — я знаю еще одно место, где есть горячий шоколад. Ты любишь горячий шоколад, Наталья? Какой ты предпочитаешь?

Она наклоняется ко мне и говорит тихо:

— Давай лучше поедем к тебе. Я предпочитаю тебя...

— А!..

Я останавливаю такси; после чего у меня остается...

Она снимает верхнюю одежду и сама включает магнитофон, спросив предварительно: можно? Я говорю, что ей все можно.

Опять звучит песенка: "Pretty Woman", и мне очень она нравится.

— Хочешь чаю, согреться?

— Потом. Согрей меня...

Мы согреваемся, но странным способом — раздеваясь.

Я не могу оторваться от ее тела. Оно прекрасно, и мне кажется, что совершенно. Впрочем, мне не с чем сравнивать, таких тел...

Я встаю и кусаю бутерброд, который успела сделать она. Я всегда потом что-то хочу укусить. Вроде как зубы режутся. Странное сравнение...

— Хочешь, Наталья?

— Нет, Саня, я полна...

Я подхожу к кровати, она укрыта простыней. И вдруг мне хочется увидеть ее волшебное тело, полностью, сию минуту, как припадок нападает на меня. Она смотрит, и мягкая улыбка дарится мне. Я протягиваю руку и резко сдергиваю простыню, бросая за себя.

— Ах! — вскрикивает она, не успевая ничего понять, даже протянуть руку... и только закрывает глаза.

Я смотрю, и впечатление, что теряю сознание. Как ослепили. Я даже толком не вижу линий ее тела, просто

тело, стыдливо лежащее в простыне, прижимая одно колено чуть выше другого, — как зачарованный стою я.

— Наталья, ты как богиня...

— Санечка, — она открывает глаза.

Господи, какое тело, думаю я.

Впечатление, что оно существует вне ее и к нему не прикоснуться. Но я касаюсь рукой, трогаю его, гляжу. Оно отвечает мне движениями.

— Наталья, у тебя правда божественное тело.

— Оно твое, Санечка...

Мое, мое, мое...

Я провожаю ее, когда поздно, когда совсем уже темно.

Какие-то дни проходили, бежали куда-то, убегали, я ничего не замечал кругом, незде и во всем была она. Только она.

Наконец я решил объявиться в институте и узнать: не выгнали ли меня.

Оказалось, еще нет и пока моей персоной и ее персональным отсутствием на проходящих занятиях никто не интересуется. Я даже числюсь как студент.

Наталья поехала с утра выяснить какие-то отношения с преподавателем по английской лингвистике, называется зачет, перед госэкзаменами.

«Ты оденься скромно, — посоветовал я, — ты не можешь ему не понравиться, если ты сразила меня». Она засмеялась, сказав, что послушается опытного совета.

Потом Наталья должна была заехать за мной в институт и найти, так как не знала точно, когда освободится. Я ей сказал три места, где можно найти меня: в туалете, в буфете и на «теплой лестнице», где все курят обычно и собираются с моего курса такие же рьяные ученики, как и я. Первое место для нее отпадало.

И тут я встретил Шурика. Он такой забавный, что я всегда улыбаюсь, когда встречаю его. Он вечно как под кайфом ходит, глаза такие плавающие-плавающие, но днем он не пьяный никогда.

— Шулик, — говорю я, — сто лет тебя не видел! — И

мы обнимаемся. Я его всегда рад видеть. Физиономия у него — бесподобная.

— Ты куда пропал? — спрашивает он. — В институте век тебя никто не видел.

— Шурик, не спрашивай. — Я сияю.

— Дама, что ли?

— И она прекрасна.

— Шур, — говорит он мне, только от него я и терплю это имя, — у тебя есть закурить?

— Конечно, даже если б не было, для тебя бы достал. Я протягиваю Натальину пачку сигарет.

— У-у! — восклицает он, — фирма!

— Бери еще одну, на потом.

— Спасибо большое. Пойдем на «теплую лестницу», а то тут курить нельзя, новые правила.

— Ты что, серьезно?

— Да, сейчас в институте можно курить только в особо отведенных местах и на боковых лестницах. — Он улыбается: — Сколько ж тебя в институте не было! Месяц как ввели.

— Я не знал этого. Впервые слышу.

Я и он идем на «теплую лестницу», там никого — пусто. Садимся на скамью, я щелкаю зажигалкой, даю ему, закуриваю сам.

— Красивая, — говорит Шурик.

Я спрашиваю:

— Шурик, что за журнал под мышкой?

Такой человек: придет в институт, пошатается, все время с книжкой, сядет в читалку и читаст, или не читаст, мечтает.

— «Иностранный литература», — отвечает он заторможенно. Он всегда заторможенный и отвечает так.

— Что публикуют, что-нибудь хорошее?

— Да, очень приятная повесть, называется «Несмного солнца в холодной воде», француженка написала, Франсуаза Саган.

— О чем?

— О любви. Там главная героиня Натали, знаешь, очень...

— Как Натали?

— Очень просто, ее так зовут.

— Дай почитать, сразу верну.

— Через месяц, когда появишься? — он улыбается.

— Раньше.

— Ладно, я тебе его даже могу подарить. Это не мой, а у меня родители выписывают постоянно. Только пару страниц до конца главы дочитаю.

Он читает, а я жду.

Из воздуха на лестнице появляется Наталья. Как она меня нашла сразу?

— Санечка, — она прекрасна с холода, — я сдала. Оделась скромно, совсем, как ты сказал. — Она распахивает длинную дубленку и показывает платье, темно-вишневое в каких-то вазах.

Чего-что, а вот скромного в нем ничего нет. Платье само по себе очень красивое и идет ей. Она улыбается, поднимаясь ко мне.

— Совсем скромно, — скриплю я.

— Но, Саня, скромней не было. Я же абсолютно не готовилась, времени, как ты знаешь... а доцент (приват) был строгий донельзя.

Она уже стоит передо мной и смотрит. Мы встаем со скамьи. Тут я вспоминаю про друга, стоящего рядом.

— Шурик, это Наталья, — говорю я.

— Саша. — У него почтительно вытягивается лицо.

— Очень приятно, — говорит Наталья, и, судя по улыбке, ей нравится его удлинившееся лицо.

— Ты освободился, Санечка?

— Я не занимался ничем.

— Его еще не исключили из института? — шутит она.

Шурик даже не понимает, что это к нему.

— А? Нет, что вы! Я сообщу, когда исключат. — Мы все смеемся над фразой, которую он сказал.

Мне нравится ее простота и общительность, как будто она не сейчас познакомилась. А давно.

— А как он вообще занимается? — допытывается Наталья. А то она не знает, как я вообще занимаюсь и чем.

— Да я его не видел уже месяц почти...

— Наталья, он такой ученик, как и я, нашла у кого спрашивать!

— Из таких потом вырастают ценные педагогические кадры, — она улыбается, — им есть что рассказать детям.

— Давай, Шурик, журнал, мы пойдем потихоньку. Ты сла?

— Не ела, я зачет сдавала. Удивлена, что сдала.

— Шурик, хочешь с нами поесть?

— Спасибо, мне надо одну... то есть, одного человека дождаться.

Он отдает мне журнал.

— Спасибо за подарок, — говорю я.

Наталья прощается и поворачивается, чтобы идти.

Он смотрит на ее спину и говорит:

— Да, Саня...

Мы выходим из института. Не так холодно, я иду распахнутый, впрочем, я всегда хожу распахнутый. Это моя теория согревания: ходить нараспашку.

— Саня, ты не застегиваешься никогда?

— Нет, — говорю я и, быстро наклоняясь, целую ее губы.

Она ничего не понимает, так, в поцелуе, мы и проходим мимо профессора, лекция которого должна начаться после следующего перерыва.

Я правильно рассчитал: когда мы целуемся, он меня не окликнет.

— Что случилось, Санечка?

— Просто поцеловались, — улыбаюсь я.

— Несколько маленьким мальчикам целовать взрослых женщин на улице и без разрешения.

— Можно вас поцеловать?

— Да, — разрешает она.

Прислав на Таганку, мы заходим с ней в этот подвалчик, который ей нравится очень. Погребочек, где мы с ней иногда питались, даже назывался «кафе», с прибавлением не то закусочная, не то шашлычная. Один раз мне казалось одно, второй раз — другое. Там никогда почти не было людей и вкусно кормили.

Мы сели за стол в углу, она спиной к залу, как всегда, чтобы мне было спокойно.

Официантки тут подходят сразу, а это редкость.

— Что ты будешь, Наталья?

— Что и ты, Санечка, — я обожал, когда она так говорила. Я сразу чувствовал себя окрыленно, я мог взлететь.

— Цыплята-табака, пять напитков, хлеб. У вас есть какие-нибудь салаты: помидоры, огурцы?

— Все, что в меню, смотрите.

— Все меню давайте, — говорю я.

Наталья уже молчит, привыкла.

— Как все? Целое меню?

— Раз вам трудно ответить.

Она снисходит и перечисляет салаты. Я выбираю два, хотя их всего три.

Она уходит и скоро возвращается.

Ставит все на стол, без цыплят, и спрашивает:

— А вы правда все меню бы взяли?

— Он такой, — отвечает за меня Наталья.

— Ой, я глупая, — говорит она, — какая бы выручка была.

Мне нравится ее молодость. Оказывается, есть еще глупее меня.

— Наталья, хочешь шампанского?

— Только дома... — она смотрит очень пристально на меня.

Я смотрю в зал поверх ее плеча. Мне начинает надоедать назойливый мужик, который не спускает с нее взгляда, вот уже, наверно, десять минут.

— Санечка, а кто выпьет столько напитков? — спрашивает она.

— Ты, и немного — я.

— Саня, ты ненормальный!

Мне надоедает.

— Извини, Наталья. Я помою руки.

Встаю и показываю мужику глазами на выход.

Иду в туалет, он входит за мной. Туалетик тесненький, одноместный такой. Не развернуться.

Мужик добродушно улыбается, глядя на меня как на козявку. Здоровей меня эдак раза в два.

— Ну и что? — спрашивает он.

— Ничего, — грубо отвечаю я. — Не люблю, когда так долго и назойливо пялятся.

Улыбка слезает с его лица.

Помолчав, он произносит глубокомысленно:

— А...

— Что «а»? — спрашиваю я в свою очередь. — Понял, или по-иному объяснить?

Мужик медленно баగровеет. Я сжимаю ручонку в кулак.

Он вдруг говорит:

— Понравилась мне твоя девушка. Хороша! Позавидовал, — зубы пытаются изобразить подобие улыбки.

Я сразу расслабляюсь, как будто и не сжимался (для удара), в эти самые зубы...

— Да чего уж там завидовать. Со стороны только...

— А... — говорит он и уже выходит.

— Саня, ты что там, весь купался? — спрашивает Наталья.

— По пояс только, — отвечаю я, и она смеется.

Гляжу гордым взглядом победителя опять через ее плечо: мужик мне подмаргивает.

Мы выходим, покушав, из погребка, который зовется не по-нашему «кафе», и я покупаю в гастрономе бутылку шампанского. Без очереди. Вереница опухших алкоголиков терпит молча.

— Саня, это нехорошо — брать без очереди.

— Наталья, я же знаю, что с тобой все можно.

— Да! Там один алкоголик так смотрел на тебя, что я думала, пустой бутылкой запустит, которую сдавать держал.

— Ах, так ты еще и трусишка, оказывается.

— Нет, я не трусливая, но ты в единственном экземпляре. И головенка у тебя одна, — она целует ее у виска, — побереги ее для меня.

Мы почти дошли до дома. Обычно, когда мы идем домой, мы проходим мимо гнусного ларька, на котором написано «Пиво». Там всегда околачивается одно рванье. Ну рваней не придумаешь. А у меня почему-то страшное желание: затащить Наталью именно туда, поставить у стойки и выпить пива.

Она была согласна, но всегда было не до пива... Оказывается,

Я включаю свет, и комната освещается как-то.

— Раздевайся, Наталья.

— Совсем? — спрашивает она. — Как прикажете.

— Ну, Наталья... — я, по-моему, даже пунцовею, редкая вещь.

— О, какие мы застенчивые, Саня, я и не знала.

Она раздевается и садится за стол.

— Поставить музыку?

— Да, пожалуйста.

Я включаю магнитофон. И сажусь к столу.

— Саня, — просит она, — расскажи что-нибудь из своего детства.

Я не знаю, что именно ей хочется, но начинаю рассказывать. Играет музыка. На столе лежит польский журнал и паркеровская ручка. Она спрашивает взглядом, можно? — не перебивая меня, я киваю: да, и она начинает что-то рисовать или писать, слушая меня.

— А потом детство кончилось. Я не поступил, куда хотел.

— Куда?

— В Щукинское. Папа заставил вернуться и поступать на русский язык и литературу. А потом мама уговорила его перевести меня сюда. Так что, не переведи они меня сюда, я бы не встретился с тобой.

Она улыбается:

— И очень много потерял!

— Не очень, но кое-что — да.

— Что, Саня, что?

— Ели в лесу, например, две — поваленные в снег.

— Это очень много, — серьезно говорит она.

— Твою прекрасную грудь...

Наступает ее очередь смущаться.

— Наталья, что ты написала?

— Разные английские фразы.

— Прочитаешь для меня?

— Конечно. Вот эта “Let's make love, not war” значит «Давайте делать любовь, а не войну», “I love you” — «Я люблю тебя», “I like your love” — «Мне нравится твоя любовь», “Make love always” — «Делать любовь, любить всегда».

— Хорошие фразы и о многом говорят. Чего же мы тогда сидим и ждем?

— Я не знаю, Санечка, это то, что я пытаюсь тебе объяснить, используя уже английские слова. Не только русские.

— Наталья!.. — наши губы касаются, мы целуемся. Она наклонилась над столом, и ее грудь упирается в мой локоть. Жар внутри разливается и охватывает меня.

— Саня, — шепчет она, целуя мое ухо, — я хочу те...

Стук раздается в дверь громко и назойливо.

— Кто там?

— Это я, Саша.

Моя ты ласточка, думаю я про себя, чтоб ты был счастлив долгие годы.

Наталья выпрямляется, а я открываю дверь.

— Добрый вечер, Наташа, — говорит мой брат Б.

— Добрый вечер, Боря, — приветливо отвечает она, как будто он ей не помешал. Тоже.

— Холод на улице дикий, согреюсь у тебя, — он снимает пальто, кладет его на оттоманку и садится на мой стул к столу. Видно, надолго.

— Ты почему сегодня так рано? — просто так спрашиваю я.

— Помешал? Прошу прощения.

— Нет, что вы, — Наталья улыбается, — мы вот с Сашей изучали английский язык.

— И как ученик, как его учения? — двусмысленно говорит он.

— Очень талантливый и способный мальчик, — говорит она определенно.

— Да? — спрашивает многозначительно Б. и поворачивает голову в мою сторону. — Я и не знал никогда.

— Раз уж ты пришел, Б., и от тебя никуда не денешься, — шучу я, — выпьем шампанского.

— С удовольствием, — говорит Б., — а то я после работы как-то плохо чувствую себя. Я себя всегда после работы плохо чувствую. Сегодня раньше даже отпросился, Санчика обрадовать, — он смотрит на меня.

— Да, конечно, — говорю я. — Я очень рад, что ты пришел, рано. — Мы улыбаемся.

— Впрочем, я себя и по пути на работу — тоже плохо чувствую!

— Как ваши больные? — спрашивает Наталья.

— Живы, к сожалению, — отвечает брат, и в голосе его правда звучит сожаление.

Я наливаю шампанское в три граненых стакана и ставлю перед ними. Наталья быстро достает что-то из сумки и кладет на стол большую плитку шоколада.

Я недовольно прожигаю ее взглядом.

— Последний раз, Санечка, честное слово, — поспешно говорит она.

Б. смотрит на нас, не понимая, ему так только б приносили.

Он берет стакан и поднимает его. Не сказать он не может.

— Много о вас слышал, Наташа...

Я стою молча, она смотрит на него.

— Брат мой, по-моему, не на шутку увлечен вами, это хорошо. Большая редкость. Но это все отступление, на самом деле, выпьем за вас, вы и вправду милая девушка, — он смотрит на нее, как по меньшей мере укротитель, похваливший тигра. Очень симпатичного.

Мы чокаемся по старинке, Наталья отпивает два глотка и ставит стакан на стол. Б. выпивает до конца и наливается на шоколад. Наталья отламывает от своего маленького кусочка большую часть и спрашивает:

— Тебе бросить, Санечка?

— Угу, пожалуйста.

Б. смотрит на эту картинку и говорит:

— О, а я так не пробовал никогда. — Он наливает себе шампанского и бросает громадный кусок шоколада.

— Б., тебе кусок пить не помешает? — спрашиваю я.

— Не-а, — говорит он серьезно, — большому куску и рот радуется.

Нищие доктора.

— Санечка, почему ты стоишь, садись сюда.

Она пододвигается на своем стуле больше, чем на половину, и сажает меня рядом.

Мне очень нравится, что вот, это Наталья, и она такая совсем необыкновенная и красивая, каких и не было у

меня никогда, — относится ко мне очень внимательно, и Б. видит все это, реагируя.

Выпив шампанское и доев *весь* шоколад, он смотрит на нас отеческим подобревшим взглядом.

— Ну, чем молодежь занимается?

— Да как тебе сказать, — отвечаю я, — разными вещами.

Достаю из своего пиджака (его бывшего морского капитана) сигареты и зажигалку и кладу на стол, взглядом предлагая брату.

Он берет одну, я подношу ему огонь.

— О, американские! Наташа, конечно, принесла.

— Нет, — отвечает Наталья, — все Санччино, он дает деньги, а я покупаю иногда. — (Я ей благодарен за это.)

— Ну, тогда спасибо, Санчик, — он хлопает меня по плечу. — А чем вы занимаетесь, Наталья?

— Английским языком, это моя специальность. Кончая через четыре месяца институт, но чувствую, что не окончу, — она с улыбкой смотрит на меня.

— Да, — искренне соглашается Б., — он ученик прилежный и неистовый, самый рвущийся из всех, кого я знал, и других стимулирует на занятия.

Я улыбаюсь про себя.

— Вот когда я учился, — говорит Б., и начинается старая история: он окончил школу с золотой медалью, по поводу чего папа страшно горд, всем говорит это, не упуская случая, в особенности мне. И в институте был один из самых умных, это я слышу периодически из месяца в месяц, и эта история его учения мне надоела. Но Наталья внимательно слушает. Даже не улыбается. Прямо такие они серьезные, хоть меня выноси.

Музыка кончается, и я ставлю другую кассету, садясь на кушетку, в стороне.

— Вы учились в Ленинграде, Боря?

— Да, шесть лет.

— Нравится?

— Очень, цивилизованный, культурный город. Вы были там?

— Да. Мой муж из Ленинграда. Родился там. А раньше часто бывала у родственников.

Б. поворачивается назад и немного удивленно смотрит на меня. Как это она при мне говорит о муже?

Я сижу, не реагируя. Мне все нравится, что она говорит. И как она говорит. И раз она говорит, значит, так надо, она ведь умная. Редчайшая похвала и — женщине.

Они беседуют, не обращая на меня внимания. Я сижу в темной части кельи, любуюсь Натальей, даже с Б. она разговаривает так, что можно подумать, он ей нравится. А вдруг да... Я начинаю вглядываться. Б. уже разошелся вовсю, рассказывает анекдоты, артистически их изображая, это его коронный номер. Наталья смеется, улыбается, даже раскраснелась. На меня — ноль внимания. Я поставил другую кассету с музыкой, они даже не заметили. Наконец, наговорившись, на рассказывавшись вволю, Б. вспоминает про меня и говорит:

— Да, а где наш Санчик? — поворачивается и видит. — Ты что это такой тихий сегодня?

Я сижу молча и не отвечаю. Чего на глупые вопросы отвечать.

— Наталья перестала смеяться и тоже смотрит на меня.

— Да, ну я пойду, — говорит Б., видя мое лицо, — спать хочется. Мне всегда спать хочется, а вам, Наташа?

— Как когда, — отвечает она.

Он берет пальто и закрывает за собой дверь.

— Может, ты вообще перейдешь в другую комнату, — зло говорю я, — а я пойду погуляю, чтобы вам не мешать.

— Ну, Саня... Это же твой брат, не могла же я не разговаривать с ним. К тому же ты бросил меня одну с его рассказами и уселился в углу, надувшись. Санечка...

— А смеялась ты, заливалась, тоже из-за приличия?

— Почему, нет. Он интересно рассказывал.

— Ну вот иди к нему, продолжай разговаривать.

— Саня, — она в секунду оказывается около моего лица, — почему ты такой глупыш, скажи?

Она улыбается.

— Какой ты глупый, Саня. Мне никто не нужен, кроме тебя...

Мы увлеченно целуемся, и какое-то время я ничего не соображаю. Как будто все проваливается.

Уже, наверно, поздно, мы даже не замечаем времени.

Она теперь вообще раньше двенадцати домой не возвращается. Как она там объясняет, не представляю. Но мне она никогда ничего не говорит об этом, словом не обмолвится. Совсем не вмешивает меня в свои, те, семейные дела. Не хочет, чтобы я знал или переживал из-за этого.

- Санечка, сколько времени? — спрашивает она.
- Не знаю, Наталья. Испугалась, домой торопишься?
- Наоборот, Санечка, думаю, как бы еще оставаться, подольше.

Какой я глупый и прямовольный, как всегда. А все потому, что не хочу ее просить оставаться и боюсь, что она уйдет.

Опять на столбе с часами полпервого ночи. Мы идем счастливые, прижавшись друг к другу, и ногами подбиваем остатки снега. Март кончается и качается. Или не кончается?

Она берет такси на стоянке, ей подозрительно везет на такси, а я возвращаюсь домой один, в одиночестве. Это и плохо, и хорошо.

Открываю дверь, свет призрачно горит на столе, я его оставил так. Раздеваюсь и беру Шурика журнал «Иностранная литература». Открываю и смотрю в оглавление: Франсуаза Саган «Немного солнца в холодной воде». Нахожу нужную страницу и начинаю читать. Вначале нудно немного, когда рассказывается о герое и его депрессии. Я отчаянно борюсь со сном, и только имя Натали, француженки, ведет меня дальше. Я дочитываю до второй части и думаю: спать. Зато, когда начинается вторая часть, я забываю про сон начисто и читаю до утра. Натали великолепна, она самая что ни на есть женщина, в лучшем, прекрасном смысле этого слова. Она очаровывает меня своей натурой, характером, поступками. И что-то в ней есть схожее с Натальей. Наверно, потому она мне и нравится, не говоря уже об имени. И что-то в этом вообще есть похожее, связанное с Натальей.

Я засыпаю под утро, не представляя, сколько времени, но догадываясь, что уже не столько поздно, сколько рано. Вот и первая хозяйка уже гремит кофейником на кухне, наливая воду.

Я просыпаю все на белом свете, когда слышу очень тихий стук в дверь. Сначала я его вообще не слышал.

- Кто там?
- Это я.
- Наталья! — я снова падаю в постель под одеяло. Она наклоняется, целуя меня.
- Что случилось, Саня? Я все утро прождала.
- А что? — не понимаю я.
- Санечка! — она улыбается, — полпервого уже. Я до двенадцати ждала. Потом схватила такси и примчалась как ненормальная, думала, с тобой что-то случилось.
- Я читал до утра. Наталья, мне правда неудобно. Ты ждала меня...
- Ничего, Санечка, главное — с тобой ничего не случилось, — она смотрит внимательно на меня.
- Иди сюда.
- Можно мне раздеться сначала?
- Только это и...
- Какой ты нескромный, Саня. Я говорю про дубленку.
- Я тоже говорю про нее. А о чем ты думала?
- Жаль, я думала о другом... Какая темная комната, в ней всегда темнота. Как будто создана для любви.
- Я же специально выбирал!

Она смотрит и улыбается:

- Конечно, Санечка, ты все делаешь предупредительно... Ты и меня вьеба...

Она, уже раздетая, лежит рядом со мной.

- Наталья, повернись на живот.

Она послушно поворачивается. Мне нравится ее послушание. (Без единого вопроса.) Я просто без ума от этого. Такая женщина — и слушается, во всем. Я наклоняюсь над ее скульптурной, белого мрамора, спиной. Несколько родинок у плеча. Я целую сначала их. Она глубоко вздыхает. Я начинаю водить языком от крестца до шеи, по длинно-глубокой ложбине позвоночника. Я медленно веду языком вверх, потом спускаюсь вниз, изредка вбирая язык и касаясь губами ее. Она возбуждается. Ее тело двигается, извивается. Она дышит глубоко, так что я чувствую ее дыхание.

Спина ее выгибается, больше, она привстает и упирается на локти. Наконец она не выдерживает, резко поворачивается, охватывает его рукой и сильно вбирает меня в себя — сама. Я делаю какие-то рывки, движения и тону в блаженстве. Я растапливаюсь в волне теплого выходящего желания, меня схватывает, переворачивает и топит эта волна.

— Санечка, — шепчет она, — ты, оказывается, совсем не мальчик. Ты совсем мужчина...

Это будет единственное, что она за время нашей близости и этих прекрасных дней скажет, оценивая мои способности. Но этого будет достаточно.

Она лежит, окунувшись в простыни, а мне видна ее шея, полутень света падает со стола. Смуглый полумрак.

Она лежит обессиленная, ее голова на подушке, которую она всегда низко опускает. И приучила меня, не приучая.

— Саня, — говорит она вполголоса. — Что ты читал до утра?

— Повесть «Немного солнца в холодной воде».

— Я уже о ней слышала, тебе понравилось?

— Там о тебе.

— Я серьезно, Санечка.

— Я тоже, героиню даже зовут Наталья — Натали.

— Можно я возьму, прочитаю сегодня, а завтра тебе верну?

— Значит, мы увидимся завтра? — говорю я и обнимаю ее тело, выгнувшуюся спину.

— Конечно... Санечка.

— Тогда можешь взять и читать — на три дня. И каждый день якобы ты будешь приезжать и отдавать журнал, не отдавая.

— Тебе больше не нужно, чем на три дня?..

— А... я...

Она целует мои губы, потом глаза.

Вдруг она отбрасывает простыню, и я гляжу на ее тело.

Интересно, кто все-таки создает нас и наши тела. Я целую ее грудь.

— Саня, я не могу морить голодом ребенка. Я должна одеться...

— Потом, — бормочу я, и она одевается только через час.

Я лежу и смотрю, как она одевается.

— Саня, отвернись, пожалуйста.

— Не-а.

Она аккуратно нажимает кнопку на лампе у стола. Я так же аккуратно нажимаю кнопку этой лампы у кровати.

— Саня! — она смеется. — Какой ты нехороший мальчик, развращенный.

— Мне это нравится. Это возбуждает.

— Как, опять?! — с поддельным испугом восклицает она.

— Нет, но скоро... когда я досмотрю твое одевание.

— Санечка...

Она берет что-то и уходит. Через десять минут она возвращается.

— Все в порядке? — спрашиваю я.

— Да, — радостно отвечает она, не понимая подвоха. Комбинацию она уже снять не успевает.

— Саня, — шепчет она, — я же только...

Мы идем по снегу, вместо завтрака и обеда — ужинать.

— Наталья, ноги не держат, — говорю я.

— Я думаю, — отвечает она. Смотрит на меня, и губы едва сдерживают улыбку.

Мы сидим в подвалчике-кафе на Таганке, в углу зала. Заказываем мы всего много.

Она переводит дыхание.

— Ну, Саня, ну, Саня, — говорит она, таинственно улыбаясь.

Я смотрю ласково на нее.

— Санечка... — только и добавляет она, опуская взгляд вниз по моему пиджаку.

Кончая поздний ужин, мы выходим на воздух, на улицу.

— Ты когда-нибудь застегнешься?

— Не знаю, — отвечаю я.

Мы идем, никого не замечая. Но на нее постоянно оглядываются. Вначале меня это раздражало, потом я понял, что ничего не поделаешь: не могу же я сцепливать-

ся с каждым... Моя бы воля, выслал их всех на остров, чтобы отучить оглядываться.

Еще один, чуть в столб не ударился.

— Саня, к сожалению, мне пора.

— ?

— У нас гости сегодня, позвал на мою голову, надо хоть как-то приготовиться, сандвичи, что ли, сделать... — она замолкает и смотрит на меня.

— Гости — это важное дело. — Я сворачиваю в переулки, по которым она никогда не ходила.

— Ты не обижаяешься, Санечка?

— Что ты, Наталья. Я все понимаю.

Мы продолжаем идти, она не спрашивает куда, думает, к метро.

— А завтра я приеду с самого утра.

— Да, с самого утра.

— Ой, Саня, это же твой дом.

— Да, — удивляюсь я, — я и не знал. Ты, наверное, ошиблась.

— Нет, вон церковь, — она показывает на купола. — Просто мы вышли с другой стороны.

— Правда, мой дом. Но раз это мой дом, не можем же мы пройти мимо. Это даже как-то непочтительно...

Она улыбается.

— И, самое главное, Наталья, ты забыла свой журнал.

— Какой ты заботливый, Саня, — в тоне ее легкая ирония.

— Стараюсь, — скромно потупя взор, отвечаю я.

— Санечка... — какая она горячая.

— Наталья... — долго не могу согреться я.

Она забирает журнал — и выходит из моего дома в пол-одиннадцатого. Я провожаю ее.

— Сегодня будет бэмц, — говорит она.

— Что это значит?

— Он будет долго и нудно объяснять, кто я такая и как я веду себя. Не так.

— Я не хотел, Наталья, — произношу я.

— Что ты, Санечка, я счастлива... что я была у тебя.

Мне абсолютно неинтересны эти гости и эти снобистские разговоры: — Ах, Ван Донген, ах, мебель из Рима.

— Из-за меня у тебя будут неприятности.

— Мне это безразлично. Просто не хочется, чтобы они болтали, что я плохая хозяйка. И негостеприимная.

— Ты самая гостеприимная.

— Это правда, Саня?

— Правда. Только меня почему-то никогда не пригласила...

Она грустнеет на мгновение, потом вскидывается:

— Посехали сейчас.

— Куда?

— Ко мне. Скажу, что мальчик с курса!

— А губы на морозе обледрила... когда с мальчиком гуляла.

— Да? — Она быстро достает зеркальце из сумочки, такое миниатюрное. — Ой, Саня, правда! А я и не заметила.

— До того ли было...

— Саня, Саня, — качает головой она.

Мы доходим до стоянки такси. Она пустая.

— Я не хочу ехать на такси, успею еще на них насмотреться. Проводи меня до метро, Саня.

Мы входим в метро, я бросаю пятаки, пропускаю ее и иду сам:

— Я провожу тебя до Фрунзенской.

— Спасибо, — она признателенно смотрит на меня. Она всегда была благодарна. — О чем ты думаешь сейчас?

— Сейчас? Я целую тебя, — я целую ее. — Твои глаза, — я целую глаза. — Твою шею, — отодвигаю платок, целую шею. — Твои руки, — я целую ее руки.

— Саня, ты ненормальный, — шепчет она, — весь вагон смотрит.

— Пусть смотрят. Я так долго этого ждал.

— Саня... — ее губы возле моего лица. — Санечка... — губы касаются моих. — Мне будет не хватать тебя.

— Когда? — тревожусь внутри я, почему будущее время?

— Сегодня ночью, — шепчет она.

— И мне...

«Станция "Фрунзенская", следующая "Спорт..."».

Мы выходим на платформу.

— Я посажу тебя, — говорит Наталья.

— Постарайся не показывать свои губы.

— Я не буду, Саня.

— А то как-то неудобно получилось, я совсем забылся.

— Это хорошо, глупый, ты почаше забывайся.

Подумав, она говорит:

— Позвони мне завтра все-таки, как обычно.

Поезд закрывает двери, и я не вижу ее плывущего в волне моей памяти и упывающего лица. Мне не нравится это «все-таки» и «позвони», какой-то осадок, но потом думаю, что ничего, меня не убдет, если я позвоню с утра.

Я делаю пересадку на кольцевой и еду обратно.

— Сколько времени? — спрашиваю я.

— Четверть двенадцатого, — говорит какая-то женщина.

Я ей искренне сочувствую. Как она будет объясняться?

Иду один по улице назад. Я почти счастлив, если бы еще она была со мной, ночью, и никогда не уезжала. Никогда.

Подушка и постель хранят запах ее несравненного тела и английских духов, которыми она дышится. С этим запахом, в мечтах, я и засыпаю. Ночью мне снится она, что она гладит мой лоб и говорит: «Саня, я пришла».

Я просыпаюсь с чувством, что я все проспал. Я вскиваю как ненормальный или, в лучшем случае, помешанный. (Как будто помешанный — это лучший случай ненормального.) И, натянув толстый свитер на голое тело, без рубашки, бегу к автомату. Двушки я нахожу на столе, оставленные ею с вечера. Это вечно проблема, она знает и предусмотрительно заботится об этом.

Номер, конечно, срывается, я набираю снова.

— Наталья?

— Да, Санечка.

— Почему у тебя такой голос, что случилось?

— Я еще сплю, читала до утра.

— Я тебя разбудил, значит...

— Это хорошо. Саня, мне надо ехать срочно в

институт. Я вчера пришла домой, мне передали, что звонили из деканата, чтобы я немедленно пришла.

— И когда мы увидимся? — голос мой опускается.

— Сразу, как я освобожусь. Я сейчас собираюсь и еду, это займет не больше чем три часа.

— Я буду ждать тебя, — я опускаю трубку.

Наконец нахожу глазами столб с часами — половина двенадцатого.

Я возвращаюсь домой и иду умываться. Холодная вода всегда действует на меня неприятно. Я ставлю чайник и иду в комнату, ждать его закипания.

Какое сегодня число? Дни перемешанные, не обращаю внимания даже. Только и вижусь с ней все дни.

В институте вообще не был с черт-те когда. Ну, что сейчас март, я вроде знаю, и что он начался не меньше недели назад, тоже догадываюсь, а может, и две. Какой-то праздник должен быть в марте. А какой? Когда учиться не надо, но я и так не учусь. Календарь бы сейчас, где-то же у меня был. Вспомнил, в ежегоднике, где я иногда делал записи мыслей (они у меня иногда появлялись раньше). Я нахожу ежегодник в детской кроватке; вся одежда ее и моя бросается туда, когда... В общем... но как ежегодник попал туда?

Я открываю его, в нем календарь прошлого года. Тыфуты! Стоило искать. Потом я вспоминаю, если прибавить один день в нынешнем году к дню прошлого года, то число будет одинаковое. Итак... а какой сегодня день? Четверг или пятница. А может, уже суббота. Нет, в субботу она б не приехала. Пятница, решая я и смотрю в календаре четверги прошлого марта.

О! Сегодня 7-е марта..А?! Завтра же женский день! Меня как током пробило. Она мне ничего не сказала. Вообще-то она и не должна ничего говорить. Я сам должен знать. Что она мне скажет: «Завтра праздник, учти, Саня, не забудь про меня!» Ведь чуть не забыл, прозевал бы поздравить, и это самую что ни на есть женщину, лучшую!

У меня еще есть два часа. Я быстро одеваюсь и выбегаю на улицу.

В центре есть хороший магазин с игрушками. Я приезжаю туда и захожу, споткнувшись, внутрь. В отделе

плюшевых игрушек сидят несколько медведей, один лучше другого. Я бы их всех купил, жалко разлучать, но у меня не хватит. Деньги — шестое чувство, без которого вы не можете пользоваться в полной мере остальными пятью.

— Девушка, какой самый лучший медведь?
— Который самый дорогой, — резонно отвечает она.
— А сколько стоит самый дорогой?
— Девять восемьдесят, — отвечает она.

Я достаю из кармана деньги, даже не знаю, сколько их у меня. Десятка и чуть-чуть серебра. Откуда у меня эта десятка?

— Дайте самого дорогого.

Она упаковывает его в большой прозрачный пакет. Медведь громадный, такого рыже-медного цвета и чем-то смахивает на меня, или мне кажется? Глаза у него бесподобные, две бархатные шоколадки.

Я выхожу из магазина и останавливаюсь на остановке троллейбуса, лень в метро спускаться.

Я иду по Таганке с огромным медведем, и все обворачиваются на меня.

Записка так и торчит в двери, оставленная на всякий случай. Наталья еще не была. Я отпираю дверь ключом и ставлю медведя в шкаф. И тут я вспоминаю: женщинам еще дарят цветы. Но денег вроде нет, мелочь серебряная, сорок копеек. Стук тихо раздается в дверь, и я скачу открывать, едва не падая.

Она заходит, сияющая.

— Здравствуй, Санечка.

Мы не целуемся, мы никогда сначала, просто так, не целуемся.

— Наталья, почему ты не хочешь, чтобы я тебе ключ сделал? Не могу же я бегать к двери все время, — (хотя я б только и делал, что бегал. Ей открывать).

Она молчит.

— Наталья?

— Я не хочу стеснять тебя... твою свободу.

— Мне нечего скрывать от тебя.

Она кивает, но не соглашается.

— Какая ты упрямая!

— Вся в тебя. Саня, я так скучала по тебе, думала, не выдержу.

— Как ты домой вчера пришла?

— Я не хочу об этом.

— Но...

— Все в порядке, не волнуйся. Я зашла, гости посмотрели на меня, он попытался что-то сказать, я фыркнула и ушла в спальню, для вида хлопнула дверью, будто я разозлена, и читала до утра.

— Ты даже «фыркать» умеешь? — улыбаюсь я, переведя разговор.

— Не на тебя только, Санечка.

— На дочь?

— Что ты! — она полупугается, — я на нее даже громкого слова никогда не сказала. Я хочу, чтобы она выросла нормальной и не дерганой.

— Ты хорошая мама?

— Да, — отвечает она, — хочешь, я тебя усыновлю, Саня?

Я смеюсь, падая со стула и катаясь по кровати.

— Глупый, что тут смешного? — она серьезно смотрит на меня.

— Если только разрешишь припадать к твоей груди, я согласен.

— Хочешь припасть сейчас?

— Да, — говорю я и подкатываюсь к ее ногам.

— Какой ты глупый, Санечка. — Она опускает руку и гладит мое лицо. Я захватываю зубами несильно ее пальцы и втягиваю в рот до самого конца.

— Саня, я руки не мыла, — а сама подставляет мне ладонь.

Я кусаю — целую ее ладонь.

— Саня, я тебе бутерброды принесла, а то ты ругал меня, что я тебе не готовлю никогда, — она смотрит сбоку на меня.

Я даже поперхнулся:

— Наталья, как тебе не стыдно! Во-первых, я тебя не ругал никогда и делать этого не собираюсь, а во-вторых, мне не надо, чтобы ты готовила.

— А в-третьих, Саня, ты много говоришь... ты поцелуешь меня?

— Да... — я целую ее грудь сквозь кофту, слегка прикусывая, и чувствую, как она вздрагивает.

— Я замерзла, — шепчет она.

— Сначала чай, Наталья. И... я не ел с утра.

— Ой, какая же я эгоистка, совсем не подумала. Я приготовлю, ладно? Ну, Саня, ну один раз.

— Хорошо, — с царственной небрежностью соглашусь я.

Я ставлю музыку. Она возвращается, достает из сумки громадные бутерброды, завернутые в целлофан, — ими хватило бы накормить слона. Достает пачку сигарет и зажигалку.

— Я принесла тебе другую зажигалку, в той газ должен скоро кончиться.

— Очень тебе признателен. Я очень просил тебя.

— Ну, Саня, что ты как маленький. Я же твоя...

Голова моя вскидывается, это произносится впервые. Она смотрит мне в глаза.

— Почему же я не могу о тебе заботиться, уделять тебе внимание. Не можешь же ты делать это все время только для меня. Игра в одни ворота всегда нехорошо кончается.

Я киваю головой «да».

— Ты не ответил, я же твоя?

Я молчу.

— Саня?

— Нет. Ты — чужая.

Она вздрагивает как от удара.

— Почему?

— Потому что ты чужая жена. Я ворую тебя, прячу. Потому что ты не можешь остаться на ночь у меня. Моя сокровенная мечта: чтобы проснуться утром и твоя голова лежала на моей руке.

Она опускает глаза, ничего не говоря.

— Я понимаю, я должен быть тебе благодарен и так, тому, что ты делаешь для меня...

— Я, к сожалению, ничего не делаю для тебя... Я все делаю для себя.

— ...Проводишь со мной столько времени, возвращаешься поздно, рискуешь, никогда ни в чем не отказываешь мне, нянчишься и бережешь, как ребенка, всему потакаешь, всем капризам, но...

Я осекаюсь, увидя ее глаза.

— Прости, Наталья, — я сжимаю ее лицо так, что губы у нее сдвигаются. — Я виноват, сорвалось.

— Что ты, Санечка, я понимаю, это нормально... — она целует меня сжатыми губами, потом отклоняется и долгоглядит на меня. Сколько всего в ее взгляде.

— Чайник, наверно, вскипел, ты голодный, — говорит она.

— Думаю, что да, — соглашаюсь я.

Она уходит и почему-то долго не возвращается с чайником из коридора. Потом возвращается, но без чайнника. Я смотрю на нес.

— Ой, Саня, какая я рассеянная, чайник забыла...

Она даже смеется и уходит, не взглянув на меня.

Мы сидим и пьем чай. Она вкусно заваривает его. Как и все, что она делает, — вкусно.

— Наталья, ты хорошо заварила чай.

— Да? — она не верит.

— Да. Только еще бы сахара, уж если ты накрываешь. Она встает и открывает дверцу шкафа. И натыкается. Он сидит на полке в одиночестве.

— Саня, кто это такой?!

— Я не знаю, кажется...

Она достает и глядит внимательно.

— Какой прекрасный мишка! Тебе его подарили?

— Нет, это я его собираюсь дарить.

— Кому, если не секрет?

— Это большой секрет, но если ты его никому не расскажешь...

— Нет.

— Есть такая девочка Натальинька, это для нес.

— Саня!.. Спасибо большое, правда, для меня?

— Да.

Она целует меня, развязывает целлофановый пакет и достает его оттуда.

— Саня, он похож на кого-то! — восклицает она. — Я теперь с ним спать буду.

— Думаешь, заменит?

— Да, по ночам, дома, — не понимает она.

Я еле сдерживаюсь, не улыбаюсь.

— Что, я что-то не то сказала? — Она прижимает медведя к себе. — Саня?

Я смеюсь.

— То ли я развращаю тебя... не успела получить медведя, как уже спать с ним собираешься. А как же я?
Смеется.

— Саня, какой ты пошлый, — она целует меня, приводя к себе медведя.

— Чай остывает, — говорю я.

Она любуется медведем. Потом задумывается.

— Как ты хочешь, чтобы я его назвала?

— Кого? — не понимаю я и думаю — неужели... — у тебя что, не...

— Какой ты глупый, Саня! Медведя!

— А-а, — облегченно вздыхаю я, — не знаю.

— Я назову его «Саня». Он будет тобой.

— Все время?

— Только в твоё отсутствие, — она гладит его ухо.

Я наконец-таки наедаюсь, впервые за последние три дня.

Она задумалась и смотрит на меня.

— Что ты смотришь, Наталья?

— Мне нравится смотреть на тебя.

— Да? — я смущен.

Я целую ее руку, не занятую медведем.

Свет гасится, тлеет только огонек моей сигареты. Я не вижу ее лица.

Она садится ко мне на колени. Я едва успеваю отвернуть сигарету.

— Хочешь, я раздену тебя сама?

— Очень, всегда мечтал.

— Я правда, Саня.

— Я тоже правда, Наталья. У меня это даже — возвращенная правда.

Я чувствую, как в темноте она улыбается. Мы стоим обнаженные, и я обнимаю ее тело стоя.

— Я замерзаю раздетая, — тихо говорит она, касаясь моего уха.

Я отпускаю ее, поднимая на руки, чтобы пронести два шага.

— Саня, можно я возьму с собой медведя, — шепчет она.

— Он еще маленький для этого, Наталья!

Проходят мгновения, проплывают минуты, проносятся часы.

— А теперь можно я возьму медведя?

— Да. А разве ты его не взяла?

— Нет.

— Я и не заметил. А что ж это тогда было?

Она отвечает, засмущавшись:

— Это я была.

Мы засыпаем в объятиях друг друга. И первое, что я чувствую, просыпаясь, — это ее голову на моей руке. Она не спит, не дыша.

— Наталья, — я поворачиваюсь к ней, накрывая ее грудь ладонью.

— Да, Саня, — она поддается моим.

— Ты спала?

— Сначала.

— Потом?

— Потом слушала твоё дыхание и боялась разбудить тебя. Ты так забавно дышишь во сне. Совсем как маленький.

Я сжимаю ее грудь.

— Саня, у тебя явно не детские объятья...

— Где твой миша?

— С другой стороны от меня.

— Среди двух мужиков...

— Да, — смеется она, — и оба одинаковые.

— Кого же ты предпочитаешь?

— Какой ты глупый, Саня! Конечно, тебя, — она умолкает.

— То-то же! — удовлетворенно откидываюсь на подушку я.

— Он-то со мной всю ночь будет... — добавляет она.

— Наталья, сколько времени?

— Выгоняешь уже меня?

— Нет, но поздно.

— Я остаюсь у тебя до утра.

— Как это? — не понимаю я.

— Очень просто, — отвечает она, — лежа. У тебя никогда женщины не оставались до утра, Санечка?

— Э... да... то есть... не... э.

— Саня, какой ты забавный!

— Ты правда можешь остаться, Наталья?

— К сожалению, я должна вернуться. Я тоже хоть раз хотела: встать с утра, приготовить тебе завтрак, дать его в постель... и не вставать до вечера.

— Наталья, — я целую ее губы, подбородок, — спасибо за эти слова.

— Только слова, — грустно говорит она.

Снег на улице только по бокам, сугробами. Совсем поздно, ни души.

— Видишь, Наталья, так и не удалось мне искупать тебя в ванне с шампанским. Даже ванны нет.

— Но я это мужественно переношу. А, Санечка?

— Что это? Ванну или шампанское?

Она несет медведя под мышкой. Такой большой и такой рыхкий. Мне не дает, чтобы я помог.

— Саня, я сейчас что-то скажу тебе, только отнесись к этому нормально. Ладно?

— Угу.

— Я завтра не смогу увидеть тебя. И мама вечером звонить должна.

Я смотрю внимательно на нее.

— Ну, Саня. Он хочет пригласить меня куда-то. Мне это совсем не надо. Но не могу же я сказать, что иду к подруге заниматься 8-го марта. Это семейный ритуал в течение пяти лет.

— Ты в девятнадцать вышла замуж?

— Да, — вздрагивает она от неожиданности.

— Не рано? — шучу я.

— Очень рано, ох, как рано, — серьезно отвечает она, — одна награда — Аннушка. Все, что есть у меня, — и ты... Не послушала тогда маму. Родители всегда желают нам добра. Только мы поздно это понимаем.

— Я тоже позову маме, поздравлю ее с праздником завтра.

— У тебя есть деньги? — спрашивает озабоченно она. — А то ты их все тратишь на ме...

— Наталья! У меня полно их, не надо об этом.

— Хорошо, Санечка, только не обижайся.

— Я не обзываюсь на тебя, — успокаиваюсь я.

Мы пересекаем площадь, подходим к стоянке такси. Стоят два. У одного зеленая лампочка.

— С праздником, барышня, — говорит таксист и садится везти ее.

— Это же только завтра, — отвечаю я, хотя и не барышня.

— Почему завтра, это уж пять минут как сегодня, — улыбается он.

Я наклоняюсь к ней.

— Наталья, поздравляю тебя... этот праздник, как никому, принадлежит тебе. Ты самая, — я не нахожу других слов, — что ни на есть женщина, ты... прекрасная.

Мы целуемся. Она обнимает меня рукой, целует в губы, в глаза.

— Спасибо, мой родной, Санечка...

Восьмое марта. Я просыпаюсь, наверно, далеко после полудня. Сколько времени? Я лежу и жду сигналов радио. Наконец раздается: два часа, потом голос диктора: «Дорогие женщины...» Пора вставать, думаю я. Или не пора вставать.

До чего же это мерзкое чувство — голода. Особенно когда есть нечего. Брат, по идеи, дома, надо хоть рубль занять, иначе живот прилипнет к тому месту, которое зовется спиной. Так Наталья и увидит меня: сплющенной пластиночкой.

Я стучу к нему в дверь.

— Борь, открой.

Дверь открывается, я захожу. Он сидит за столом и пишет письмо.

— С праздником тебя, — говорю я
Он улыбается:

— Что, я уже стал женщиной?!

— Так принято, поздравлять с праздником. Борь, я голодный, зайди мне рубль. Отдам, как получу перевод.

— Куда ты дел деньги? У тебя вчера было десять рублей.

Он всегда все знает, и сколько.

— Так, растратились. Куда-то...

— Нет, ты мне все-таки скажи, куда ты их дел за один день, за вчера.

— Купил Наталье медведя.

Он вдруг заводится:

— Значит, ты думаешь, что ты будешь своим бля..., бабам покупать подарки на последние деньги, воюющим джентльменом прикидываться, когда жрать нечего, а я тебе из своих, заработанных трудом, денег рубли должен занимать?!

Его даже перекорежило. Я не ожидал такого: я ведь голодный. Я смотрю пристально на него, долго смотрю, и не верю: неужели это мой брат?

Меня тошнит, но не от голода, я не пойму отчего.

— Извини, Боря, — говорю я, поворачиваюсь и ухожу... Он не останавливает меня, даже не пытается. Как будто какая-то кувалда падает, оглушая. Я совсем не собираю.

В комнате у меня горит свет и пусто. И такой одинокий я. Есть только Наталья, но я и ей не нужен, у нее своя семья. На второе место среди страшного — после ожидания — я ставлю одиночество, когда ты один и никому не нужен.

Я одеваюсь и, заткнув руки глубоко в карманы, а лицо в шарф, иду к Таганке. В метро я делаю пересадку на кольцевой и сду. Я выхожу в Лужниках и иду в одиночестве. Совсем пусто, снег лежит нетронутый и даже скамьи под снегом. Я дохожу до арены, которая тогда была залита и лед блестал. Совсем напротив музея нахожу лавку в

снежных деревьях и сажусь, не сметая снега. Благовозвестная тишина, как перед свершением.

— Мальчик, хочешь булку? — он стоит передо мной и протягивает ее. Я слатываю слону.

— Нет, спасибо, я не хочу. — Мне неудобно. К тому же невдалеке стоит его мама и смотрит.

— Она сладкая, мама заставляет, а я не могу. Съешь, а, мальчик.

Неужели у меня и глаза голодные, с ужасом думаю я.

— Как тебя зовут? — спрашиваю.

— Гоша, — отвечает он розовыми губками. Как у ангелочки.

— Ты думаешь, я голодный, да?

— Нет, — отвечает он, глядя на меня, — просто булка мне не нужна.

Счастливый, думаю я про себя.

— Тебя мама ждет, Гоша, — говорю я.

Он поворачивается к ней.

— Да?

— Я так думаю, — его мама юна и красива.

Интересно, какая дочь у нее? Должно быть, лучшая, потому что это Наталья.

— Я пошел, мне пора.

— Я рад, что встретил тебя. Ты хороший малыш, Гоша.

— Можно я поцелую тебя, мальчик?

Я подставляю ему щеку, он целует меня.

Какой воспитанный мальчик, думаю я. Он бежит по снегу, подбегает к маме, она берет его за руку. Они двигаются от меня. Мне нравится, что она не сказала ему ни слова, вы понимаете, ни одного слова, ну то, что он целовал меня, незнакомого. Мне это нравится, просто взяла за руку и пошла. Они вдвоем, среди снега. Наверно, она одинока, если гуляет здесь восьмого марта одна. Я думаю, может, подойти познакомиться. Потом вспоминаю: у меня же есть Наталья, мне стыдно. Это первая женщина, на которую я обратил внимание с того времени, как встретил Наталью. Они ушли уже далеко, и неожиданно она повернулась, мне показалось, что это из-за меня, что она взглянула на меня. Или мне это показалось? Просто почудилось. Господи — из-за меня!

Они взялись ниоткуда и исчезли в никуда. Неужели мне теперь будут нравиться только женщины с детьми? А что мне в ней понравилось? Что обратило внимание? Наверно, материнство. То, что у нее есть сын. Но это тоже только благодаря Наталье, что-то изменилось внутри меня. Впрочем, она была красивая женщина. Почему была, она есть. Идет сейчас, держа малыша за руку, к метро, не сбивая снега с сапог.

Больше никого, наверно, в Лужниках: они и я. Они удаляются, она останется чужая, она не будет... А интересно, я ей понравился?

Я вскакиваю, потом бегу. Я настигаю их у самого входа. Там, где чугунные ворота черного цвета. Почему ворота всегда черного или мрачного цвета?

— Простите. — Она поворачивается, я не могу отдохнуть, она мягко улыбается, глядя на меня, мое выбившееся кашне.

— Да?

— Я... я вам понравился?

Она отвечает так, как будто ждала этого вопроса:

— Да. Вы понравились малышу, значит, вы понравились и мне. Это не бывало, чтобы он кого-то целовал на улице. Он никогда не целует никого, кроме меня.

— Мальчик, как ты нас догнал? — спрашивает он.

Какое у нее красивое лицо, мне начинает казаться, что она — это она. Она так ласково глядит на меня, так тепло.

— Случайно. Бежал, бежал и наткнулся.

— Это неправда. Мама, это правда?

— Да. Такое иногда случается, когда взрослые мальчики бегают, бегают и случайно натыкаются... на тебя.

Она смотрит в мои глаза.

— На меня? — спрашивает он.

— На тебя, — отвечает она.

Я уже уверен, что это Наталья. Все смешивается в голове у меня.

— Вы Наталья?

— Нет, у меня другое имя.

— Показалось...

— Пойдем, проводишь нас до метро, — говорит он. Я смотрю вопросительно на нее. Она улыбается и кивает.

— А когда я тебя провожу до метро, что тогда? — Я стараюсь не улыбаться.

— Тогда... — он задумывается, и на его мордашке отпечатываются все маленькие мыслички и их переплетение.

— Тогда мы поедем, а ты останешься. Это же только до метро.

— Мне будет грустно расставаться с тобой и оставаться одному.

— Мама, — он берет ее за руку, — мы возьмем его с собой? Папа же не вернется, ты сказала.

Она вздрагивает. Я гляжу в сторону, чтобы она не перехватила моего взгляда, как будто я ничего не слышал.

Потом гляжу на нее, все нормально.

— Я не знаю, есть ли у вас время? — она в раздумье и смотрит на меня.

— Это зависит от того, как вам хочется. Времени у меня всегда много.

— Мне хочется того же, что и Гош.

Мы улыбаемся чему-то понятному нам двоим, он стоит, и глазенки смотрят на меня.

— Пойдемте, — говорю я.

Он берет за руку меня и подпрыгивает, скача по снегу. Она изредка взглядывает на меня, поворачиваясь, а я иду и смотрю только на него. Вот и красная буква метро. Мы останавливаемся.

— У вас руки замерзли, — говорит она, — хотите чаю?

— Э-э, я не знаю.

— Пойдем, мальчик, — говорит он и, не спрашивая, тянет. У него такая теплая ручонка.

Оказывается, что у нее единственный проездной, и я благодарю Бога, так как бросаю последний пятак, который лежал в кармане. Мы сидим в метро молча, только взглядывая друг на друга. «Станция "Проспект Маркса"». Она живет в центре, на улице Горького. Мы поднимаемся вверх до конфетного магазина.

Уже все закрыто, праздник. И улица Горького почти пуста, начали праздновать. Рано. А может, и не рано.

— Сколько времени сейчас?

— Половина седьмого. Вам куда-то надо? Сегодня ведь праздник...

— Нет, у меня провал свободного времени. Да, поздравляю вас с праздником, сегодня же...

Она улыбается.

— Спасибо.

В подъезде сырьо, старые московские дома. Мне кажется, что она живет с соседями и сейчас все они вывалит и станут глазеть на меня. Она живет одна, и в квартире стоит темнота, пока она не включает свет. Чувство голода у меня пропало, исчезло совсем.

— Раздевайтесь, — говорит она.

Я скрываю верхнее с себя.

— Мальчик, подержи варежки, пожалуйста.

Он сам раздевается. Такой забавный малыш. Все старается сам.

— Почему ты не спросишь, как его зовут, Гоша? — спрашивает она. — Наверно, это неприлично говорить все время «мальчик» да «мальчик».

— Мальчик, а как тебя зовут? — мы все смеемся.

— Саша, — отвечаю я.

— Очень приятно, — говорит она. Она уже раздета, тонкая вязаная кофта обнимает ее стройное тело. Пожалуй, она красивее Натальи, решаю я.

— Вы мне не сказали, как вас зовут.

— Мама, — отвечает Гоша.

Она впервые зконко смеется. Не сдерживая себя.

— Меня зовут Иванна.

— Какое редкое имя.

— Родители любили имя Иван, но я не родилась мальчиком. Оказалось, что есть женская форма имени.

— Иванна, очень красивое имя.

— Спасибо.

— Нет, я правда.

— Я тоже. — Она улыбнулась. — Заходите. Гоша, покажи куда.

Малыш берет меня за руку и заводит в комнату. Она включает за нами свет. Комната освещается. Очень высокие потолки, просторно. Такие уже не строят. Мебель,

расставленная со вкусом, не мешает, мне становится как-то уютно. Я подошел к окну, малыш стал рядом со мной.

— Я только чай поставлю.

Я повернулся:

— Да, да, пожалуйста.

Она ушла, вышла в дверь.

Из окна сверху видна улица Горького, магазин «Театральный», людей нет, редкие такси пролетают, спеша. Таксисты всегда куда-то спешат, носятся, особенно в праздники. Я имею в виду, нормальные таксисты.

Интересно, что сейчас делает Наталья? Сидит, наверно, в ресторане со своим мужем и не думает про тебя, ответил я сам себе.

— Саша, тебе нравится вид отсюда?

Откуда он знает такие вещи, подумал я.

— Да, очень. Я люблю, когда пустынно.

Внизу, как тайные светлячки, светили фонари, склоненные на длинных столбах. Похоже, начинался снег. На кухне послышался звук, как будто что-то упало. Через мгновение в дверях появилась она. У нее был не то что виноватый, но какой-то растерянный вид.

— Гоша, я разбила твою чашку...

Он повернулся от окна и спокойно ответил:

— Ничего, мамочка. Сегодня я тебя прощаю, у меня есть вторая.

Она улыбнулась:

— Спасибо. А почему именно сегодня?

— Так, — ответил он загадочно.

— Может, на счастье, — пошутил я. Я вдруг испугался того, что он может сказать. Она провела рукой по волосам и вышла. — Гоша, сколько тебе лет? — не утерпел я.

— Пять, — ответил он.

— А говоришь ты и рассуждаешь, как взрослый мужчина.

— Я должен быть взрослым и должен быть мужчиной, потому что я... один у мамы.

Мне стало грустно. И какой идиот может бросать такую женщину и такого мальчика. Такую мать и такого ребенка. Тот, кому надо бросить, не бросит...

Она внесла на поднос чай, варенье, сахар, что-то печеное. И стала расставлять это на столе. Потом ушла и вернулась, на поднос были тарелки с разными бутербродами, отдельно сыр и отдельно масло.

Все сели к столу, и Гоша стал наполнять сахаром свою вторую, неразбившуюся чашку.

Мне было тепло и хорошо. Почему у них так уютно в квартире? Я не мог понять. Но было настолько уютно, что даже не хотелось двигаться. А надо было вставать — мыть руки.

— Я сейчас, извините.

— Вишневое полотенце чистое, я только что повесила.

— Спасибо, — я внимательно посмотрел на нее.

Горячая вода согрела руки. Я вернулся за стол.

— Какого вам варенья положить?

Оказалось, их было два.

— Чеховского, вишневого. — Чехов тут ни при чем, это мое любимое варенье.

Она ухаживала за мной. Мне абсолютно не хотелось кушать, перехотелось, вернее. Я отпил чаю и взял печенье.

— У-у, как вкусно. Где вы покупали?

— Это я пекла.

Вечно я ляпну что-нибудь не так.

— Тогда еще вкусней. Можно еще?

Она улыбнулась.

— Конечно, сколько угодно.

— Мама, а почему Саша сидит как в гостях?

Ну, ребенок!

— А ты считаешь, что я дома, Гоша?

— По крайней мере не в гостях. У нас гостей уже полгода не было...

— Гоша... за столом нужно есть, а потом будешь разговаривать.

— А как вы его печете? — перевел я разговор.

— В духовке, — у нее в розетке тоже вишневое варенье.

— А, да, естественно, — я засмеялся.

— Только редко это делаю. По-моему, с Гошиного дня рождения в декабре первый раз.

Я взглянул на нее, она ответила открытым взором, чистым, уверенным, ни капли не смущающимся. Встретила меня на улице, а теперь я сижу у нее дома.

В комнате все было какое-то старинное и одухотворенное.

— Этая мебель, видно, давно куплена, — сказал я, надо было что-то сказать.

— Да, это еще от родителей, — ответила она.

— А где они?

Она стала грустной.

— Без вести пропали в полярной экспедиции.

— Простите, я не знал.

— Ничего страшного. Я все равно надеюсь и не верю. Второй год живу и верю.

Я опустил поднятую ложку в розетку.

— Мама, а что такое «без вести»?

— Это когда почтальон не приходит и не приносит письма, значит, без вестей.

— А когда он приходит, то, значит, с вестями?

— Правильно, Гош, ты все понимаешь с полуслова. Я старый по сравнению с тобой, а так быстро не схватываю.

— Какой же ты старый, — он засмеялся. — Мама, Саша разве старый? Он даже моложе пап...

— Гоша, ты сейчас едва не уронил стакан. Пожалуйста, осторожно. — (А у Гоши была чашка...)

— Я хочу чаю еще.

Она встала и ушла.

— Мама сегодня необычная. Не просит спать меня, хотя уже поздно.

Я слушаю его внимательно.

— Вы первый, кто у нас в доме, с кем мама разговаривает... как папа ушел.

— Давно?

— Год назад...

Она принесла малышу чай, и он замолчал.

— Гоша, это последнее. Тебе не кажется, что пора спать?

Он взглянул на меня и улыбнулся.

— Мама, один раз только, ведь у нас в гостях Саша.

— Так я в гостях, Гоша, или нет?

Он засмеялся, потом задумался.

— Почему вы ничего не едите? — она озабоченноглядит на меня. — Прошло уже три часа, как мы встретили вас, вы должны были проголодаться.

Меня трогает ее забота, совсем как мой брат...

— Спасибо, я не хочу.

Я вообще не могу кушать в домах у людей. Вечно меня что-то сдерживает, смущает.

— Только, пожалуйста, не стесняйтесь. Чувствуйте себя как... ну, в общем, свободно.

— Мама, я выпил. Еще.

— Гошенка, что с тобой? Пойдем спать, мой милый.

Он смотрит на меня вопросительно, я не вступаюсь, молчу.

Он соскальзывает со стула, подбегает ко мне, наклоняет мою голову и шепчет:

— Ты предатель, — и целует меня возле уха, в висок.

Я смеюсь и говорю ему:

— Я исправлюсь.

— Не забудь, — предупреждает он, и она уводит его из комнаты.

Когда она возвращается, чашка моя пуста, я стою у окна.

— Вам нравится?

— Да, я люблю эту улицу, когда она пуста. И сверху все хорошо видно.

— Чем вы занимаетесь, Саша?

— Я преступник. Знакомлюсь с молодыми матерями и их детьми, потом ворую, убиваю, продаю.

Она не улыбается.

— Сколько вам за это платят?

— Ничего, это как хобби. Как пиратство. Душа просит.

— Вы меня тоже собираетесь воровать?

— Позже, сегодня неудобно, вы меня так приветливо угождаете.

— А вы ничего не едите. Так за сколько же?

— Такой цены нет. Не назначена еще...

— Это правда?

— Да.

— Спасибо... — она впервые растерянна. — Вы очень

интересный, какой-то необычный, так мне кажется. Это правда?

— Я не знаю сам себя. Вообще ничего не знаю.

Она стоит у окна и смотрит. Темно за окном, и теперь я вижу, что падает снег.

— Иванна, можно я закурю, это не помешает малышу?

— Да, конечно, пожалуйста.

Я иду в коридор и беру из дубленки сигареты и зажигалку. Натальи.

Она подает мне пепельницу. Белую, из моржового клыка.

— Это папина...

— Спасибо. Вы хотите закурить?

— Не сейчас, я курю только одна. Очень редко.

— Не будьте грустной, пожалуйста, сегодня ваш праздник.

— Я не буду.

Она зябко охватила красивые плечи. Никогда не ожидал, что встретится женщина красивей Натальи. Впрочем, Наталья не красива, она очаровательна.

— Он заснул уже?

— Да, он быстро засыпает. Такой беззащитный.

— Я тоже всегда хотел наследника. Девочек ненавижу. Ее глаза широко открыты.

— Я имел в виду, что наследник должен быть мальчик и должен продолжать твой род, имя. В общем, я бы не хотел, чтобы у меня была девочка.

— Но вам еще рано, — она смотрит на меня. — Или уже решили?

— Я планирую на будущее, лет через десять.

Она смеется:

— А я всерьез приняла.

— Что вы, я ничего всерьез не говорю. Разве что... вы — красивая.

Она не смеется и даже не улыбается. Когда она поворачивает лицо, по щеке ее катится слеза.

— Я не хотел вас обидеть, — мне ужасно неловко. Сосвем не по себе.

— Это нечаянно, моя вина. Сейчас пройдет. Какая-то я нервная сегодня.

— Вам завтра рано вставать?
 — Да, но это не играет роли, вы можете посидеть еще.
 — Поздно совсем, мне неудобно.
 — Вам далеко ехать?
 — На Таганку.
 — На улице холодно, может, вы останетесь, у нас есть свободная комната, совсем пустая. Я с Гошой сплю.
 На сей раз мы внимательно погружаемся в зрачки друг друга.

Она, кажется, немного смущена и добавляет:

— Пьяных на улице много, я их боюсь всегда. Мне кажется, что вы не сдержитесь, если к вам пристанут. А это страшно, особенно в праздники.

— Пустяки, — улыбаюсь ей, — я убегу.

Она неверяще улыбается.

— Спасибо за приглашение и заботу. Я хочу еще позвонить маме с телеграфа, поздравить.

— Вы можете звонить от нас.

— Спасибо. Вы очень добрая.

— Я такая, как и все.

— Думаю, что другая. Но это непедагогично...

— Вы педагог?

— Собираются сделать из меня, но я не сдаюсь.

— Я тоже когда-то училась в университете, но когда это было! Я забыла.

Я поднимаюсь.

— Большое спасибо за чай и угощение. Вы правда вкусно печете. Не забывайте этого...

Она смотрит на меня, и нижняя губа у нее вздрагивает. Я накидываю дубленку. Она приносит мне забытую зажигалку со стола.

— Может, я ее забыл как повод...

Она говорит, глядя мне в глаза:

— Вам не надо повода.

Я не отвечаю. Я целую ее руку и выхожу из дома.

Лифт застревает между этажами. Старые дома. После моих нехороших ударов по красной кнопке ондвигается дальше.

На улице метет, как в середине января. Я утыкаюсь в кашне, руки засовываю в карманы.

До телеграфа я дохожу быстрым шагом, почти добегаю, улица спускается вниз.

— Девушка, Грязный, пожалуйста, за счет вызываемого: два-тридцать пять-семьдесят пять.

— Кого?

— Маму.

Она смеется.

— Ждать надо два часа.

На часах над ее головой уже половина двенадцатого.

— Ну, милая девушка, хорошая. Поздно. Пожалуйста, через полчаса, а?

— Не могу, линия перегружена.

— Вы самая лучшая девушка в Москве, неужели не сможете?

— Ну хорошо, ждите, я постараюсь.

Я сажусь на стул. В зале почти пусто, празднуют все. Какая-то бумажка тыкается мне в ладонь в левом кармане. Вроде раньше она там не была. Я достаю и смотрю, что это такое. Голубой прямоугольник бумаги, что-то написано синими чернилами.

«Это мой телефон: 299—80—35. Я не прошу, чтобы звонили. Но если у вас будет когда-нибудь желание. Вы очень ему понравились, он наверняка захочет вас увидеть; и я.

Иванна».

Я кладу прямоугольник в карман. У меня есть Наталья, и никто не существует, кроме нее. Хотя она...

«Грязный, кабина седьмая».

Умница, думаю я, как быстро.

— Мамуля, ты спиши? Здравствуй, родная. Поздравляю тебя с праздником, желаю тебе много счастья, радости, успехов, исполнения всех твоих желаний.

— Спасибо, сыночек. У нас гости: Вощаки, Клишевские, Берточка с дядей Евелем, — (мои любимые тетка и дядя), — все тебе передают привет и любят тебя. А ты откуда, как праздник?

— Тоже в гостях был.

— Новые увлечения?

— Нет, мать, старые терзания.

— Сыночек, ты питаешься нормально?

— Да.

— Смотри береги себя. Одевайся тепло. В Москве такая ужасная погода, сырья. Папа скоро приедет в Москву: у него утверждение диссертации должно состояться.

— Это хорошо, мам, — говорю я. — У вас все нормально?

— Подожди, папа хочет тебе сказать.

— Сынок?

— Папуся.

— Как ты там? Живется неплохо?

— Лучше всех, папа! Спасибо.

— Денежек подбросить?

Батя, конечно, выпил традиционный бокал шампанского, даже не говорит «пока, пока, пока», так как звоню за счет вызываемого.

— Как тебе сказать...

— Предыдущие небось растратил.

— Еще как.

— Транжир же ты, Сашка! А дедушка твой что говорил: что нужно жить с расчетом. Я тебе вышлю завтра. Так и быть, двадцаточку пошлю.

— Пап, это мало...

— Если только мать добавит... Кивает, что согласна. Сорок получится. Плюс перевод, как обычно; пятнадцатого я тебе пошлю. Да ты как король живешь! Я так не жил даже после института.

— Что у вас нового? Где мои друзья?

— У нас все по-старому. Друзья твои живут по-прежнему, по двору шатаются.

— Пап, а как...

— Ну все, пока, пока, пока. Привет тебе от дяди Евеля и всех.

— Па?

— Ну, пока, пока, пока. А то за разговор из этих двадцати рэ вычту. Целую тебя.

— А мама?..

Но трубка щелкает, разъединили.

Никогда с ним не поговоришь по-человечески. Я вы-

хожу из будки с улыбкой: папка, папка... как в жизни все нелепо. (Это я о будущем, сейчас я этого не знаю...)

— Девушка, спасибо большое. Я же говорил, вы — лучшая. С праздником вас!

Она сияет, ей, наверно, никто не говорил, что она лучшая. Я первый.

— Спасибо.

Я спускаюсь по лестнице с телеграфа. Полночь наступала, полночь прошла. Где она сейчас, интересно? Наверно, дома. Вернулась и... дальше я не хочу думать. Он ее муж, но я молю Бога, чтобы он не использовал своих привилегий. Да и она не сможет... Я в это верю.

Я иду пешком, денег нет. Прохожу Дзержинскую, спускаюсь к Ногина, прохожу высотное здание на Котельнической набережной, поднимаюсь по крутому переселку к Театру на Таганке (в который вечно билетов нет).

Таганка тихая и спящая.

Я иду и думаю о завтра. Вдруг из подворотни выходят двое:

— Деньги давай, — перегаром несет жутко.

Мужики явно на воров не похожи. Просто выпить хочется.

— Почему я вам должен их давать, — говорю я и вспоминаю Иванну.

— Опохмелиться надо.

— Магазины уже закрыты.

— Знаем, это на завтра.

— Запасливые вы мужики, как я погляжу.

— Не рассуждай много, деньги давай.

Мне не нравится эта фраза, но я сдерживаюсь. Иванна была не права.

— А если мы проверим, — один приближается ко мне.

— Вынь руки из кармана.

Мне становится смешно, и я вынимаю:

— Рукам-то холодно.

— Не замерзнешь, интеллигентия, «рукам холодно». Небось и не работал никогда.

— Так, как вы, — нет.

Он не понимает. Лезет ко мне в карманы.

Я даже не сопротивляюсь, до того мне смешно. Он

ничего не находит в пустых карманах и достает прямо-угольник голубого листка.

— Это положи обратно, — говорю я.

— Чего? Нищета, рубля нет, а положи обратно. — Он отшвыривает листок в снег и плюется.

Я быстро разворачиваюсь, чуть присев, пробивая ему прямо в подбородок. Он летит куда-то, утыкаясь неловко в сугроб.

Все-таки она была права, Иванна.

Второй стоит, качаясь и глядя на лежащего. Я даже не успел разозлиться, наклоняюсь и поднимаю листок, стряхивая с него снег.

— Ты чего, парень. Пошутить, что ли, нельзя?

— Дураками быть не надо, когда нажираешься.

— А кто нажрался, кто? — он хорохорится и двигается на меня.

Голос из снега:

— Вася, у него шапка хорошая, возьми. На две бутылки хватит.

Шапка ондатровая, папин подарок.

Вася уже приблизился на расстояние удара, но шапку ему брать почему-то не хочется.

Тот поднимается из снега.

— Ну, чё медлишь, Васька?

— Так, — говорю я и лезу в карман джинсов, — где мой нож?

— Да ну его к черту, Вить. Он чумовой какой-то, поговорить с ним по-человечески нельзя. — Он поворачивается и идет в ту подворотню, откуда вышел.

— Вась, ты чё испугался, подожди, — тот трусит за ним. — Кого ты испугался, пацана? Да мы ему сейчас так заделаем...

Ответа я не слышу. Улица тиха и пустынна. Я разворачиваюсь и иду. Праздник кончился.

В дверях торчит бумага. Прямо вечер записок. Наверно, хозяйка заходила — платить за квартиру надо. Хотя она бы оставила на столе, если внутри была. Я зажигаю свет и разворачиваю сложенный вчетверо листок бумаги.

«Санечка, я приезжала, но тебя не застала. Была сво-

бодна полдня. Позвони мне завтра в... как обычно (когда захочется).

Н.»

Я расстроился страшно. Ну что меня унесла нелегкая. Вечно не сидится. Но кто бы мог подумать, что она вырвётся восьмого. Что она сможет приехать. Моя Наталья, моя умница. Завтра я увижу тебя. Вернее, сегодня, уже около часа ночи. Господи, пошли скорее это завтра. Вернее, сегодня.

Уже засыпая, я думаю: какое красивое имя Иванна. Но Наталья — сказочнее, влекущее, завораживающее, не отпускающее, удивляющее.

Утром рано я звоню из автомата. Девушки нет, и я пилкой цепляю под диском — сразу после того, как она сняла трубку.

(У меня была одна болгарка давно, которая меня и научила. Пилку для ногтей вставляешь под диск с цифрами и, как только раздается голос на другом конце, дергаешь пилку справа налево, раздается легкий щелчок, и разговор соединяется. Говори сколько хочешь. Кстати, она научилась этому в Ленинграде. Или не кстати.)

— Наталья, доброе утро.

— Санечка! — так ласково звучит ее голос. — Я жду твоего звонка с восьми утра.

— Сейчас девять ноль одна, ты же сама гово...

— Я понимаю, Саня, все понимаю, не надо мне объяснять. Когда мы встретимся?

— Ну, Наталья, ты на глазах меняешься!

Она влетает в дверь, которая не закрыта.

— Саня, я по тебе соскучилась...

Мы долго целуемся. Потом держим губы в губах, не целуемся, не дышим и не двигаемся.

— Ты, конечно, не ел вчера ничего? Я ведь из-за этого приезжала.

Она раскрывает пакет и достает из него свертки, пакеты, хлеб, два больших апельсина. Достает из шкафа тарелки, дает мне в руку вилку и говорит:

— Ешь, Санечка. Тебе надо быть сильным...

Она уходит ставить чай.

— Наталья, так жаль, что я уехал вчера. Я так расстроился. Дай я тебя поцелую. С праздником тебя!

— Спасибо, Санечка. Чем ты вчера занимался?

— Я... — я почему-то заминаюсь, мне непривычно, она впервые задает такой вопрос.

— Я... познакомился вчера с красивой женщиной. Она улыбается.

— Ну, видишь, что ты за мальчик, нельзя тебя на день одного оставить, как ты с кем-то знакомишься. Опять на улице?

— Э-э... не-е... да...

— Прямо скажем?

— На улице.

Она смеется, я улыбаюсь.

— Так ты и меня «снял», так это у вас называется?

Забавно слышать от нее это слово.

— Хоть бы приревновала...

— Зачем, Санечка, я не ревнивая. У тебя умная голова, сам выберешь.

— Я уже выбрал.

— Что, прощаемся, да?! — искорки лучиками — в ее глазах.

— Да! — сакраментально говорю я.

— Ох, Саня, — она беззыханно падает мне на шею.

— Не прощаемся, — доканчиваю я.

— Ну вот, только обрадовалась, — она смеется.

— Наталья... Дай я поцелую твои глаза.

Она подставляет их, и я целую. У нее прекрасные глаза. Самые лучшие глаза в мире.

Она отрывается от меня:

— Саня, ешь, пожалуйста, — тихо говорит она. — А то что я потом буду с тобой делать... — она опускает глаза.

— Ух ты, какая расчетливая! Ну, Наталья!

Она смеется, обнимая меня за плечи.

— А что, я не права?! Все говорят: путь к сердцу мужчины лежит через желудок.

— Какая меркантильная! И эгоцентричная.

— Да, я такая! — радостно подтверждает она.

Сама делает чай. И когда я наедаюсь до отвала, впер-

вые толком за два дня, внимательно разливает его в стаканы, и мы пьем горячий.

Она достает сигареты, пододвигает их ко мне, вынимает новую красивую зажигалку, а старую серебристую забирает заправлять. Ритуал.

— Хочешь, чтобы я тебе закурила?

— Да.

Она распечатывает пачку, сбрасывает золотистую полоску, прикрывающую фильтры, и щелкает красивой зажигалкой. Я впервые вижу у нее в руках сигарету. У нее элегантно получается. Легко как-то и мягко, будто это и не сигарета. Она передает ее мне зажженную. Я затягиваюсь глубоко и выпускаю дым.

— Вот пепельница, — она встала и подала ее из шкафа.

— Ты чего такая радостная сегодня?

— Тебя увидела...

— Вчера, наверно, хорошо погуляла?

— Очень хорошо! Целый вечер просидела у себя в спальне и читала Шекспира на английском. Классно писал...

— Вы же собы...

— Да, мы собирались, да не собрались. Поругалась с ним и сказала, что вообще никуда не пойду. Надоели, начал выяснять, где днем была и не много ли я занимаюсь. Я ненавижу эти намеки.

Какая я свинья, а я думал о ней плохо, что она гуляла, развлекалась.

— Но он прав.

— Ты решил быть его адвокатом?

— Нет, просто это моя вина и мне неудобно, что у тебя неприятности из-за меня.

— Санечка, не вали на себя все грехи мира. Я взрослая женщина и сама разберусь, что мне делать и как поступать. Мне ведь не пять лет, и я не твои девочки с курса.

— Наталья, сто раз я тебе говорил: у меня нет девочек с курса. Ты, наверно, с русской фольклористикой знакома. Так вот, она убеждает: где живешь, там не с...шь.

— Фу-у, какой ты грубый, Санечка, — и улыбается. — Впервые слышу, как ты ругаешься при мне. У тебя это

хорошо получается, Саня. Скажи еще что-нибудь, мне нравится.

— Благодарю за признание.

Она приближает ко мне свои губы:

— Ты разозлился?

— Немножко.

— Все, сменим тему: хочешь, я тебя поцелую?

— С позавчерашнего дня.

— Какой ты глупый, Санечка. Почему ж ты молчал! —

Она целует меня. — О такой чепухе говорили.

Она снимает все с себя, туша свет и сигарету. Я обнимаю ее.

Она была странна в любви. После первого прикосновения или поцелуя она отключалась от всего здешнего и земного, впечатление, что она впадала в состояние транса (полузабытья, отрешенности, небытия); лишь изредка постанивала, когда я причинял ей (умышленно) сладкую боль. И только потом, постепенно, она приходила в себя. Как бы возвращаясь из того состояния блаженства и полузабытья. Иногда она говорила шепотом:

— Санечка, это было прекрасно. Так не было никогда. Но я ничего почти не помню... — в темноте я чувствовал опять эти искры в ее глазах: — Напомни...

Я напоминал.

Я обожал ее в этом состоянии нездешнего тихого экстаза с негромкими вскриками. Она была моя и не моя, здешняя и нездешняя, принадлежала мне, не принадлежа, уносясь куда-то далеко, в одной ей доступные глубины, и нехотя возвращаясь оттуда; я вводил ее в это состояние, она жарко, горячо целовала, благодарила меня, а мне не верилось, не понималось, что это я и ей нравится это, происходящее от меня.

Я себя вообще считал каким-то ничтожным, недостойным ее и получившим незаслуженное.

Я целую ее грудь, едва тронутую... У нее необыкновенная грудь, такая нежная.

— Наталья, у тебя бесподобная грудь, — я целую пурпур бархатного соска, слегка прикусывая.

Она вздрагивает.

— Санечка... — она гладит мою голову рукой, ерошит

мои волосы. — До Аннушки она была другой, такой упруг... вообще, все тело изменилось.

Она вдруг грустна.

— Не говори так, Наталья. У тебя лучшее тело в мире. Я таких не встречал никогда.

— Спасибо, Санечка... — мы целуемся, я сильно сдавливаю ее грудь рукой.

— Саня, ты задушишь меня.

— Чтоб ты больше никому не досталась.

— Я и так больше не буду ничья. Никому не достанусь. Ты последняя моя...

Я целую ее так, что губы уходят...

Она еле вырывается, но мягко, нежно.

— Саня, ты с ума сошел. Мне же еще по улице идти, что люди скажут, глядя на меня.

— Люди или?..

— Не волнуйся, мы не смотрим друг на друга. Прошлую неделю почти не видела. Забудь о нем...

— Я его не помню. Но ты с ним живешь. И он тебя видит.

— Саня, во-первых, я с ним не живу. А живу я, прямо скажем, с тобой. — Она любила это выражение «прямо скажем», как разрубающее и прорубающее какой-нибудь мысленный или словесный узел. — Во-вторых, он не видит меня днями, вдобавок ночами.

— Где же ты бываешь?

— А все это время — видишь меня ты, — она не обратила внимания на мою шутку.

— Но возвращаться тебе надо к нему, а не ко мне, и не из-за меня, а наоборот.

Я вдруг начал заводиться.

— Санечка, — она прикрыла мой рот ладонью, — не надо сейчас.

И тихо-тихо сказала:

— Я хочу тебя...

Она совершенно податлива и уступчива.

Мы лежим, откинувшись на подушки. Ее голова наполовину на моем плече, и ее дыхание касается моей щеки. Я поворачиваюсь к ней.

— Наталья...

— Да, Санечка.

Молчание. Она говорит:

— Так бы и спала на твоем плече, не вставая. Санечка...

— И она засыпает. Впервые, когда не сплю я. Такая тихая, ласковая, прильнув ко мне своим чудесным телом, и усталая.

Время тикает где-то. Шесть часов вечера. Мы пробыли с ней весь день. В этой темной келье.

— Санечка, — она проснулась бесшумно. — Это тикало шесть часов?

— Кажется. — Она лежит, прижалась ко мне.

— Мне пора. Мама будет звонить сегодня в полвосьмого. А то я совсем не знаю, как там Аннушка. Плохая мать, гуляющая.

— Наталья, ты хорошая мать и...

— Ну, ну, договаривай.

Я упираю локоть в нее:

— И это...

— Саня, какой ты иногда бываешь забавный, — она смеется.

— Когда она должна приехать?

— Летом мама привезет ее, когда я сдам государственные экзамены и выпущусь из института. Они ее специально забрали, чтобы не мешать мне заниматься. А я видишь, чем занимаюсь!

Она целует меня в шею, осторожно.

— Ты выпустишь меня?

Я приподнимаю ее, перенося через себя так, чтобы касаться ее тела.

— Оказывается, мы такие сильные? — она удивляется. — У нас осталась сила?..

— Я не отвечаю, а сам про себя улыбаюсь.

— Тогда, прямо скажем, я не встаю...

И она остается (не встает).

Потом мы одеваемся. Она включает свет.

— Да, Саня, я тебе принесла твой журнал. Очень приятная героиня. Он тоже прочитал...

— Как?..

— Журнал лежал в спальне, у меня на кровати. Он

взял, когда я отсутствовала, ему скучно было, и прочитал. Он быстро читает. Их специально учат этому.

— И что?

— Я вернулась поздно тогда. А на следующее утро, когда я собиралась к тебе, он вошел, бросил журнал на кровать и сказал:

«Очень интересная вещь. Кто ж это тебя так просвещает?»

Я ответила:

«Одна знакомая».

Он сказал:

«Интересно узнать, когда же появится счастливчик Жиль».

Я ему ответила:

«Ты ошибаешься, он уже есть».

Она улыбнулась мне. Про себя я поразился, я не думал, что она так смела. Хотя и не предполагал противоположного.

— А потом?

— Я оделась, мне нужно было ехать к тебе (я опаздывала, как всегда), и сказала, что мне нужно в Библиотеку Иностранной Литературы, чтобы он меня подвез.

— А он?

— Он это и сделал, за ним в восемь тридцать утра приезжает машина.

— А потом?

— Саня, а потом я пересела на троллейбус (эта библиотека недалеко от твоего дома), доехала сюда и пересела с тобой. Что тебя еще интересует?

— Мне не нравится это слово.

— Какое?

— Переспала.

— А что я с тобой, по-твоему, делаю?

— Наталья!..

— Извини, Санечка. Просто все становится тяжелей и невозможней.

— Что? — вздрагиваю я.

— Я не хочу сейчас об этом. Мне очень хорошо и не хочется ни о чем думать. Ты подашь мне дубленку?

— Конечно.

Она одевается. Накидывает платок, скорее шаль, и смотрит на меня. Я на нее...

— Санечка, я готова. Я плохо выгляжу, ты так смотришь на меня?

Я смеюсь.

— Нет. Выглядишь ты потрясающе, губы вот только...

— Что губы? — она быстро достает зеркальце, смотрит и неожиданно успокаивает: — В прошлый раз еще хуже было, Саня.

Мы смеемся вместе.

— Я не заметил.

— Конечно, зачем тебе замечать. Сделал свое дело, и порядок, — она улыбается.

— Я больше так не буду, Наталья.

— Наоборот, только так и надо. Эх ты, Саня! Ничего не понимаешь.

Но глаза у нее — прекрасные. Это я понимаю.

Мы выходим на улицу.

— Первый раз так рано, да, Санечка?

— Кажется, да.

— Не кажется, а точно.

Люди с работы возвращаются. И оглядываются на нас, беспечных, улыбающихся. Ее рука (ручонка) в моем кармане. Там тепло. Около такси мы останавливаемся.

— Наталья, мы еще ни разу с тобой не были в кино.

— Да, Санечка, как-то времени у нас все не хватает. Ты мне завтра позвонишь?

Мне всегда нравится этот вопрос. Так как, если бы она сказала: ты завтра на край света побежишь, я бы ответил — побегу.

— Давай поцелуемся.

У нее прохладный рот. Грудь ее поднимается, упираясь в мою, когда она вздыхает.

— Может, вернемся, Наталья?..

— Я — пожалуйста!

Потом она вспоминает про звонок, огорчившись:

— Санечка, позвони мне обязательно завтра.

Неужели это никогда не пройдет? Мне хочется видеть ее каждый день, все больше и больше. Я не понимаю ничего, даже как это называется.

Я просидел дома и прождал ее целый день, после телефонного разговора. Поговорили:

— И когда мы увидимся?

— Я не могу с утра, — она заспешила, торопя слова, — я приеду к вечеру, если ты будешь дома. Саня?

— ...

— Ты будешь дома?

— Постараюсь.

— Не обижайся, пожалуйста. Ну пожалуйста...

— Ну, до встречи, Наталья. — Я повесил трубку.

Она не приехала. Звонить я не хотел. Я понимал, что, раз она не приехала, значит, ей это было не нужно, а случиться с ней ничего не могло. Она же взрослая, умная, самостоятельная женщина.

Поздно вечером, когда я понял, что она не приедет, я достал флакон эфедрина и надрызгался им до упора.

Заснул где-то около трех часов ночи, искурив всю пачку ее сигарет. До трех ночи я все же надеялся, что она приседет. И прислушивался к звукам в коридоре.

Проснулся я очень поздно и, проснувшись, долго лежал в постели, пытаясь таким способом убить время до ее прихода. Но ее не было. Часы протикали двенадцать. Я встал и собрался. Денег не было ни гроша, еды — ни куска. Надо было ехать на телеграф.

Если она не приехала вчера и сейчас ее нет, то почему она должна приехать, именно когда меня не будет? Но должна же она когда-нибудь приехать, без моего звонка. Как больно внутри, отчего?

Я решую оставить ей записку, а сам быстро съездить на телеграф. От голода уже круги в глазах.

На телеграф я прилетаю как ненормальный. Перевод, слава Богу, пришел, только сегодня с утра. Я несусь к другому окну, получая деньги, тут же хватаю такси и говорю: «На Таганку».

Не доехав до дома, я выхожу у ближайшего гастроно-ма, залетаю в него и покупаю какую-то еду. Потом беру бутылку шампанского и большую плитку шоколада для нее. Сажусь обратно в такси. Я уверен, что она уже пришла, прочла записку и ждет меня. С кульками я забегаю

в коридор, приближаюсь к двери и вижу, что записка торчит на прежнем месте, не тронутая.

Я складываю все на столе. Сажусь и закуриваю, есть уже абсолютно не хочется. Я затягиваюсь. В голове моей раскладывается пасьянс.

Возможно, она очень занята, позвонить мне нельзя. Но она знает прекрасно, что я ей первый звонить не буду: она обещала и не приехала. Почему она не приехала? Что случилось? Как дико хочется ее увидеть. Чтобы окончилось это проклятое ожидание.

К вечеру я сижу на полу под эфедрином. Полфлакона стоят на столе, как начнет проходить первое действие, выпью остальное. Я курю папиросы, от них горько и сладко во рту. Сколько времени, я не знаю. Я вообще ничего не знаю. В голове напряженно и хорошо. Мысли все сосредотачиваются на ней, все время к ней.

Откуда-то сквозит, кажется, дверь не закрыта. Я смотрю на дверь, лампа не добраивает туда достаточно света, не видно, закрыта ли. За дверью ни звука. Больше ждать невыносимо. У меня напряжено все каждую секунду от прислушивания, от ожидания. Хлопнула дверь вдалеке коридора, я — не жду, но замер. Шаги не раздались, значит, поднялись на второй этаж, там лестница сразу у входа.

Я откидываю голову назад, на оттоманку, на которую опираюсь плечами; могильная тишина в коридоре. Или кладбищенская? Глаза мои смыкаются. Через несколько секунд я слышу звуки у двери, или это такое сопровождение в голове от электрического напряжения. Или мне кажется... Или мне кажется, что это кажется.

— Санечка, что с тобой?! — крик, я вздрогиваю. Она стоит в дверях, как она появилась?

Я смотрю непонимающе на нее и не верю: но это Наталья.

— Дверь не заперта была, я думала... — (значит, под эфедрином я сообразил все-таки, что дверь не закрыта). — Санечка, что с тобой?!

Я молчу.

— Ты не ожидал меня?..

Она стоит в дверях. Сумка спала с еще зимнего плеча.

— Можно я разденусь?

Никакого ответа. Она быстро раздевается и подходит ко мне. Останавливается и смотрит на меня. Я чувствую, но не поднимаю головы. Я уставился в пол между своими ногами. Я рад, что она здесь (безумно), и ненавижу себя за это.

— Санечка, что с тобой, я прошу тебя, ответь? Почему ты сидишь на полу?

В голосе ее слышится тревога.

— Дай мне флакон со стола. Мне тяжело подняться.

Она дает:

— Что в нем? Тебе плохо? Встань, пожалуйста, с пола. Ты же простудишься.

Какая трогательная забота. Я отхлебываю из флакона, так как в голове уже начало проходить, а мне не хочется выходить из этого состояния. Я даже не морщусь от горечи. И сразу же закуриваю — папиросу из пачки «Беломора». Она поспешно достает из сумки пачку сигарет и кладет рядом со мной на пол. Стоит и не двигается. Я отодвигаю ее подношение подальше. Губы мои кривятся.

— Санечка, не надо так, пожалуйста. Хорошо, я не буду делать ничего, раз тебе не нравится. — Она отодвигает сигареты концом сапога подальше, чтобы меня это не раздражало.

— Я тебе ждал, Наталья, два дня. Два дня по двадцать четыре часа. Я тебя ждал каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение. Ты знаешь, что это такое? Это восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят мгновений, и в каждое из них я ждал тебе.

— Я понимаю, Санечка, но я не могла. Прости меня, я тебя очень прошу, я не знала, что это так на тебя подействует.

Она приседает и прижимает мою голову к груди, гладит меня рукою по голове. Какое-то напряжение спадает, как оцепенелость.

Она берет в руку флакон, отставленный мною:

— Ты это потому и пьешь?

Я тихо киваю, упираясь в ее грудь.

— Санечка, прости, я виновата...

Я уже совсем не обижен на нее, она абсолютно прощена, но не могу ей сказать об этом. Так я глупо устроен.

— Санечка... — она осторожно касается губами моего лица.

Приносит дубленку, бросает ее на пол и пересаживает меня. Она садится рядом. Обнимает меня, утыкается лицом в шею и шепчет:

— Саня... Саня...

Мы сидим так долго, и я не знаю, что к чему, знаю только, что она нужна мне и без нее не надо ничего. Абсолютно. Все не интересно, все пусто. Я испытал за эти два дня сполна. Я отодвигаюсь от нее; как она тепла... Достаю папиросу и хочу зажечь спичку. Рука не слушается. Она моментально щелкает зажигалкой, которая лежала на полу.

— Пожалуйста, возьми ту сигарету, я тебе принесла.

Я упрямо качаю головой и подвожу папиросу к огню. Она закуривается, и я глубоко затягиваюсь. Она внимательно сбоку смотрит на меня.

— Ну что, нравится?

— Саня, не надо...

— Ты ответь, нравится или нет?

— Пожалуйста, не надо.

— Слаб я. Как баба... Расклеился, самому тошно. Должен вообще уметь обходиться без тебя, все равно рано или поздно придется, — а не могу. Не могу без тебя... — фраза у меня теряется.

Она распечатывает пачку, проводя ногтем, рывком снимает чешую (коробочную) и нервно закуривает. Я впервые вижу, как она курит.

Она опять в новом красивом платье. Длинные высокие сапоги закрывают колени, слегка изламывая платье внутри. Она никогда еще не приходила в одном и том же, за исключением одного раза, когда она одевала натуральную замшевую юбку и кофту с капюшоном, вязанную толстой английской резинкой. Какая-то она была вся моя в этом, очень такая, как моя.

Раздражение все же не утихло до конца. А затаилось... Я опять окидываю ее взглядом, наверно ничего не сообщающим.

— Опять новое платье, да, Наталья?

— Мама полгода назад купила, я его редко надеваю.

— Зачем! У тебя каждый раз новые платья, юбки, рубашки. У тебя много всего. А люди на улице, без рубля, в одних штанах годами ходят.

— Но, Санечка, если я даже выйду на улицу и отдаю свое платье, этим я не одену всех и не помогу, — резонно отвечает она.

Но меня злит резон.

— Зачем выходить, когда у тебя все есть, — продолжаю дальше я.

— У меня ничего почти нет, все почти дарено...

— Тебе и заботы о них нет, главное — ты одета!

— Ты хочешь, чтобы я отдала это платье?

— Тебе и думать о них не надо.

Она встает и быстро снимает с себя платье. И остается в кружевном белье. Еще более красивом, чем платье.

— Хорошо, я иду на улицу и отдаю первой попавшейся свое платье.

Она поворачивается и идет к двери.

— Я только накину твою дубленку, если ты не возражаешь, — тихо говорит она. — Чтобы в психиатрическую больницу не забрали.

Непонятно, откуда берутся силы, я настигаю ее в два прыжка у самой двери, которую открывает ее рука, и сжимаю в объятьях.

— Наталья! Наталья!..

Она не может даже выдохнуть, так сжата.

— Са... нечка... за... душишь... меня.

Я целую ее лицо как безумный, потом отпускаю и возвращаюсь на место.

— Иди, — говорю я.

Она поворачивается и берется за замок. Мне хочется ее проверить до конца. А в чем тут проверка, проверятель? Наверно, я еще не вырос. Я успел нажать собачку, когда целовал ее, про которую она не знает.

— Санечка, дверь не открывается, — она так серьезно и озабоченноглядит на меня. Проверяющему расхотелось проверять дальше. Все-таки я не вырос.

— Оставь его мне.

Она вешает платье и садится рядом со мной.

— Я бы правда отдала.

— Я знаю. Все нормально, Наталья.

— Я уже все поняла и теперь никогда не буду больше не приезжать. Буду все бросать, оставлять, плевать на окружающее, прилетать и только сидеть с тобой. Не дай Бог тебе еще таким увидеть.

Молчание, знак согласия.

— Саня, что это такое? — она показывает глазами.

— Флакон, — отвечаю я.

Она перешагивает через это.

— А в нем?

— Эфедрин.

— Для носа?

— Да, но я принимаю для рта.

— У тебя плохо с ним?

— Очень, давно не целовали.

— Кто?

— Посторонняя женщина.

Она целует меня в губы.

— Вот я уже и посторонняя.

— По-моему, ты всегда была, — режу я.

Она отчужденно смотрит на меня:

— Саня, что сделать, чтобы ты успокоился? Я уже проклинаю себя за эти два дня: больше не пойду никуда, ни экзамены сдавать, ни диплом получать, ни...

— Ни?

— Домой...

— Правда?! — я впиваюсь в нее ожидающе.

Она ласково смотрит на меня.

— Саня, это приятно? — она дотягивается до флакона. Я молчу.

— Ну, хочешь, я выпью вместе с тобой?..

— Да. Но это очень горько. Подожди, — я встаю с пола. Беру плитку шоколада в комоде, отламываю кусок: — На...

— Спасибо. Откуда у тебя такой шоколад? Мой любимый.

— Есть еще и шампанское, но ты сегодня не заслужила.

— Саня! Я заслужу, честное слово, я буду хорошей.

Я смотрю на нее и сражаюсь с улыбкой. Она очарова-

тельна в этой комбинации на полу, сидящая на меху тулу-па и смотрящая на меня вверх.

— Давай.

— Все до дна?

— Там мало. И сразу, не дыша, закуси шоколадом.

— Совсем как алкоголичка?

— Да, самая страшная.

Она глотает залпом и сразу хватает кусок шоколада. Горько, но она не морщится, улыбается. Я наклоняюсь ниже и целую ее замершую щеку.

— У тебя это бесподобно получается.

Она смеется, потом перестает и замирает:

— Санечка, поцелуй меня, я так соскучилась. Так хотела тебя, твои губы...

Мы целуемся. Я поднимаю ее с пола и, неровно ступая, отношу на кровать.

Она сказочна в любви. Сегодня она неистова. Как волны. То поднимая меня, вознося, то опуская.

— Какая ты прекрасная сегодня, Наталья...

— Это только потому, что я твоя, Санечка...

Поцелуй, стоны, крики, катится бессильный пот.

В темноте я не вижу, как она одевается.

Снег падает на улице — из темного неба — и сразу тает. Наверно, это последний снег.

Я опускаю взгляд на ее идущие колени, мягко толкающие изнутри дубленку. И только тут вижу и осознаю — что это вроде комбинация видна в распахивающиеся полы.

— Наталья! Где твое платье?!

— Ты же просил, чтоб я его оставила...

— Как же ты вернешься домой?!

— Как обычно.

— ...Но ты простудишься!

Она улыбается нежной улыбкой.

— Видишь, какой ты, Саня, то, что я могу простудиться, — это не первое, что волнует тебя. А какие-то пустяки...

Я тут же ловлю такси, запихивая ее быстро, и сажусь рядом. Говорю куда.

Я истискиваю ее всю, зацеловывая лицо.

— Санечка, ты меня съешь, — шепчет она.

— Ты возражаешь?
 — Только чтобы косточки одни остались...
 Косточки, думаю я, косточки.

Назад я возвращаюсь в том же такси. Постель полна ее запаха, и я засыпаю, уткнувшись в него.

В девять утра я торчу в телефонной будке автомата.

— Санечка? Доброе утро.
 — Доброе утро, Наталья.

Воцаряется молчание. Я обычно жду, невольно замирая, когда она скажет, во сколько мы увидимся. Когда она приедет. Она тоже это знает и начинает неуверенно:

— Санечка, мне надо сегодня обязательно поехать в институт. Я боюсь, что пробуду там до вечера. Даже бутерброды беру с собой, — как бы в подтверждение слов говорит она.

Как будто мне от этого легче.

Голос мой сразу грустнеет:

— Когда мы увидимся...

— Ну, Саня! Я постараюсь вечером заехать, хоть на полчаса, может, мне удастся скорей освободиться.

— Прекрасно, полчаса.

— Пожалуйста, не обижайся, это не от меня зависит. Не могу же я все на свете побросать...

— Да. Не из-за кого. До вечера, Наталья.

Я вешаю трубку, обидевшись, показывая ей, что обиделся: уверенный, что вечером она приедет.

Я прождал весь вечер, но она не приехала. Я лег в постель около часу, окончательно убедившись, что она не приедет, а заснул гораздо позже, думая и размышляя.

В девять утра я опять торчу в телефонной будке автомата.

— Доброе утро.
 — Ты не обиделся?
 — Нет, все в порядке.

— Я освободилась вчера около одиннадцати вечера. Ну, куда я могла ехать так поздно. Я боялась, что ты уже спал или собираешься ложиться.

— Да, я лег в десять вечера.
 — Самое обидное, что я полдня проторчала зря, не до-

ждавшись, кого нужно. Сегодня мне надо ехать опять туда. Саня...

— Заедешь опять вечером, — съязвил я.
 — Лучше я не буду обещать тебе. Но постараюсь обязательно.

— Хорошо, Наталья, до вечера.

Откуда у меня эта книга? Я раскрываю вытертую почти обложку. На белом титульном листе заглавие: Сомерсет Моэм «Бремя страстей человеческих». Может, хозяйкина? Я сажусь к столу и от нечего делать, впереди целый день, читаю начало. Оказывается, романа. Вступление занудное, и я бросаю читать Сомерсета Моэма. Слоняюсь из угла в угол. Благо, что недалеко... Вспоминаю, что надо поесть. Иду в подвалчик, где мы с ней часто бывали, и что-то ем. Не замечая что и только думая о ней. Какие же пустые и тоскливые дни становятся без нее. Какими же тоскливыми они станут, когда ее не будет совсем?

Возвращаюсь домой, немного погуляв.

Времени тикает только половина первого. Сколько ждать еще! Я ей завидую, она занята. Раскрываю опять книгу, пытаюсь вчитаться, какая-то занудная мура. Этот хромой мальчик, не знает в жизни, куда сунуться, и все у него как-то странно складывается. Сам, что ли, Моэм был такой? (Тогда бы уж не писал.) Писатели любят о себе писать. Прямо такие они герои, такие герои, только о них и читай. В конце концов книжка мне до тошноты надоела, и, раздевшись, я лег под одеяло. И стал засыпать.

Проснулся я от чьих-то громких шагов в коридоре. Потом сразу понял, что она так идти не могла. Кто-то ходил на кухню, потом обратно. Наверно, кончилась работа, догадался я. Сколько же времени? Я застыл и стал прислушиваться. Через какое-то время радио протикало полвосьмого. Вот она и приедет скоро. Позже некуда, не зайдет же она, на самом деле, на полчаса. А ей еще домой надо возвращаться.

Я радостно вскочил, быстро оделся и, умывшись ледяной водой, сел ждать ее.

Раздались шаги. Я вскочил и с полной уверенностью открыл дверь. Мимо шла женщина, которая сначала за-

мерла, так как дверь резко открылась, потом с интересом посмотрела на меня и прошла дальше.

Я с разочарованием закрыл дверь. Все, больше не буду открывать, пока она не придет и не постучит. Что я, мальчик, что ли, на побегушках.

Прошло еще полчаса, потом еще. Я слышал тикающие сигналы радио, чьи-то идущие шаги, все время казалось, что она, но шаги проходили мимо, не останавливались и не стучали у двери, за которой сидел я. Пробило десять вечера, я не хотел больше ждать, я уверял себя, что она не приедет сегодня вечером, и все-таки ждал. Я ненавидел это, и себя за это, — вздрагивать при каждом шорохе и наполняться надеждой при мысли, что это, наконец, она, забывая все обидные и злые слова, которые закипали во мне от ожидания.

Еще через час я понял, что она не приедет сегодня. Мне стало страшно и тревожно. Что же с ней? Второй день она обещает, не присажая. Ей не хочется видеть меня? Тогда бы она прямо сказала, зачем скрывать. Она прекрасно знает, что я не позову ее никогда, если произойдет то, что произойдет. Скорее всего, она просто занята и утром все разъяснится. Протикало двенадцать ночи. Я перестал прислушиваться к шагам, их больше не раздавалось.

Раскрыл книгу на заложенном месте и начал читать снова эту галиматью, «Бремя страстей человеческих». Никакого там бремени я не видел, страстей и подавно. Спать мне не хотелось, и я сидел очень долго, до одурения долго, читая. Ставни всегда закрыты в этой келье, и я решил выйти на улицу, чтобы увидеть хотя бы, какое время суток сейчас, утро, ночь, рассвет или прочее. На улице было давно светло. Я прошел пол-улицы до ближайшего столба с часами и увидел, что полпятого. Итак, ждать оставалось четыре с половиной часа. Я побрел обратно к дому. Улицы были тихи, чисты и пустынны. Как будто в умершем городе. Ни одного человека, ни одной живой души. Мне очень понравилось. Страшно не хотелось возвращаться в свою кладовку (без нее она мне казалась еще хуже) и садиться опять за эту мерзкую книгу. Но так было легче коротать время. Я сел. Через определенный промежуток времени стали ходить ноги, ставить чайники, фыркать,

мыться в кухне и делать прочие утренние процедуры. Человек странно мало делает ненужного, когда собирается на работу. Зато потом, в течение дня, он с лихвой восполняет свой редкий утренний рационализм. Соседка, у которой включено радио, включила его, как всегда, в семь утра. Я, не понимая, читал, водя глазами по строке. Потом стало тикать семь тридцать, восемь, восемь тридцать — все это я пережил, перетерпел, переждал. Протикало девять.

— Что случилось, Наталья?

— Ничего, — голос холодный у нее.

— Но ты обещала приехать...

— У меня есть еще другие дела, помимо приездов.

Меня неприятно резанула эта фраза, вонзившаяся в меня.

— Угу... Ну хорошо. Если тебе больше нечего сказать...

— Санечка, не обижайся. Сразу. Хорошо, я приеду сегодня в пять, как освобожусь, и мы с тобой обо всем, обо всем поговорим.

Я не понимал, почему в пять, почему я опять должен ждать целый день, третий день. Когда каждый час невыносим без нее, сводит с ума, и чем больше часов, тем больше сводит.

Я молчал.

— Тебе что-нибудь привезти?

— Да, два яблока. Я не хочу выходить из дома, буду ждать тебя.

— Хорошо, Санечка, только не обижайся, пожалуйста. И не жди так.

Я повесил трубку, не дожидаясь ее щелчка. Почему я так сказал, сам себя начинаю ставить на ступень ниже, в какое-то подчинение: буду ждать. И самое неприятное, я ведь это сказал перестраховываясь, чтобы она наверняка приехала, не сможет же она не приехать, если я буду ждать. А мне нужно только ее увидеть... Я не могу удержать ее по телефону, я ненавижу телефон.

Голова моя касается подушки и проваливается в какой-то нехороший сон.

Новости по радио кончились, и дикторша объявляет десять минут шестого. Значит, она вот-вот приедет, как всегда, опаздывает. Господи, я не видел ее три дня!

Ее нет ни через полчаса, ни через час. Мне закрадывается в душу страх: она опять не приедет. Но больше не позвоню, больше не увижу ее. И она никогда не приедет, если не приехала эти три дня, то она не приедет и остальные...

Где мой эфедрин? Я нахожу его в папке, куда предусмотрительно положил, купив несколько дней назад, четыре флакона. Выпиваю полфлакона и беру кусочек сахара в рот. Горечь проходит, и через минуту уже напряженно- приятное состояние. Хочется курить страшно. Я кладу толстую газету на пол, сажусь на нее и закуриваю папиросу. Все Натальины сигареты искурил. В голове тревожно и думается только о ней. Но когда-то же мы увидимся...

Она появляется через час.

— Добрый вечер, прости, что опоздала. Ты ждал?

Очень умный вопрос.

— Я захватила с собой апельсины, они очень сладкие.

Она выкладывает на стол громадные марокканские апельсины, которые я очень люблю. Но я ору:

— Не нужны мне эти апельсины! У тебя все должно быть лучшее.

Она испуганно смотрит на меня:

— Хорошо, хорошо, только не кричи так. Я сейчас куплю яблоки. — Она пятится к двери и выскакивает с сумкой, не захлопнув ее. Дверь.

Через пятнадцать минут возвращается из магазина с полным кульком больших красных яблок.

Кладет их молча на стол, вынимает из пакета на тарелку, моет и подает мне.

Я отворачиваюсь, мне стыдно, это ведь моя Наталья, что со мной происходит? Но сколько я ждал? Как это больно. Как трудно ждать. Я совсем не умею этого.

— Что с тобой, Санечка?

Она опускается рядом, становясь на колени.

На ней моя любимая юбка и кофта с капюшоном. Значит, она думала обо мне и что увидит меня, приедет сюда, раз так сделась.

— Не надо, Санечка.

— А что надо, что, по-твоему, надо? — взрываюсь я. — Не видеться по три дня, да?

— Я не знала, что это на тебя так подействует...

— При чем здесь как подействует! Я ждал тебя эти три дня, потому что ты обещала. Не обещала бы, так не ждал.

Она смотрит на меня.

— Санечка, не надо так нервничать, — у нее очень ласковый голос.

Но из меня идут наружу все часы и дни ожидания.

— Вот что, Наталья, или мы видимся столько, сколько я хочу, то есть все время. Потому что мне нужно видеть тебя ежечасно, я перестаю понимать, ощущать тебя, ты мне кажешься чужой, мне страшно, даже если мы день не видимся. Или — мы... расстаемся навсегда. Одно из двух, два из одного не будет. Я не хочу стать идиотом от этого проклятого ожидания.

— Конечно, видимся с тобой, Санечка, — так мягко и естественно говорит она, что мне неудобно. В конце концов, она женщина, взрослая, у нее своя жизнь, кто я такой, чтобы указывать ей, ставя ультиматумы.

— Саня?

— Да?

— А ты не можешь не ждать... Я бы сама приезжала.

— Нет, не могу, так уж по-дурацки устроен.

— Ты опять пил это?

— Да, опять.

— И это опять из-за меня, я знаю.

— При чем здесь ты, — вставляю я.

— Я виновата. Не пей это больше, я тебя очень прошу, — она смотрит на меня.

— Тебе же понравилось в прошлый раз?

— Мне понравилось, но не пей, пожалуйста. Я чувствую, что я преступница.

Она набрала больше воздуха и выдохнула:

— Ты меня ставишь в безвыходное положение.

Меня как будто горячей волной окатили: так вот, значит, почему она приезжает.

— Хорошо, с завтрашнего дня я тебя ни в какие положения ставить не буду.

Она прильнула к моей шее.

— Будешь, — попросил ее голос, — мне это нужно.

Наши губы встретились, сначала мягко. Потом ее без-

вольно и нежно отдались моим. Мгновениями было такое ощущение, что ее губы растягивали у меня в горле.

— Санечка, — мы идем по улице, я провожаю ее, — ты позвонишь мне завтра?

— ...да.

— Я буду ждать, обязательно, — у нее такой голос, что я бы отвечал и обещал на все «да».

Она целует мои губы, прижавшись ко мне.

— Завтра в девять, — размыкаются ее губы.

...Она опять не может приехать, я говорю ей «до свиданья» и вешаю трубку. Что с ней происходит во время отсутствия, я не представляю. Со мной она одна, уходит такая ласковая, такая нежная. Стоит только отрезок времени пробыть дома, без меня, как голос ее моментально меняется, холоднеет, как будто и не была другая, такая податливая, все позволяющая, неистовая, утомленная, сильная-слабая, — моя, вся моя. Мне становится страшно от ее такого голоса по телефону, чужого, незнакомого.

Бросив трубку, я возвращаюсь домой. Может, я зря так быстро повесил трубку, не выслушав ее объяснения. Да при чем тут объяснения, если она вчера только обещала, что все будет, как я хочу, и сама просила, чтобы я позвонил в девять утра, как обычно. Я захожу в комнату, закрываю дверь. Но она теперь будет знать, что я обиделся, что мне это неприятно, попросту невыносимо, и приедет, сразу или как только освободится.

Весь день я слоняюсь из угла в угол в ожидании. Темнота, судя по времени и щелям, но ее нет. Затихли шаги в коридоре, уже ходящие после ужина. Она не приехала: Ничего страшного, завтра в девять утра, когда я проснусь, она будет здесь. Я знаю, она будет.

Второй день, как близнец, похож на первый. Уже три часа дня, а ее нет. Значит, не будет. Попросту это конец, и какой же я дурной, маленький, если сразу этого не понял. Ей неудобно было сказать, просто она щадила меня. Ну что ж, и на этом спасибо. Как быстро все кончилось, но почему? Теперь ее нет и, наверно, не будет никогда. Но мне не нужна эта жизнь без нее. Она пуста и бессмысленна. Я иду и умываю лицо холодной водой.

Возвращаюсь, дверь, по-моему, не захлопывается, да теперь это и неважно.

Я лезу в папку, лежащую забыто в шкафу, и достаю его. Правая рука не дрожит. Она крепко сжимает хирургически блестящий скальпель. Я с силой прижимаю ост्रое лезвие к едва синеющим пульсикам на кисти левой руки...

Это конец, облегченно думаю я. Потом вжимаю скальпель глубже и перерезаю все внутри. Иду спокойно и ложусь на кровать. Внутри как-то легко и даже возвышенно. Будто освободился от тяжелого груза, не нужно будет ждать... Но что так режет, невыносимо режет. Ах, это лампа на столе. Я щелкаю выключателем.

(Дальше я уже не помню ничего, я кончался. Я был счастлив — ведь это же из-за нее.)

Первое, что я смутно различаю, — склоненное лицо брата надо мной, вроде оно озабочено, но такого быть не может, или это не мой брат.

Пальцами он пытается поднять (или задрать) мое веко.

— Борь, оставь в покое мое веко, — говорю я. — Я съе не покойник.

— Очнулся, наконец-таки. А я уж думал, мы тебя с того света не вытащим.

— Какая трогательная дума.

— Подожди, — говорит он зло, — очухаешься, я тебе устрою.

Сзади я вдруг различаю кого-то в белом халате.

— Кто это?

— Медсестра.

— Сам не справился, что ли? — хочу пошутить я.

— Чем? Ни бинтов, ни жгута, шприца — ничего. Из тебя уж и бить перестало, когда я вошел. Посмотри на простыни.

Простыня вся багровая. Я сворачиваю голову набок: левая рука нагло перевязана. Пытаюсь приподнять...

— Опусти и скажи спасибо.

— Спасибо, — говорю я. — Девушка хоть интересная?

— Какая? — не понимает он.

— Которая за тобой стоит.

Он отодвигается, она улыбается мне, как пациенту.

— Я вижу, что все в порядке и мы тут не нужны.

Из-за стола поднимается еще кто-то в белом халате, но на расстоянии я не различаю лица. И обращается к моему брату:

— Ну, что, доктор, будем делать, в больницу его везти надо, в спецотделение... Или вам доверить?

— Да я уж послежу. Там ведь скоро не выпускают. У него это случайно вышло. Он мальчик впечатлительный. Минительный, перемнил чего-нибудь.

— Хорошо, коллега, договорились. Запишу: случайный порез руки. Мы ведь тоже подотчетны.

— Большое спасибо.

Они уходят. Б. садится на кровать рядом со мной.

— Зачем ты, кретин, это сделал?

Я молчу. Он наклоняется и целует мою щеку, и так застыает, и вдруг, неожиданно, что-то теплое капнуло мне на щеку. Я не ожидал этого от него. Мне очень неудобно, мне стыдно.

— Б., ну не надо, я больше никогда так не буду, обещаю тебе.

Он отклоняется и уже голосом, пришедшем в себя, говорит:

— Я тебе, безмозглый, все мозги выбью, если ты только задумаешься над этим.

— Как это можно выбить мозги из безмозглого, Б.?

Он невольно улыбается.

— И что за такой ненормальный уродился, я не понимаю.

— Причем, как ни странно, Б., один нас породил.

Он смеется.

Я медленно засыпаю. Ночью мне тесно спать, мне жарко, у меня температура. Кто-то лежит рядом со мной, мне кажется, что Наталья, она, наконец, пришла. Я забываюсь снова и просыпаюсь от ладони на лбу.

— Ты весь горишь, Саша, — говорит он.

— Не переживай, тебе кажется.

— Я пришлю медсестру из нашей поликлиники, чтобы она тебе сделала уколы, очень высокая температура, — он выдергивает градусник у меня из-под мышки, мне и правда жарко, — а в районную поликлинику я звонить не мо-

гу: начнут выяснять, что случилось, и отправят тебя в психушку.

Он смотрит на градусник и ничего мне не говорит.

— Хочешь в психушку?

— Нет, Б., не надо, я буду хороший!

— То-то же, — он улыбается, — еще раз только прикоснись к своим корявым венам чем-нибудь, и я тебя туда отправлю в один момент. А оттуда скоро не выходят: посидишь там, ума наберешься.

— Где, в психушке? В психушке — ума набраться? — Интересно...

— Да. Раз своего мало.

— А кто со мной ночью спал?

— Я.

— Чего это?

— Оставлять одного не хотел.

— Прямо медсанбатка Маша спасает раненого командира.

— Поостри-поостри, так я сейчас тебе сделаю физическое внушение о том, что такое хорошо и что такое плохо, если тебя отец этому еще не научил.

— С ума сойти, как я боюсь, Б. ...

— Ну ладно, Санчик, мне пора идти, — он пытливо смотрит на меня и молчит.

И я молчу.

— Мне пора идти, я сказал...

— Ладно, Б., иди. Я никогда ничего не делаю дважды, — не повторяю и не исправляю.

— Попробуй только попробовать по второму разу, я из твоей конопатой головы все конопушки вышибу. А то такие шизики, как ты, вечно, когда не получилось первый раз, пытаются во второй...

— Подсказываешь, что ли?

— Идиот!

Он наклоняется и гладит мою щеку. Потом смеется.

— Ты что, Борь?

— Спать с тобой приятно. Лучше женщины. Греешь, как печка. А ночи холодные еще.

— А, — я усмехаюсь, — ну, заходи еще, согрею, правда, груди нет прижать...

И тут я вспоминаю...

— Ну, что ты остановился, шизик, чего в глазах помутилось, опять вспомнил что-то? Я чувствую, мне тебе сейчас надо дать по уху, а не потом, чтобы, когда я вернулся, застал тебя живым.

— Все в порядке, Б. Мне показалось. Приятной работы.

Он раздвигает губы в улыбке:

— Лучшего пожелать не мог?!

— Не-а.

— Тебе свет потушить?

— Пожалуйста. Я очень хочу спать... в темноте.

Он не слышит последнего слова, тушит свет и выходит. Я прикасаюсь к бинту в темноте. Где эта завязка? Того за-бинтовано, надо ее сорвать. Хотя я обещал ему. А, все равно. И, обхватив бинт рукой, будто обняв его, я засыпаю.

Меня кто-то трясет за плечо. Это Наталья, думаю я. Женские духи.

— Добрый день, я приехала вам сделать укол, ваш брат дал мне ключ, чтобы не поднимать вас с постели.

Вот у кого мой ключ теперь.

Она стоит склонившись, касаясь моего плеча.

— У него все такие милые медсестры?

Она вспыхивает.

— Не знаю.

— Вам этого никто не говорил?

— Давайте поворачиваться, у меня все готово.

— Куда? — спрашиваю я.

— На живот, пожалуйста.

— Что вы? — восклицаю я ошеломленно. — Вы такая симпатичная, а я к вам буду этим местом поворачиваться.

— Я же медсестра, а вы больной.

— Я здоровый, — мне жутко нравится, она все всерьез принимаст.

— Хорошо, вы здоровый, но вы пациент, и я к вам так отношусь, как к пациенту.

— Тогда тем более ничего не получится.

— Почему? — она удивлена.

— Я думал, вы ко мне по-другому относитесь... — говорю я страшно многозначительно.

— Хорошо, я к вам по-другому отношусь.

— Как вы это докажете? Я должен убедиться.

— Не знаю, — она всерьез на секунду задумывается, и стройный носик ее слегка морщится. — Ну, я вам...

— Вы меня поцелуете, — говорю я.

— Как?!... — она вспыхивает словно зарница.

— Очень просто. Иначе ничего не получится. Мама меня всегда целовала после укола. В компенсацию.

Она хватается, как за спасительный остров:

— И я — только после.

— Но вы же не мама, — резонно замечаю я.

— Правда, — искренне соглашается она.

Ну прелесть, какая девочка.

— Итак, — говорю я.

— Я не могу.

— Тогда я засыпаю, — я делаю вид, что поворачиваюсь на бок, к стене лицом.

— Не надо, пожалуйста...

— И что вы скажете доктору, не представляю.

— Ладно, раз вы настаиваете, — поспешно говорит она. — Только потом укол.

Она наклоняется и касается моей щеки губами. Какая ласковая девочка.

Я поворачиваюсь на спину.

— Только не смотрите, пожалуйста, — прошу я.

— Как же я буду делать укол, не смотря? — она удивляется.

— Ну постарайтесь, а то мне неудобно.

Я опускаюсь на подушку. Она приближается ко мне со шприцем.

— Ой, — говорю я, — больно.

— Что вы, — у нее встревоженный голос, — я же еще ничего не делала.

— Все равно больно, оттого что будет больно.

Она смеется. Как она делает укол, я даже нечувствую.

Она уже у стола. У которого не была ни одна женщина, кроме...

— У вас легкая рука, совсем не больно, спасибо.

— Пожалуйста, — лицо ее дарит мне улыбку.

Она закрывает чемоданчик.

— Ключ я оставлю на столе. Выздоровливайте.

— Я постараюсь, — она приближается к двери. — И... не обижайтесь насчет поцелуя. Знаете, больные люди с прищудами. Словом, как пациенты...

— Наоборот, мне не на что обижаться. Я даже хочу поцеловать вас еще. — Она порывисто наклоняется и целует меня дважды: — За ваше терпение... Если это поможет вам выздороветь.

Дверь за ней бесшумно закрывается, она вышла очень спешно, даже не сказав «до свидания».

Я засыпаю, что она мне там вколола?

— Так! — просыпаюсь я от громового голоса, — кононтоатое твое отродье, ты чем же это с моими медсестрами занимаешься?

— Ничем, — спросонья отрицаю я.

— Как это «ничем»?!

— А что, все рассказала?

— Это потеха была! Она возвращается, я ее спрашиваю, все в порядке, Оленька? Да, отвечает она, я его поцеловала.

— Как? — обалдело спрашиваю я. Она отвечает: он говорит, что мама всегда ему так укол делала. Ну, я еле сдерживаюсь. Она мне: но, Борис Наумович, он такой, такой...

— Развратник, конечно, ужасный: страшное дело, поцеловала два раза!

— Не перебивай, козявка. Она говорит: такой милый, он мне понравился, и... я его второй раз сама поцеловала... — и стоит вся смущенная, зардевшаяся, прямо очарование. Я даже взгрустнул, свои молодые годы вспомнил.

— Смотри, какая честная девочка.

— Она милашка, ее вся поликлиника любит.

— Да, очень милая.

— Я рад, что она тебе понравилась, твои штучки сразу узнал. Вот я и подумал: она очень приятная, милая девочка, тебе понравилась — может, сменишь коньки на санки и успокоишься...

— Б., — перебиваю я, не дослушав, — ты ничего другого не придумал, что это...

— Хорошо, успокойся, я пошутил.

Я успокаиваюсь. Неужели со стороны это так неглубоко кажется, что сму приходят в голову подобные мысли.

— Упала температура?

— Вроде да.

— Это хорошо. Завтра, может, поднимешься.

— Конечно, я ненавижу лежать. И чего ради, не болезнь же это.

— Рассуждай меньше. Есть хочешь? — он с неловкостью взглядывает на меня.

— Нет, спасибо.

— Что, всю жизнь теперь помнить будешь?

— Нет, мне совсем не хочется. Правда. Там в шкафу яблоко, дай, пожалуйста. Там еще одно должно быть, возьми себе тоже.

Он дает мне яблоко. Натальино яблоко. Как она отдалась за эти два-три дня. Какой стала далекой... Будто ее и не существовало никогда. Будто и не было того, что было: наших объятий, тел, пота в этой комнатке, похожей на келью.

Мы одновременно и непроизвольно откусываем яблоки, каждый свое. Натальину память съедаю, думаю я.

— Санчик, там шоколад, это для меня?

— Для тебя, — говорю я, — узнаю брата Борю.

Он принимается за него с жадностью.

— Я понимаю твою жертву, шоколад, конечно, для Натальи, но такой я злодей — уничтожаю святое. Где она, кстати?

— Занята, наверно, дома, — я стараюсь влить в голос безразличие.

— Поскорился, что ли?

— Нет, я с ней никогда еще не скорился. Но не может же она все дни сидеть возле меня. У нее экзамены, диплом, семья...

— Понятно, — говорит он. — Так ты точно не хочешь есть? А то я тебе принесу что-нибудь из столовой?

Я отрицательно качаю головой.

Он возвращается сытый и улыбающийся.

— Чувствуется, что поел, — острю я.

— Весьма не слабо, — довольно отвечает он, не замечая моей остроты.

— Музыку поставить?

Я киваю. Он включает магнитофон, но звук делает немножко. Он садится около стола, щелкает пару раз лампой. Потом спрашивает:

— Ну, может, ты мне теперь скажешь, почему ты это сделал?

— Что это? — прикидываюсь я.

— Не прикидывайся идиотом, — говорит он, глядя на меня.

— А что?

— У тебя это натурально получается.

— Спасибо.

— Пожалуйста.

— Пожалуйста.

— Спасибо. Так я спросил.

— Я не знаю...

— Но когда ты брал этот дурацкий скальпель и нёс его к своей псевдоподии, прошу прощения, руке, ты же говорил своей пустой голове что-то?

— Ничего. Просто жить не хотелось. Не было абсолютно никакого желания продолжать это. Влачить существование, как говорят высокие поэты.

— Но ты еще вроде не высокий.

— Но и не низкий уже. Очень многое, Б., изменилось тех пор, как я встретил ее. Хотя и прошло всего полтора месяца, но мне кажется, что вечность, жизнь.

— И результат твоего изменения — rezание вси?

— Нет, просто без нее мне...

— Вы что, расстались?

— Нет, но...

— Что «но», изреки уже, недоразвитый?

— Не все так просто. Да и не только она одна причина. Все вместе: и отец, который не понимает меня или не хочет, и институт, который мне на фиг не нужен, и эта жизнь без крыши, рубля и куска, такая, что я даже не могу забрать ее от мужа и поселить у себя, создать ей все условия, чтобы она была счастлива, довольна.

— Ты смотри, как мало ты захотел, и это всего лишь в два упавшие, еще не созревшие девятнадцать лет. Что

тогда мне говорить в свои двадцать семь, не имея даже нормального пальто?

— Борь, это другое дело. Я же не о себе забочусь, мне ничего не надо. Я хочу, чтобы она могла быть со мной, счастлива, чтобы не была ущемлена ни в чем, по сравнению с ее нынешней обеспеченной жизнью.

— Если ей захочется связать себя с тобой настолько серьезно, то ее не будут волновать параллели, как она жила и как будет жить.

— Да, но я буду дергаться, что я не могу ее обеспечить; что ей будет не хватать. Деньги, эти проклятые деньги. Вечно их не хватает. И отец понимать не хочет.

— Он тебе и так дает достаточно. Я, когда учился, столько не имел.

— Но и у него тогда еще не было столько. Он только три года как защитил докторскую.

— Не в этом дело. Просто ты еще многого не понимаешь. Совсем маленький: Наталья, совместное жилье, бок о бок: разбежишься, куда глаза глядят, как месяц рядом проживешь.

— Не говори так, Борь.

— Ну хорошо, хорошо, святое затронул.

— Дело не в святости. Мне неприятно. Почему, как что-то сложное возникает и надо что-то решать и решаться — сразу маленький, ребенок, вырастешь, увидишь, изменившись. Да не волнует меня потом и что будет. Мне сегодня необходимо знать, может, я завтра жить не буду.

— Ладно, не дергайся, опустись на подушку. Что это за разговоры опять «жить не буду»? Снова начал?!

— Да я о другом и не это имел в виду. В общем, поздно, и тебе пора.

— Выспаться, согласен, надо. Завтра сюрприз тебя ожидает.

— Какой? — спрашиваю я.

— Узнаю брата! Ты, филолог, значение слова сюрприз понимаешь? Знаешь его этимологию, лексическое значение? Или объяснить?

Музыка вдруг кончается, и лента щелкает по панели, прикрывающей проигрывающее устройство.

Он поднимается и выключает все, выдергивая провод из розетки.

— Спокойной ночи, Саша.

— Спи спокойно, Б., — отвечаю я.

На следующий день я встаю и читаю, сидя за столом, проклятое «Бремя страстей человеческих». Дурная привычка — дочитывать начатую книгу до конца. Потом устаю сидеть. К вечеру в коридоре раздаются разнообразные шаги.

Кто-то стучит, остановив шаги, в мою дверь. Но это не ее стук, да я уже и не жду.

Я открываю дверь, и она бросается мне на шею. Целует меня, попадая куда-то в щеку, в шею. Сзади в комнату входит, скромно улыбающийся, мой брат.

— Ну, как сюрприз?

— Когда ты приехала?

— Только сейчас, Борик меня встретил на Рижском вокзале. Это недалеко от его работы.

— Ценю его подвиг, это редкий случай, чтобы он кого-то встречал.

— Значит, я заслужила! — она смеется звонко.

Между собой с Б. мы зовем ее условно «рижанка». Она приезжает к нему в каждое свободное мгновение. У нее очень красивая, тщательно убранная голова из ярких черно-смольных волос, которые мне нравятся. И вообще, она импозантная, привлекательная, цветущая женщина. Одного только не пойму, зачем она этот расцветший цвет переводит на моего брата?

— Заходи, Лина, как к себе домой, — я помогаю ей снять пальто, она остается в черном изящном платье, еще более подчеркивающем ее почти пышную вертикальную грудь.

Я сажаю ее за стол и опускаюсь напротив.

— Ну, как Прибалтика?

Она улыбается.

Встревает Б.:

— Мне ты не предлагаешь раздеться?

— Нет, ты же все равно разденешься. Да еще и останешься...

Лина смеется.

— Холодина там ужасная, с ветром. И дожди идут.

— Я люблю дождь.

— Я тоже, Сашенька, но не тогда, когда он тебя пронизывает до самого... — она останавливается.

— Чего? — спрашиваю я.

Она смотрит на меня и говорит:

— Ты совсем уже взрослый стал.

— Так что можешь уже менять...

Мы смеемся, глядя друг на друга.

— Разговорился много, — говорит Б., усевшись за стол. Ему не хочется меняться.

— А что? Если она мне нравится, — я беру ее руку и целую.

Лина смотрит на меня искрящимися глазами.

— Ты не против?.. — он многозначительно смотрит на нее.

— Чего?

— Ну, поменять меня на него.

— Конечно, нет, он же твой брат, он мне нравится. Б. хмыкает и смотрит на меня.

— Тогда я заберу Наталью.

Я вздрагиваю, как от пощечины.

— Хорошо, хорошо, — он уже сжимает мою руку, другую, — я пошутил. Не дергайся.

— Кто это, Боря? — спрашивает она.

— Сашина знакомая, — как-то несозвучно звучит.

— У Сашеньки новая любовь, значит? — спрашивает она. — Расскажи, мне очень интересно, она красивая?

Она смотрит на Б., он молчит и с легкой улыбкой смотрит на меня.

— Ну, так как?

Я не отвечаю ему, поворачиваюсь к Лине.

— Это долгая история, позже как-нибудь расскажу. О, хотите шампанского, Лина, у меня есть бутылка. Б.?

— Ты же знаешь меня, — он улыбается, — я никогда ни от чего не отказываюсь.

— Это точно, — смеюсь я.

— И ни от кого тоже, по-моему, — многозначительно добавляет Лина и смотрит на него.

— Борь, у нее красивая грудь, правда?

— Да, — кивает он, — но женщинам комплименты говорить не следует, усядутся, — он показывает рукой на голову, — потом не снимешь.

— Я надеюсь, вы меня до ног обсуждать не будете... — она улыбается.

— А хотелось бы?.. — вставляет Б.

Я достаю стаканы и бутылку Натальиного шампанского (вернее, купленного для нее). А, все равно!

Он берет бутылку у меня из руки...

— Есть, к сожалению, нечего, — грустно констатирую я.

— У меня полная сумка сандвичей, я не ела в дороге, спала.

Она выкладывает все на стол. Б. шумно вдыхает.

Трахает пробка, и шампанское льется.

— Сколько? — спрашивает Б.

— Пятерка, — отвечаю я. Мы всегда ставим оценки за открывание шампанского.

Я подаю стакан Лине и поднимаю свой. Б., еще не взяв стакана, уже ухватил рукой самый громадный бутерброн с колбасой.

— Борь, — говорю я.

— А что, кто-то говорить собирается?

— Линочка, за твой приезд и чтобы ты была счастлива!

Она целует меня, быстро наклонившись, в щеку. Я без тостов пить не могу, кавказская привычка. И хоть они иногда могут звучать банально, но я вкладываю в них более глубокий смысл.

Мы отпиваем по глотку. Б. допивает стакан до дна и набрасывается на бутерброн, как... Это набрасывание сравнишь разве что: как волк на ягненка или рысь на лань. Что-то там в нем чавкает, урчит, перемалывается и переваривается. Мы смотрим с Линой друг на друга.

— Борь, он все красивей становится, твой брат.

— Угу, — бурчит Б.

— Так тебя скоро перегонит, — (жевание прекращается).

— Не-а, — убежденно рычит он, и жевание продолжается.

— Сашенька, ты правда очень хорошо выглядишь, киска. Если б не твой брат...

Жевание замирает, наступает полнейшая тишина, она смеется от всей души, жевание продолжается, удовлетворенно урча.

Она протягивает руку через стол и треплет его по щеке:

— Борчик. Ты у меня один такой, — (он согласно кивает головой). — Зато я у тебя не одна, — добавляет она.

Он делает вид, что не слышит. У него это натурально получается.

— Сашенька, — она отпивает из стакана глоток, — так кто же эта Наталья?

— Женщина, — отвечаю я.

— Взрослая?

— На пять лет старше меня. Но, — поспешно добавляю я, — выглядит очень молодо. Женщина в юности. Вообще, я не могу ее оценивать.

— Чем она занимается?

— Английским, кончает институт.

— Она замужем?

— Да. У нее дочери скоро четыре года.

— А как же... вы встречаетесь?

— Дочь за границей у родителей.

— Значит, у них состоятельная семья? Она со вкусом одевается?

— Да, очень.

Лину всегда такие вещи волнуют.

— Она должна быть красивая, если понравилась тебе. Ты встречаешься с ней, несмотря на ребенка?

— Я об этом даже не думал.

— Да? Это так серьезно?

Б. уже прикончил третий бутерброн и налил себе шампанского.

— А когда ты должен с ней встретиться?

Я подумал. Кто знает когда. Лине всегда все интересно знать, особенно о красоте, одежде, о московских людях. Я ненавижу подобного рода разговоры, но ее — мне нравятся. (У нее это так натурально и искренне получается.)

— Не знаю, Лин...

— Друзья, — говорит Б., — я оставил вам два бутерброда, и прикончите это быстро, а то вы искушаете меня.

Я не ел ничего два дня и чувствовал, как голова моя покруживается, потому и протянул руку к бутерброду.

— Что это? — вскрикнула она и взглянула на моего брата. Ее глаза переходили с моей руки на его лицо.

— Повязка.

— Я вижу, Борик, что повязка, но от чего?

Б. молча глядит на меня.

— Лин, в какие театры ты хочешь сходить за эти дни? Она понимает, что тема закончена.

— На «Таганку» мечтаю попасть. Боречка все обещает.

— О, если «Боречка обещает»!..

— Не вякай, козявка, — говорит он мне. Я смеюсь, пытаясь забыться...

— Какое сегодня число, Б.? — спрашиваю я.

— Тридцатое марта.

Господи, подумал я про себя, две недели, как мы не виделись. На завтра у нас билеты. Месяц назад я пригласил Наталью в театр, робко и скромно.

(— А какая пьеса? — спросила она.

— «Золотой мальчик».

— Санечка, это как про тебя! — воскликнула она и засмеялась.)

Но билетов на Таганке раньше, чем через месяц, в театральном киоске не было, пришлось купить на тридцать первое марта. Один билет я отдал тогда ей, за что она мне сказала спасибо.

— Знаешь, Лин, у меня, возможно, будет билет для тебя, очень хорошая пьеса.

— Спасибо, — радостно воскликнула она. — Я так рада, Саненька, театр — это моя болезнь.

— Откуда? — спросил Б.

— Месяц назад купил.

— Один?

— Второй у Натальи.

— Так она пойдет?

— Не знаю.

— Саненька, позвони ей, если она не хочет, Боречка со мной пойдет. Да, Боречка?

— Я не могу ей звонить.

— Ну, ради меня, пожалуйста.

— Даже ради тебя, к сожалению.

— Так ты к гостям относишься, — подзуживает Б.

— Я бы ее заодно посмотрела, — улыбнулась Лина, — очень уж мне интересно, какая дама пленила твоё сердце.

— Ну хорошо, Лина, и только потому, что ты в Москве два дня... И так как...

— Борчик, я не верю, что выберусь с тобой в театр. Ты никогда не раскачашься, все твой братик. Спасибо, Саненька!

Б. отечески улыбается, достает кошелек и протягивает мне... двушку. С ума сойти, такого с ним никогда не было.

— Что, в театр поскорее хочется? — ехидницая я.

— Нет, чтобы ты на одну ночь меньше мучился, — он не улыбается.

Я лезу в карман своего пиджака, бывшего морского кителя, и достаю из нагрудного кармана-планкой вчетверо сложенный билет.

— Лина, твое представление на завтра.

— Он добрый мальчик, — отечески говорит мой брат и добавляет: — Дай я тебя поцелую, Санчик.

Мы целуемся.

— Ну, еще шампанского? — стараюсь я стряхнуть с себя грусть своего одиночества и зависти к их двойству, которое они ценят, но не так, как я, когда бывал, был с Натальей.

Выпиваем оставшееся и сидим курим мои папиросы. Брат тоже начал к ним пристращаться.

— Борчик, я спатьки хочу, — говорит Лина.

— Это обязательно, — говорит он и улыбается.

— Я правда хочу, я устала.

— Все устали, — говорит он, — и все хотят.

Она силиится сдержать улыбку губами. Они встают. Я провожаю их до двери брата.

— Здесь ты живешь? — спрашивает Лина. — Я еще на этой квартире у тебя ни разу не была.

— Будешь, — отвечает Б. и смеется.

Мы заходим в его пустую большую комнату.

— Борчик, здесь холодно, но мне нравится. А где ванна, я хочу принять до сна.

Мы ржем, как лошади во время купания, и не можем остановиться.

Пробуждаюсь я тихо и легко. И сразу же вспоминаю, что могу звонить. Я одеваюсь через секунду и выхожу на улицу. Я дрожу, это, наверно, потому, что на улице холодно с утра.

Диск соскачивает, и приходится набирать снова. Характерный прозвон ее телефона: первый гудок — прерывающийся...

— Алло, — отвечает она.

— Здравствуй, Наталья, — голос у меня почему-то прерывается. Как тот гудок.

— Санечка, я знала, что ты позвонишь сегодня, я сидела и ждала. Вечером у нас *первый* театр, да? — как будто ни в чем не бывало. Ее голос звучит хорошо.

— Кажется, да, — грустно отвечаю я.

— А что ты такой невеселый, что-нибудь случилось у тебя?

— Нет, у меня все прекрасно.

— ...Я рада. Так мы сегодня встречаемся?

Она спрашивает меня!

— Угу...

— Ты хочешь раньше?

— Как ты угадала? Ты у меня на редкость догадливая, Наталья.

— Санечка, не надо так говорить, я ни в чем не виновата.

— Конечно, это я виноват, что ты не приезжала две недели. — Я зря это говорю, я ведь дал себе слово. Не говорить.

Голос ее наполняется нежностью:

— Мы увидимся с тобой до театра и обо всем поговорим. Хорошо?

Мы договариваемся, где встретиться. В шесть часов вечера, у гостиницы «Россия», кинотеатр «Зарядье».

Я возвращаюсь в комнату, раздеваюсь и ложусь обратно. Мне жарко. Целый день ждать. Как его убить?

Глаза мои смыкаются, и я засыпаю.

— Сашенька, добрый день.

— Уже день разве?

— Да, половина первого, — говорит она.

— Заходи, Лина.

Я плюхаюсь опять в кровать. Вылезать из-под теплого одеяла никакого желания у меня нет, и спать хочется. К тому же рука болит.

Она проходит и садится у стола. Высокий свитер под горло, грудь торчком, волосы высоко взбиты.

— Как спалось? — спрашиваю я.

Она улыбается:

— Ужасно: холодно, кровать с досками, одеяло колется.

— Боевые условия, — смеюсь я. — Полевые.

— Как твоя Наталья? — спрашивает она.

Я даже вздрагиваю сначала, не понимая, откуда она знает.

— Хочешь музыку, Лина?

— Очень, — отвечает она.

Я объясняю, где нажать, и музыка включается.

Потом... мы с ней два часа говорим о Наталье, я рассказываю и рассказываю, не умолкая, только голос прерывается иногда у меня. Почему я вдруг все рассказываю, сам не знаю.

Кассета кончается, надо вставать, одеваться. Гостей нужно кормить.

Лина идет рядом со мной, пальто ее застегнуто, и изящный шарф выпущен наружу. Очень привлекательная женщина, думаю я, перехватывая взгляды прохожих.

Брат и правда дома, когда мы возвращаемся.

— Где гуляли? — спрашивает он, не глядя. — А запах, как от вина.

— Правильно, Боречка. Мы с ним пили вино и ели цыпленка-табака.

— Обо мне небось не подумал, — смотрит он зло и голодно на меня.

— Сашенька тебе тоже взял цыпленка-табака, я хотела заплатить, но он не дал.

Она достает аккуратный сверток, который сделала официантка (рубль на «чай»), из сумки.

Только теперь Б. верит. Он смотрит, как Линина рука разворачивает все, и говорит:

— Он знает, что он делает, — и одобрительно хлопает меня по плечу.

— Спасибо, Б., — шучу я, — не ожидал: Высшая Похвала.

Я сажусь у окна на последний стул и закуриваю. Лина опускается на кровать. Боря сидит за столом и превращает цыпленка в остатки. Я смотрю в никуда: окно. Забранное ставнями. Отчего мне так грустно?

— Боречка, тебе нравится?

— Угу, — урчит он. Прожевывает и говорит: — Вина, конечно, не догадался принести.

— В клюве, что ли, Борь. Но если разрешите, сейчас немедленно сбегаю, одна минута, — я еле сдерживаюсь.

Губы его блестят, глаза довольны.

— Ладно уж, отдохтай, обойдусь без вина.

— Есть, товарищ командир! — вскакиваю я.

Он смеется:

— Я смотрю, тебя неплохо вымуштровали на военной кафедре, а?! Того глядишь, отличным старлейтом станешь!

Он углубляется в цыпленка.

Я философски рассуждаю:

— Ему, конечно, повезло, что он тебе жареным попался.

— Почему? — спрашивает брат.

— Так бы ты его сырым скушал...

Лина смеется. Б. благодущен, из него можно веревки вить, когда он насыщается или насытился.

— Борь, у Лины красивые зубы, когда она смеется, да?

Он смотрит на нее, как будто впервые:

— Что-то потомок заговорил много о тебе. Вы чем там после вина занимались, а?

Все смеются. Мне радостно и тревожно: осталось два часа. Прошла вечность, как я не видел ее. Как она выглядит, изменилась ли? Зима окончилась, я не представляю ее без...

Ох! А я-то в чем пойду? Пальто нет! В дубленке жарко,

и снег растаял. Куртка белая и короткая, к костюму, как перья страуса. А сегодня надо костюм одеть.

— Борь, — ужасаюсь я, — мне же одеть нечего.

Доеv цыпленка, он соглашается.

— А в чем ты хочешь идти?

— В костюме.

— Ты же не идешь в театр.

— Вдруг она захочет. Не переживай, куплю еще два билета у театра или на контроле пятерку дам, пропустят.

— Ой, я очень хочу, чтобы все пошли в театр, — говорит Лина.

— Ты хочешь? — спрашивает брат.

— Нет, — отвечаю я, — мне нужно поговорить с ней о многом, не до театра.

— Что же тебе одеть? — думает он и становится добрым. В последнее время это с ним редко бывает.

— Как насчет твоего «отличного» кожаного пальто?

И тут мы начинаем с ним вместе смеяться и ржать так, что Лина смотрит на нас как на ненормальных.

— Что это, Боречка? — спрашивает она.

— Это отпрыск помогал мне пальто покупать. Перед зимой в декабре. Узнал, что на Большой Грузинской в комиссионном бывают хорошие пальто. Ну, приехали мы туда. Все пальто стоят далеко за двести, а у меня только сто рублей, да еще куцать хочется. А холодина на улице ужасная, ветер ледяной, со снегом, а я в финском плащике хожу на подкладке. В отделе кож увидел он это счастливое пальто и тянет меня: «Борь, посмотри. Какое длинное, всего девяносто четыре рэ стоит». Стали внимательно смотреть. Заставил он меня померить. Вроде ничего, но его приталивать надо, нет подкладки, и вообще, я остался безразличен, но он — возбудился. А ты ж его знаешь: Боря, да отличное пальто, где ты еще возьмешь такое, стоит гроши (хороши себе гроши — девяносто четыре рублика), макси, кожаное. Короче, не я себя, а он меня уламывал полчаса, девушки комиссионного магазина собирались, болели. Он даже дал мне четыре рубля, чтобы мне не так грустно было, и под расчет платить пришлось, а десятка на жизнь осталась.

На следующий день одел я это пальто. Ветер колом его

ставит, распахивает, оно холодное, совсем не греет. Полмесяца мы искали портного, четверть месяца он морочил нам голову, а когда назвал цену, у меня в голове помутилось и в глазах потемнело — больше, чем само пальто стоит. Следующий месяц мы с ним ругались, кто виноват. С января он его продать пытается, да, видать, оно никогда не продастся. А я всю зиму так и проходил в плащике на отстегивающейся подкладке. Теперь пускай его сам одевает. Впрочем, другого выхода у него нет! Во-первых, одеть нечего, а во-вторых, я объявил, что это пальто его, а не мое, он заставил меня купить, и что он мне должен девяносто рэ. А если я объявил, не могу же я взять свои слова обратно! — он улыбается.

— Где это пальто, я хочу его посмотреть, — говорит Лина.

— Сейчас он оденет его и придет, давай, Санчик, иди. Я ухожу одеваться. Они будут одеваться тоже.

Костюм я одеваю на уже надетую рубашку, а вот пальто, достав с вешалки из шкафа, рука медлит одевать. Наконец решаюсь. Господи, неужели я думаю только о ней и как она воспримет. Смотрю в шкафное зеркало. Что ж, не так плохо, только впечатление, что там два таких. Как я. Яправляюсь с непослушными волосами, одетый в длинное кожаное пальто, которое брат купил себе от холода. Зимой...

Стучусь в дверь к брату. Лина одевается, и я жду пару минут. Наконец я захожу, она красится у подоконника, стоя спиной к нам.

— А почему ему можно смотреть, как ты одеваешься, а мне нет? — шучу я.

— О, — серьезно отвечает она, — его это уже давно не интересует, смотреть на меня, когда я одеваюсь... или раздется. Правильно? Он все больше спатки теперь любит, да, Боречка?..

— Санчик, — говорит Б., — отличное пальто!

И смеется, начиная кататься по кровати.

Лина оборачивается, не утерпев:

— Оно тебе очень идет, Сашенька, ты в нем такой юный и таинственный. И взрослый в то же время, не по годам.

Революционным, думаю я.

— С ума сойти, какое сочетание, — улыбаюсь я.

— Только оно на два размера больше его, — говорит Б.

— Зато макси и это скрадывает, — возражает она.

Потом пять минут речь идет о пальто, а я стою как Гаврош на площади Восстания.

— Надо что-нибудь придумать, чтобы хоть в поясе не было так широко.

Он придумывает. Пояс стягивает сзади, затягивая его в несколько складок между спиной и ... простите. Застегивает меня на все пуговицы, и получается терпимо. Плечи сверху, суровая талия и расклешенные длинные полы книзу.

— Б., спасибо, — произношу я.

— Все брата не ценишь, — набивает себе цену он. И добавляет: — Но я бы в таком не пошел.

Они еще дебатируют по поводу пальто, а мне уже до лампочки.

— Пора выходить, — говорю я.

— Я через минуту буду готова. Интересно, какая твоя Наталья? — думает Лина, продолжая краситься.

— Увидишь, — говорю, а в горле что-то перехватывает.

Выходим мы на улицу не через пять минут и не через десять, а через пятнадцать.

Я уже было одел белую куртку, но они меня вынули из нее и надели опять пальто. Б. успокоил, что не так уж страшно. «Люди шарахаться не будут».

На площади я беру такси. Мы опаздываем.

— Деньги давят, да? — говорит Б., — жмутся в кармане? — Хотя и садится первым, впереди.

Мы входим в вестибюль гостиницы «Россия», людей, как всегда, полно суетящихся.

Время без четверти шесть.

— Ну вот, чего гнал, — говорит Б., — еще пятнадцать минут времени. И так успели бы.

— Я не люблю опаздывать. Лина, хочешь мой любимый коктейль попробовать? Здесь единственное место, где я его пью обычно. Пил, — поправляюсь я.

— Очень хочу. А у нас есть время, всего четырнадцать минут осталось?

У каждого свой подход к времени.

— Не волнуйся, она никогда не приходит вовремя, всегда опаздывает. Да, и вы здесь останетесь, чтобы не мерзнуть, я встречу ее, и мы к вам подойдем.

— Ты только не забудь, когда спектакль начинается, — говорит Б.

Мы поднимаемся по лестнице на пол-этажа и подходим к бару. На антресолях.

Они садятся. Я подхожу к стойке, барменша моя старая знакомая, еще когда я школу кончал в Москве и пытался поступать в театральный, она мне обычно оставляла американские сигареты и не брала сверху ничего.

Может, я ей кого-то напоминал...

— Здравствуй, Саша, — говорит она, — три месяца не видела тебя, с самого Нового года. Тогда, когда ты поил брата, или кто он был, помнишь?

— Брат, вон он, сидит за столом.

— Тебе твой коктейль, как обычно?

— Да, два, пожалуйста.

— И доверху шампанского?

Я даю ей много на чай.

— Спасибо, раньше я у тебя не брала, неловко было.

— Все меняется. Раньше и сигареты были американские.

— Я знаю, что ты их любишь, милый, нету ни одной пачки уже месяца два. Я бы тебе оставила.

— Знаю. Спасибо за коктейли.

Я беру два стакана и иду к столу.

— Я думал, ты там до конца вечера останешься, — язвит Б.

— Старая знакомая.

— А это она тогда подавала тридцать первого вечером?

— Да.

Он поворачивается и машет ей рукой.

Лина тянет через соломинку, пробуя:

— Ой, как вкусно. Как это называется, Сашенька?

— Шампань-коблер.

Тут она замечает:

— А почему ты себе не взял, киска?

— Да, — увидел Б., — чего это ты?

— Мне не хочется, не знаю, иди надо.

Я начинаю волноваться. Мы столько не виделись. Как она ко мне отнесется? Наверно, это конец. Все что угодно, но я не хочу этого прощания, которое, понимаю, неизбежно; я не хочу быть, жить без нее. Я — пустота, и пустое все вокруг.

— Б., — говорю я, — вот деньги, — кладу пять рублей из кармана на стол, — выпьете, возьмешь еще, и на чай ей оставишь — да не забудь, ей, а не себе. А то так и будешь, как бедный студент, весь вечер с одним коктейлем сидеть. — (Ненавижу.)

— А я и так не богатый.

Он забирает деньги со стола.

— Я пошел, друзья.

— Поговори еще, — просит Лина, — мне так нравится, когда ты говоришь. И в этом пальто ты такой неприступный.

Еще ж пальто!

— Ну, я буду, — говорю я и бегу по лестнице к большому зеркалу. Пугало, ей-Богу. Я оправляю пальто и так и эдак. А ну, думаю, ничего не изменится. Может, на руку взять? Но это идиотство. Да и упаду я под ним, такое оно тяжелое. И на какую руку взять...

Остается пара минут, а дойти до кинотеатра и спуститься минута. Мне не хочется опять стоять и ждать, и дергаться.

Я выхожу на улицу, двести пятьдесят раз пытаясь поправить прическу, волосы, бесполезно.

Я дохожу до парапета и смотрю сверху, на вход кинотеатра, там, конечно, пусто.

Смотрю влево, там прогуливается у круглой клумбы какая-то девушка в замшевом пальто и шапке торчащего меха. Интересно, в чем придет Наталья?

Я медленно спускаюсь по каменным ступенькам, выхожу на площадку у кинотеатра и подхожу к бордюру. Оглядываюсь на девушку, она стройная и элегантная. Может, подойти познакомиться? А почему бы и нет, я свободный, все равно все кончилось или кончается, ее не волновало, что со мной и как я. Фу-у, какая чушь в голову лезет. Я ставлю ногу на бордюр и пытаюсь расправить полы пальто, запахнуть так, чтобы было «модно». Минут

пять я меню позы и положения. Я чувствую внутри пустоту и напряжение. Смотрю на дорогу, где машины, никто не затормаживает, она должна прискать на такси. Вечно опаздывает, конечно — я же могу ждать, я буду это делать, ж д а т ь.

— А старых друзей мы уже не узнаём? — неожиданно раздается голос за моей спиной.

— Нет, — невежливо буркаю я и гляжу на остановившееся такси. Нет, не она.

Я оборачиваюсь, эта девушка в замшевом пальто тонкого стильного покроя, что гуляла слева. Откуда я могу ее знать? Шапка с торчащими иглами меха надвинута на глаза. Ну, времена! — если такие девушки сами знакомятся...

— Санечка, — слышу я родной голос, — ты правда не узнал меня? Неужели я так изменилась?

— Наталья!.. — я приоткрываю рот от изумления. — Я не узнал тебя. Ты давно приехала?

— Я жду тебя минут двадцать. Я раньше приехала.

О, Господи, ужасаюсь я, значит, она видела все позы, которые я принимал, изменил, пытался.

— А почему ты ко мне не подошла?

— Я не смотрела вокруг, думала, когда ты приедешь, увидишь меня сам. Ты же мне не разрешаешь смотреть по сторонам...

Я вздрогнул. Она посмотрела мне в глаза. Меня внутри будто вересковым медом окатили.

— Ты же знаешь мои минус два с половиной. Но я бы не узнал тебя все равно, ты так не похожа на ту Наталь... — я осекаюсь.

— Ну-ну, — она улыбается, — не стесняйся.

— Ты хорошо очень выглядишь.

— Спасибо, Саня. Вот мы и дожили до комплиментов. Это редкость — от тебя.

— Да, не умею говорить, лучше выражать.

— Я с тобой полностью согласна, Санечка, — она смеется. — Ты что такой серьезно-возвышенный? Ты мне нравишься в этом пальто. Оно тебе идет. Но я сразу узнала тебя.

— Это приятно.

Она берет меня за руку и смотрит так мягко, грустно, ласково, нежно, и вдруг говорит:

— Саня, очень плохо было? — так тихо-тихо. — Я знаю, я плохая, но я не могла.

— Ну что ты, — я задыхаюсь, — это ничего, Наталья, пустяки.

Голос мой прерывается...

Она отклоняется от меня. Была так близко-близко.

— Тебе даже не хочется меня поцеловать?

— Потом.

— Хорошо, Санечка! Что мы будем делать, куда ты меня поведешь? — она хочет быть бодрой.

— Мы вроде в театр собирались. На «Золотого мальчика».

— У меня есть один... — и она долго смотрит на меня. — Что ты, Санечка? Что с тобой? Ты не глядишь на меня.

— Все нормально, Наталья. Все прекрасно.

— Саня, ты не очень обидишься, если... мы не пойдем в театр?

Я смотрю на нее. Она мгновенно объясняет, касаясь чуть моей руки. У нее всегда это очень красиво получалось, будто нечаянно, будто ей не разрешено все.

— Прилетел папа на три дня, по работе. И я бы хотела вернуться раньше. Он только в двенадцать дня пошел домой. Я даже не поверила. С трудом придумала, куда мне надо на ночь глядя.

— Конечно, Наталья Борисовна, все, что вы пожелаете. Она улыбается, мы поднимаемся вверх по лестнице.

— У тебя хорошая память, я только раз сказала свое отчество.

— Все, что связано с тобой, — это свято.

— И хоть ты шутишь, но это приятно звучит, мне нравится.

— Я никогда не шучу с тобой, Наталья.

— Буду знать теперь, — она смеется. — А иногда было бы полезно. Саня, ну не будь таким серьезным. Значит, ты не обидишься, если мы не пойдем сегодня на спектакль, а я вернусь раньше, я не видела год отца. А мы пойдем с тобой в театр в другой раз, ладно? Санечка?

Значит, он будет — другой раз!..

— Надеюсь, билет ты взяла с собой, — не очень довольно говорю я.

— Конечно, Санечка, — отвечает она быстро, — мы можем подъехать сейчас к кассе и продать.

— Обязательно, Наталья, завтра прямо и поедем.

— Как? Спектакль же вечером, и билеты только на сегодня.

Я сморщиваю лицо и поворачиваюсь к ней:

— Наталья.

— Ах, да, да, Санечка, — поспешно отвечает она, — я и забыла, что мы все миллионеры.

— Не пропадут они, Боря пойдет, к нему девушка из Прибалтики приехала.

— Красивая?

Я смотрю на нее, не понимая вопроса.

— Ревнуешь, что ли?..

Она смеется:

— Санечка, ну перестань быть таким серьезным и взрослым, а то я неудобно чувствую себя. А брат мне твой, прямо скажем, даром не нужен, у меня муж дома такой. Да еще все заработок свой пытается мне всучить, вот какой чудесный и положительный. Даже по бабам не гуляет, как жена, меня воспитывает, можно сказать, личным примером, так что...

— Наталья!

— Извини, Санечка, сорвалось. Тебя это не должно касаться, дела семейные. А ты у нас легкоранимый.

— Меня это должно касаться, — (пока ты еще со мной!), — но раз ты считаешь, что не должно касаться...

Она смотрит загадочно и говорит:

— А когда я буду не с тобой, тебя это не будет касаться?

— !...?

— Хорошо, хорошо, Санечка. Не углубляйся, я пошутила. А как мы успеем передать билеты твоему брату?

— Значит, волнуешься все-таки за брата?

— Да, конечно, билеты жалко. Так, ну не хватало, чтобы ко всем моим грехам ты мне еще и твоего брата приспал.

— Он здесь в гостинице, ждет меня в баре. Идем, я отдам билеты, и мы будем свободны.

— Ты хочешь, чтобы я познакомилась?

Все понимает эта женщина, с полуслогом^a.

— А что в этом страшного?

— Ничего, я просто не готова, выгляджу^b не так, чтобы знакомиться... — она глядит искоса на меня.

— Ох ты, Господи, какие мы аристократичные и пизантные стали.

Она улыбается.

— Я второе слово не поняла.

— Я тоже.

— Что? — спрашивает она.

— Его не понимаю, — отвечаю я.

Мы смеемся.

Она останавливается уже наверху. Я смотрю на нее.

— Там много людей... и всякое...

Я поворачиваюсь и иду. Я стараюсь идти^c спокойно. Но так и тянет броситься бежать. Мне всегда не хочется оставлять ее одну, даже на минуту. Кажется, что что-то случится, кто-то пристанет, когда меня не будет рядом. И это будет моя вина.

Я не выдерживаю, мельком обворачиваюсь назад. Она стоит одна у парапета и смотрит вниз, на^dверно, в ту сторону, где течет река — гранитны берега.

Я захожу быстро в вестибюль. Боря уже сидит с ней внизу в ожидании меня. «Хлеба и зрелиц» — девиз, которым он четко руководствуется. Еще с античных времен.

— А где Наталья? — спрашивает Лина.

— Сейчас познакомлю.

Мы выходим из холла и идем к парапету, где стоит она.

— Это она? — тихо произносит Лина.

— Да.

— Очень приятная.

— Это же еще только спина, — отвечаю я, как мастер.

— Все равно. Остальное уже чувствуется^b.

Услышав близко наши шаги, она оборачивается.

— Здравствуйте.

— Добрый вечер, — отвечает Боря и повторяет Лина.

— Лина, это Наталья, а это Лина.

К черту, я никогда не умел знакомить, всегда все путаю.

— Очень приятно.

— Саша мне о вас рассказывал, я вас так и представляла.

— Плохо?..

— Что вы!

Наталья улыбается ее восклицанию.

— Санечка мне сказал, что вы приехали из Прибалтики. Как вам Москва?

— О, я здесь уже без счета. Очень нравится, я в нее влюблена и мечтаю здесь жить.

— Это всем хочется, пока не начнут жить. Потому что, когда только приезжаешь сюда, она увлекательна. А когда живешь постоянно или начинаешь жить, она обычна. Правильно, Саня?

— Угу.

Мы стоим с Б. между и по бокам.

— Как работа, Боря? — спрашивает она, но даже не дарит ему улыбку, сразу смотрит на меня. В глазах вопрос: не спросила ли чего лишнего. Мне это жутко нравится, но я внимательно слушаю ответ, ничего не замечая.

— Какая там работа, Наталья, маэста одна.

— Да, бедные советские врачи... — они начинают смеяться вместе.

— А чем вы занимаетесь, Наталья?

— Я буду переводчицей или преподавательницей английского языка.

— Это очень интересно, — вежливо говорит Лина.

— Возможно, — отвечает, улыбнувшись, Наталья, — только когда не занимаешься. Санечка мне очень помогает в этом: делать интересными мои занятия, вне института. Очень далеко от него, и занятия, далекие от занятий.

Я не выдерживаю и улыбаюсь, но чуть-чуть, краем. Я стою гордый и возвышенный, одинокий в своем кожаном пальто. Я бы сказал: публичное одиночество.

— Он хороший мальчик, — говорит Лина.

— Саня?! Очень, он особенный мальчик. И особенно, когда спит.

— С кем?

— Конечно, со мной! Санечка.

Я вздрагиваю от ответа и смотрю на нее. Она смела, не стесняется.

— А что тут такого, мы же взрослые люди. Все понимают, что мы с тобой не за ручку держимся.

— Наталья!

— Извини, Санечка, — она виновато и нежно глядит на меня, — я сама не знаю, что со мной. Я тебе говорила, не надо... — она останавливается.

— Наталья, вы замужем? — спрашивает Лина.

Как будто не зная. Весьма оригинальная смена темы.

— Да, и у меня дочь, ей четыре года. Вы меня осуждаете?

— Что вы! — (я впервые вижу, как Лина краснеет). — Это ваша личная жизнь, и вы вольны поступать как угодно.

— Разумеется. А вот многие этого не понимают. Например, мой муж...

Пауза, молчание.

— Он вас любит?

— Не знаю, я этим не интересовалась в последнее время, — резковато отвечает она.

Лина смотрит на нее почти с изумленным восхищением.

— Вы смелая женщина.

— Да, чересчур, — горько усмехается Наталья, что-то она взведена сегодня. Как курок.

— Она не женщина, она еще девушка, только в процессе превращения.

— Санечке кажется, что я всегда буду такой, какой ему хочется, а я уже не та. Многое потеряно, многое замужество изменило, столько утрачено, лучшего... А хотите я вас познакомлю со своим супругом, Лина? Он вам понравится, приятный мужик, такой красивый, сыйый экземпляр, как на рекламах зажигалок «Ронсон». Хотите? А... Боря, прости, я совсем и забыла.

— Ничего, ничего, Наталья, продолжай, очень интересно, ты сегодня в необычном амплуа.

— Вот и все, собственно, нечего продолжать. Но если вам Боря нравится, то они примерно одинакового плана...

— Да, Боречка мне очень нравится. А правда можно с вашим супругом познакомиться? Борчик только друг мой.

— Можно, Лина, только он тебя не сможет прописать у себя, у него, случайно, право, но жена, ее зовут Наталья.

Мы все смеемся.

— Двадцать пять минут до начала. Вы идете? — спрашивает Боря.

— Нет, у нас... дела, — отвечаю я.

— Жалко, — говорит Б., хотя ему не жалко.

Наталья вынимает свою сумочку-портмоне, где всякие отделения для всего, и достает вдвое сложенный билет.

— Саня?

— Что?

— Это для Лины?

— Я уже отдал Лине.

— Ты не боишься, что я буду ревновать, Санечка?

— А вы ревнивая, Наталья?

— Нет, наоборот, я ему говорю, что он должен встречаться с другими девушками.

— Да!?

— Она шутит, Лина. Ее это совсем не волнует.

— А я уж подумала. Вы так серьезно говорили. У вас здесь все может быть.

Мы все опять смеемся.

— Так что с билетом, Санечка?

— Отдай его Боре.

— А можно? — она лукаво смотрит на меня.

— Можно.

— Ты потом меня не будешь ругать полвечера, что я что-то не так сделала, — она смотрит только на меня, как будто вокруг никого, пустота.

Я просто таю от этого, что она такая и что она моя, так разговаривает со мной, и они видят это.

— Он, как мавр — ревнивый, — смеется Боря. — Лучше не передавать мне в руки.

— На, Саня, — она протягивает мне билет, даже я не удерживаюсь, стараясь быть серьезным. Лина с братом смеются до упаду.

Я отдаю билет ему.

Он говорит спасибо. Достает знакомую пятерку из кармана и говорит:

— Больше пить не хотелось, а то усну в кресле. Считай, что я тебе заплатил за билеты!

— Оригинально, — смеюсь я. — Ладно, — я кладу ему обратно правой рукой в нагрудный карман, — оставь себе на буфет, а то ты ж не можешь в театр и — без буфета.

— Кстати, билет каждый стоит по три рубля, — неожиданно говорит моя Наталья. Я даже не знал, что она цену знает.

— Угу, — кивает Боря.

Молодец, ничем его не прошибешь, я бы сгорел со стыда, да еще когда твоя дама рядом.

— Ну, мы пошли, спасибо за билеты, — говорит Б.

— Пожалуйста, Боря, — отвечает Наталья за меня и улыбается. — Очень приятно было с вами познакомиться, — говорит она Лине, протягивая ей руку сама.

— Мне тоже, Наташа. Вы очень необычная, теперь я знаю, кто нравится Сашеньке...

— Лина, — останавливаю я.

— Да, Санечка, — отвечает мне Наталья без улыбки. — Я ему не нравлюсь. Он считает, что это очень удачно, если он делает вид, будто ему никто не нравится, тем более же с ними. Что ж, женщины недостойны тебя, Саня.

Я смотрю на нее, в ее глаза.

— Все, все. Я плохая сегодня, прости меня.

Я не отвечаю.

— Вы не можете не нравиться, Наташа.

— Спасибо, хотя я так не считаю. Да и Санечка тоже...

— Опять, Наталья?

— Лина, не обижайтесь на меня, я надеюсь, мы еще увидимся.

— До свидания, Наталья, — Б. даже наклоняется и целует ей руку. Галантен, как...

Они уходят, еще раз оборачиваясь. Это Лина.

— Вот видишь, брат у тебя молодец: нет денег, дают другие, платит не он — все в порядке. А для тебя, Санечка, целая трагедия, если ты со мной и тебе заплатить нечем. Бери пример со своего брата.

— Наталья!

— Что Наталья?! Я знаю, что я Наталья. А почему ты должен покупать ему билеты, а он, здоровый мужик, не может себе заработать, да. Пускай идет вагоны...

— Разгружает. Мы так и будем говорить о нем?

— Извини, — она успокаивается, — просто меня это спокойствие взбесило. Напоминает, напомнило много. (Правда, тот хоть сам зарабатывает.) Когда Аннушке было полгода и она болела, а я разрывалась между аптекой, ее кроваткой, домом, кухней и институтом, ему нужно было ехать в важную командировку за границу: карьера превыше всего, он ничего не мог поделать. Он же для дочери старается. И поехал. А теперь — она его любит без памяти. Как в спальню заходит, она трясстись даже начинает. Меня, по-моему, так не любит.

Она останавливается на секунду и задумывается.

— Прости, Саня, тебе это неинтересно, и тебя это не касается.

— Конечно, меня это не касается.

— Прости, Санечка, я опять не то сказала. Как всегда, — она смеется. — Ты ничего не сказал о моей шапке.

— Это модно?

— Очень, я хотела тебе понравиться.

— А что?

— Тебе же нравятся женщины только в платках...

Я лишь взглянул на нее. Кто б мог подумать, мне нравятся шапки...

Ветер сильно подул и, наверно, растревожил мои волосы. Я провел рукой по nim.

— Я привезла тебе сигареты. Хочешь?

Я протянул руку. Не подумав...

Две ее руки моментально пленили мою ладонь ниже запястья.

— Что это?! — не веря, воскликнула она. — Что это, Санечка, родной мой, самый лучший, самый милый, скажи?!

Я впервые видел ее глаза такими: в них стояла мольба. Тревога, боль, ужас. Мечущееся неверие от надежды к изумлению.

Я молчал, отвернувшись; как тупо, я забыл снять эту, наверно, никому не нужную повязку. Не сговариваясь, мы

повернулись и пошли прочь от парапета, где иногда проходили люди. Мы перешли мост и стали спускаться под него.

Странно, когда я с ней, все сразу находится: и лавочки, и уединенные места, и общие. Удивительная женщина, когда она рядом, у меня все исполняется, все возможно!

Мы сели на каменную лавку под мостом и долго молчали, глядя в воду. Вода холодная, подумал я. Она сбоку глядела на меня, потом неожиданно уткнулась в мою небритую щеку (куда-то между скулой и шеей), и безмолвные горячие слезы потекли по моей шее. Она плакала первый раз и совершенно молча, без звука. Никогда не представлял, что это возможно. У меня перевернулось все внутри, но я сидел неподвижно и молчал, как каменная скамейка, что была под нами. Не поворачивая головы. (Скорее всего, нелепый в этом долбаном, не по росту пальто.) Я очень остро и больно помнил те дни — без нее, каждый из пятнадцати дней, — складывающиеся сначала в два, три, потом неделю, вторую, — и можно было одуреть и известись, сойти с ума от ожидания, одинокости, тоски и беспросветности.

Она перестала плакать и лежала на моем кожаном плече, затихшая. Она шептала:

— Санечка, я могла тебя никогда не увидеть. Господи, я бы этого не пережила, — (внутри как будто теплый снаряд разорвался у меня), — а ведь я должна вырастить Аннушку. Что ты делаешь, Санечка, зачем, ты совсем мальчик, ни о чем не думаешь, очень маленький. И я не могу без тебя.

Ее мокрые от слез губы ткнулись в мою щеку, потом в глаза, в нос, шею, ключицу, — она целовала меня все сильнее и быстрей, словно боялась потерять. Словно боялась, что отнимут.

Холодная вода, подумал я, как жизнь.

Она целовала и целовала меня поцелуями-стаккато, не останавливаясь. А я старательно прятал бинт, под резинку рукава, сделанную специально от задевающего холода, чтобы белое повязки ее не пугало.

— Санечка, — прервалась она, — нам надо о многом поговорить.

— Да...

— Но я не хочу начинать разговор здесь, на улице. К тому же мало времени, уже поздно. Я приеду к тебе завтра с утра. Можно?

— Тебе все можно, — ответил со вздохом я.

— Не надо так, Саня. Я правда приеду.

— Я понимаю.

— Ну, Саня, не только тебе было плохо, ты думаешь, я веселилась или развлекалась?

— Не знаю, я о тебе не знаю ничего, Наталья.

— Санечка, не говори так...

— А как надо? Как? Что ты знаешь?! Ты знаешь, что такое в течение каждого часа, каждой минуты, каждой секунды, мгновения дня и ночи сидеть и прислушиваться? Слушать шаги, не придет ли Наталья? Ты знаешь, что это такое — в ожидании и одиночестве проводить белое время суток и черное, боясь выйти из дома, а вдруг она придет и не дождется. Ты знаешь, что это такое — ужас терния и страх с каждым следующим днем — что это все, что это конец, навсегда. Я не должен был этого говорить, Наталья. Прости, я никогда не говорю о своих чувствах, тем более женщине, но я не забавная игрушка и не хочу быть как другие: игрушки с чувствами, с которыми нравится играть взрослым женщинам, выросшим.

— Санечка, милый, я не знала, что это так мучительно для тебя, так больно. Ты мне никогда не показывал, ничего, я не представляла даже, что это так действует на тебя, я больше не буду никогда, я тебе клянусь, ни из-за чего, так долго не видеть тебя..

Я кивнул.

— Саня?..

— Да, Наталья.

— Ты на меня очень обиделся?

— Я не могу на тебя обижаться.

— Почему ты... это сделал?

— Я ничего не делал, это случайно.

— Ты не хочешь меня поцеловать, я очень плохая, да?

Я поворачиваюсь. (Наши глаза замирают, погружаясь друг в друга.) Я наклоняюсь, и губы в истоме сливаются в долгом поцелуе.

Мы сидим, уже стемнело, от воды дует холодом.

— Тебе холодно?

— Привстань на секунду.

Она встает, я отпахиваю длинную полу пальто и стелю на каменную скамейку, чтобы она могла сесть; она садится и прижимается ко мне.

— Спасибо, Санечка, так тепло. У тебя такая горячая шея, — она целует мою шею и утыкается носом, оставшись там.

Сначала было непонятно. Чего-то шумело, грозило, шипело, а потом как хлынет, как из ведра. Я такого сильного, проливного дождя уж с сто лет не видел. Просто отвесной темной крепостью стоял.

— Саня, я боюсь, — она вся прижалась ко мне и вправду вздрогнула.

— Что ты, Наталья, это же дождь.

Она опять вздрогнула от нового раската падающих небесных хлыбей.

— Я знаю, но какой-то он очень сильный, хлесткий, хлещущий, кажется, что мы отсюда никогда не вырвемся.

Правда, если бы мы находились не под мостом, промокли бы до нутра.

Сверкнула молния, дождь-ливень припустил с новой силой. Шумнее.

— Саня! Поцелуй меня, мне страшно.

Я целовал ее лицо, покрывая его несильными поцелуями, а она обняла мою голову и не отпускала ее, и только подставляла мне разные стороны своего лица, шеи, затылка. Она никогда не была такой, я никогда не видел ее такой: какой-то растерянной, испуганной, возбужденно дрожащей.

Дождь стал в ровную стену и теперь лил мерно с неба. Темнота была такая, что я даже не видел фонарей, и были ли они вообще.

Наталья неожиданно успокоилась и затихла. Казалось, она заснула или нечаянно задремала, глубоко задумавшись. Ее губы коснулись моего уха, и она прошептала:

— Санечка, уже поздно, меня ждет папа. Я сказала, что только на час, а прошло уж, наверно, два или три. Я завтра приеду... Санечка. — Она коснулась языком моего

уха и вдохнула в него так, что у меня на секунду закружилась голова.

— Поймать машину?

— Разве мы не пойдем вместе?

— Ты вся промокнешь.

— Я не сахарная, — пошутила она.

— Подожди, — я расстегнул пальто и показал ей куда.

Она кивнула. Пригнулась и нырнула под пальто, которое я навесил как тент над ней, благо оно большое.

— Теперь в ногу быстро побежали, три-четыре.

Не успел я сделать первый шаг, как она сказала:

— Саня, я сумку забыла.

Мы повернулись, на скамейке лежала оставленная сумка.

— Молодец, Наталья, — сказал я серьезно, — а там, конечно, все документы и...

— Ну, Саня... Это же оттого, что ты рядом.

— Хорошо, ныряй, побежали.

Побежали мы резво и, как ни странно, в ногу.

Машины проносились мимо и обдавали водой, бросающейся в лицо из-под колес так, что мне пришлось развернуть наш кожаный шатер спиной к дороге, спасаясь им как укрытием, и на каждый шум поворачивать голову.

С Натальей какое-то сплошное везение. Через несколько минут остановилась черная «волга», да еще в такой ливень, и сразу взяла нас.

— Саня, — зашептала Наталья мне, — у тебя замечательное пальто, я ни капли не промокла, совсем сухая.

Я потрогал рукой, все было первозданно.

— Чего ты шепчешь?

— Не знаю, — она улыбнулась, мелькнувшая мимо машина осветила ее улыбку. — Спасибо тебе, Санечка, что укрыл от дождя. Ты такой заботливый...

— Я не о тебе заботился, мне пальто твое жалко было, очень красивое и тонкое.

Она даже рассмеялась от неожиданности.

Дождь стал стихать, мы ехали. Я смотрел вперед, и вдруг прямо на глазах он из мокрого превратился в белый.

— Наталья, снег!

— Самый настоящий.

— Сколько живу, никогда не видел, чтобы дождь в снег превращался.

И он повалил, повалил хлопьями, невероятно.

— Завтра метель обещали, — проронил шофер.

Я наклонился к Наталье.

— Надеюсь, ты не заблудишься, — прошептал я.

— Нет, Санечка, я не литературная. А почему ты шепчешь?

— Не знаю, — улыбнулся я, — тебе подражаю.

Теперь снег шел колкий, мелкий и, дико гонимый ветром, облеплял стекла машины, ревя и меча за окном.

— Прямо к подъезду?..

— Да. А то я не дойду. Собьюсь с пути, — она засмеялась.

— Я тебе помогу.

— Чем? Выбраться?

— Нет, сбиться.

— А, это ты можешь!..

Всю остальную часть пути мы молчали, обнявшись и задохнувшись в долгом поцелуе.

Она указала шоферу, где подъезд, и он остановился. Я инстинктивно откинулся в глубь сиденья.

— Что ты, Санечка, это не нужно, уже ни к чему. Все и так всё знают, ведь не маленькие же.

Она быстро поцеловала меня, шепнув:

— Я буду рано, не просыпайся, пока я не разбужу тебя.

Дверь захлопнулась, мелькнула ее голова в шапке и скрылась в подъезде. И чего мне, идиоту, раньше шапки не нравились. Она классно выглядит в ней.

— Куда?

— Да вроде некуда.

— Но в снегу же я не могу тебя оставить, — сказал он, и мне это понравилось.

— А сколько сейчас?

— Пять минут одиннадцатого.

О Господи, ужаснулся я про себя, так поздно. Она не знала или знала?

— Вы меня можете отвезти на Горького к театру Ермоловой?

— Поздно вообще уже.

— Я зап...

— Я понимаю, что заплатишь, — он на секунду задумался, — ну хорошо, поехали.

Внутри было тепло и уютно, а снаружи бушевала метель. Настоящая метель. Слава Богу, Наталья дома. Тихая музыка лилась из приемника. Довез он меня быстро. А первый раз в жизни мне хотелось ехать медленно, не быстро. Но все кончается (в жизни), и это понятно.

Он остановился, развернувшись на улице Горького, прямо напротив подъезда театра. Мне оставалось прокочить четыре шага.

Я достал бумажку в темноте и протянул ему.

— Спасибо.

Он развернул ее. Ну, думаю, сейчас начнется.

— Это пять, ты не ошибся?

— Нет, — ответил я.

— Это много, три достаточно, у меня сдачи нет.

Я еще не встречал таких.

— Это нормально, — говорю, — потому что до того не спрашивал с о л ь к о. И вообще за все спасибо.

Я выскочил из машины. Хлопнул дверью и через три броска в длинном, запутывающем ноги, пальто был под сводом вестибюля, ведущего в театр. Я обернулся.

Черная машина медленно тронулась, потом исчезла. Завтра она приедет, подумал я, и мне стало радостно.

— Когда кончается? — спросил я контролершу, которая с нескрываемым интересом смотрела на меня и мое одеяние.

— Через пятнадцать минут.

— Угу. Очень долго. Можете раньше закончить?

Она улыбнулась:

— От меня не зависит, актёры играют. Только и делают, что играют, играются меж собой. Вся жизнь у них игра. Хочешь внутрь зайти?

— А вы меня впустите?

— А чё не впустить, если спектакль кончается.

— А чего же заходить, если он кончается.

Философская бабушка. Она улыбнулась и даже хихикнула, но не рассмеялась. Странно, раньше мне легче удавалось развеселить пожилых женщин.

Я стал прогуливаться по высокому парадному, а она опять разглядывала меня.

— Что, что-нибудь не так? — спросил я.

— Да, пальто у тебя какое-то странное, с чужого плеча..

— С родного, — ответил я.

Повалила толпа и склынула. Они вышли последними.

— А вот и Санчик, — сказал Б., как нечто само собой разумеющееся.

— Сашенька! Как ты догадался, — засияла Лина.

— Все в порядке? — спросил брат.

— Все прекрасно и удивительно, Б.

Он улыбнулся.

Когда-то я писал письмо папе с моря и написал слово «удивительный» через «е» в начале. С тех пор они с отцом дразнили меня: «Что это прекрасно и удивительно».

— Ой, снег на улице! — воскликнула Лина.

— Сейчас уже меньше, была вообще пурга.

— А как мы домой доберемся? — спросила Лина. — Там от метро идти надо.

— На такси, — сказал я. Б. покосился на меня и пропоротал что-то типа фразы, которую я хорошо знал:

— Херов Ротшильд.

— Чего? — не поняла Лина.

— Это я так, про себя. — Он улыбнулся мне.

Как раз у «Интуриста» остановилось такси, которое я с ходу бросился занимать. «Ловить» — это называется. Хорошее слово.

— На Таганку, — нагнулся к двери я.

— Два счетчика, — прохрипел прокуренный голос, не глядя в мою сторону.

— Три, — в шутку ответил я.

Он даже обернулся:

— Что, правда?

— Ты сам сказал два, твоя вина.

— Ладно, садись, холодно.

Я отклонился:

— Боря!

Он не заставил себя ждать, через мгновение он и Лина сидели на задних сиденьях.

— Жуткий снег, — сказала Лина, — и это конец марта.
— Зима не хочет сдаваться. Да, Санчик? Чай дома хоть есть?

— Есть, товарищ командир!

— Лина тебе трюфели купила:

Сидели и пили чай с трюфелями очень поздно, до половины первого. Я чаевал бы и дольше, хоть до рассвета, тогда скорей приедет Наталья. Но Лина хотела спать, она устала от впечатлений, и брат повел ее укладывать: на ночь.

Она приехала утром, когда я, правда, спал. Проснувшись ночью, я оставил дверь открытой, плотно притворив. Я не слышал, как она вошла, я только почувствовал ее прохладное тело, прикасающееся к моему.

— Санечка, — тихо шепнули ее губы.

— Да, Наталья.

— Я пришла.

— Я очень рад...

— Ты такой горячий, ты не заболел, Саня?

— Нет, наверно. Я спал, свернувшись клубочком.

— Я знаю, ты всегда так спишь, в клубочек.

— Откуда?

Она обняла мою шею голой рукой.

— Совсем случайно, Саня, подглядела когда-то, — и тихо засмеялась.

Я нашел ее губы. Они были припухшими со вчера; они были прохладными. Потом они стали горячими. Она обняла мою спину и стала гладить ее сверху вниз. Странная истома начала охватывать меня: у нее необыкновенно нежные руки, пальцы.

Ее грудь дышала возбужденно.

Мы не касались друг друга тысячелетия.

— Наталья, Наталья, Наталья, — зашептал я, — я хочу, чтобы ты была моя...

— Я твоя, Санечка...

Мне не верилось, что это чудесное растворение повторится опять. Мне казалось, что этого никогда не будет.

Она была странна в любви. После моего первого прикосновения к ее груди она как будто полностью выключалась и пребывала в полузабытьи, полуотключенности. Она

уходила куда-то в одной ей доступные глубины и пребывала там до конца конца. Лишь легкий стон или необыкновенные восклицания говорили, что она жива. Единственно, что она делала, чувствуя такт моего тела, — бессознательно отвечала, внимая его ритму. Потом ее тело дрожалось, дрожа в конвульсии, окончательно сливвшись с моим, и я успокаивался, понимая, что она удовлетворена, что она получила удовольствие от нашего соприкасания, слияния и что наслаждался не я один.

Потом она лежала и медленно, очень долго не приходила в себя. Я ждал, слушая каждый оттенок ее легкого дыхания. Когда она открывала глаза, то было видно по опьянению в них, что она еще не пришла окончательно в себя, не вернулась, и где-то там в глубине еще что-то dochувствует, переживая уходящее возбуждение конца, и не осознает полностью, что сейчас это кончилось.

Я целую ее глаза, и под этими поцелуями, как только она отвечала и сильно обнимала меня, я понимал: она вернулась.

— Спасибо, Санечка, — иногда говорила она.

Или:

— Я так счастлива.

А иногда она ничего не говорила и просто с удивлением (почти изумлением) смотрела на меня и касалась рукой моего тела, будто не веря, что это я и я это сделал.

Ей вообще никогда не верилось, что это кончилось и нужна остановка. И она вопросительно смотрела на меня. Потом понимала и улыбалась.

Раз она мне сказала, что, как только она приходит в себя и возвращается *оттуда* обратно, она опять готова принять и опять хочет раствориться со мной, уйдя в глубины своего не сознания, а только чувствования.

Когда она смотрела на меня вопросительно и неожиданно улыбалась, я вдруг смущался и, наклоняясь надней, полуотворачивался.

— Эх, Саня, Саня... — говорила она.

— Я понимаю, Наталья... Я хочу все время, я хочу, чтобы ты без пауз принадлежала... но эта физиология, несчастная...

— Откуда ты знаешь, что это такое?

— Папа сказал...
 И мы смеялись с ней вместе, долго, безостановочно.
 Я не заметил, как мы уснули. Проснулась первой, помоему, она.

— Ты не спишь, Санечка?

— Сплю, — я уткнулся лицом в ее грудь.

— Я так чудесно выспалась, и так спокойно внутри и прекрасно.

— Ну, твоему горю легко помочь.

— Какому?

— Сделать, чтобы было не спокойно.

— А будет прекрасно?.. — шепчет она.

— Ты хочешь?

— Я всегда хочу... тебя...

Все исчезает, звуки уплывают, уносятся, растворяются. Слышно лишь ее постанывание.

Моя рука касается ее плеча.

— Что это, Саня?

— А?

Она держит мою руку своей рукой.

— Повязка, — отвечаю я.

— Санечка... — она берет и целует мою руку и повязку. — Мой родной... пообещай мне, что ты никогда этого не будешь делать, никогда. Я сделаю для тебя все, что ты захочешь.

Я быстро шепчу ей в ухо:

— Оставь его, останься навсегда...

— Я не поняла, Саня. — Она не рассыпалась, так как я языком касался внутренности ее уха, специально.

— Ничего, я сказал, что ты мне... нужна.

— Ты даешь мне слово? Я тебе всегда верю.

— Да...

— Что бы ни случилось, никогда, даже если мы рас... — она обрывается, — у тебя же есть родители, мама. Я знаю, что ты для нее значишь.

— Хорошо, я сделаю, э-э, то есть не буду делать.

Она молчит, о чем-то думая.

— Значит, это может быть, что мы рас... станемся, Наталья?

— Я не знаю ничего, кто может сказать о завтра, это

жизнь. Но обещай мне ничего не делать, пусть это будет... ради меня.

— Впечатление, что ты готовишь меня.

— Что ты, — она быстро подносит мою руку к губам и целует ее, — я не смогу без тебя, ты мне нужен.

Я успокаиваюсь, глубоко-глубоко вздыхая. Я верю ее словам, она бы зря не говорила. Зачем говорить напрасно, если я не спрашивал, успокаиваю я себя.

Она держит теперь мою руку прижатой к лицу и тихо гладит по своей щеке.

— Наталья?

— Да, Санечка.

— Давай поцелуемся.

И ее рот проникает в мой, успокаивается и устраиваетя в нем. Языки касаются. Тела сжимаются в объятии. Я знаю, пройдет минута, и она выключится, перенесясь в подсознание чувственности и чувства, и так будет принимать меня, внутрь.

Мы лежим безмолвно, отдыхая, она плавно ведет рукой по линиям моего тела, рёбра, живот, ноги...

— Ты хочешь курить, Санечка?

— Очень, но я не хочу вставать от тебя.

Она плавно отстраняется и тихо выскользывает из-под меня.

— Я привезла много сигарет, которые тебе нравятся.

Она выкладывает что-то из сумки на поверхность стола. Шелест, шорох, звук нераспечатанной пачки, распечатываемой, вспыхивает огонек и гаснет.

Она ложится возле меня.

— На, Саня.

Я курю, а она глядит на меня, или мне это кажется. Ее голова лежит на моей руке, и волосы разметались по подушке. Какие пепельные волосы.

— Саня... Санечка.

Я выдыхаю дым.

— А когда ты докуришь, ты поцелуешь меня?

— Я могу это сделать, не докуривая.

— Нет, ты кури, пожалуйста, а я буду с нетерпением ждать, когда ты закончишь...

— Ох, Наталья, — я улыбаюсь.

Пепел куда-то сбрасывается...
Потом, позже, она одевается медленно, не спеша, очень нехотя.

— Я не хочу уходить, Санечка.

— Оставайся.

— Папа к шести должен вернуться, я кормить его должна.

— А где он?

— Он на заседании какой-то комиссии генштаба. Я тебе говорила, он по делам прилетел на три дня.

Я слушаю.

— Саня, ты смотришь на меня, да? Ты подглядываешь, да, Санечка?

— Нет, Наталья. Я никогда этого не делаю.

— Очень зря, — огорчается она, — я так надеялась.

Мы смеемся.

— Это неинтересно, когда женщина одевается, — говорю я.

— Ах, вот как, значит, после уже неинтересно, да?

— Конечно, — говорю я.

— Вот ты и раскрыл свою коварную сущность, ты такой, как и все: интересно только до того, а не после.

— А что, разве это кто-нибудь скрывал?.. — Я смеюсь, не выдерживая, она улыбается. Теперь я вижу ее лицо.

Она одета и причесывается, водя щеткой по длинным волосам от лба до конца.

— Наталья?

— Ты коварный, Саня, — говорит она быстро.

— Наталья, я считаю, что волосы лучше расчесывать, когда ты не одета.

— Правда?

— Да.

— Ты считаешь, что я должна снять платье?

— Без сомнения, тогда волосы на него не будут падать и на нем не останутся.

Она кладет спокойно гребень (щетку) на стол и снимает мягким движением платье. Берет щетку и начинает снова ото лба и по длине волос.

— Ты был прав, Санечка, так удобнее.

— Тебе не мешает комбинация?

— Нет, мне удобно.

Я подумал еще.

— Тогда иди сюда, я расчешу тебя.

Она говорит, не глядя на меня и остановив щетку:

— Ты хочешь сказать, что все остальное ты снимешь сам?..

— Ты все понимаешь с полуслова!

— Это очень трудно понять, Санечка... — она улыбается, глядя на меня.

Я наклоняюсь над ней, она лежит ожидающая, без движения.

— Мне надо идти, Саня.

Идти, идти, идти... Отдается все время... до конца. Конца.

— Саня, я бежать должна...

— А как же волосы, не будешь их расчесывать? — Она только одела платье.

— Опять без платья? — смеется тихо она.

— Нет, почему, сначала можно и в платье...

Она машет щеткой быстро, отрывисто по волосам.

— Наталья, я тебя никогда такой деловой не видел.

— То ли еще, Санечка, увидишь!.. — она звонко смеется.

— Не смотри на меня, пожалуйста, — я встаю.

— Конечно, посмотрю, — она поворачивается, — ты же смотришь на меня.

— Но у тебя другие достоинства.

— Саня, — она приоткрывает очаровательно рот, потом улыбается, — кажется, я сама сейчас сниму платье.

— Все шутишь...

— Почему, я серьезно, — она резко расстегивает замок, взявшись за него.

Я обнимаю ее за талию.

— Я не верил, что это будет...

— Мой, мой родной, — губы наши сливаются.

Она тихо говорит:

— Я так скучала по тебе, но я никак не могла...

— Ты правда хочешь раздеться?

— Да...

Я сжимаю ее губы до боли своими.

— Я сейчас вернусь, позвоню только папе, что есть взять. Он уже, наверно, с голоду умирает.

Она накидывает что-то на себя, берет двушку со стола и выбегает.

Я затягиваюсь зажженной сигаретой, накидываю длинное пальто на себя и иду на кухню, набирать чистую воду, она будет нужна. Вода...

Наталья быстро возвращается и сразу радостно целует меня:

— Саня, там холодно!

— Все нормально?

— Да. Почему ты одел свое прекрасное пальто? Ты оставляешь меня?

Она прижимается ко мне, снимая его. Я раздеваю ее сам.

— Я замерзла, согрей меня. Скорей... Саня.

Она моется тихо, стараясь без звука.

— Наталья, ужасные условия, да? Я прошу прощения.

— Что ты, Санечка! Другие и этого не имеют, не знают, где встретиться. Тысячи вообще без крова живут, без дома.

Она распalaется, убеждая меня:

— В Эфиопии, например... — тут она останавливается и начинает смеяться, поняв. — И потом, Санечка, ты очень молод, у твоих ровесников и половины того нет, что имеешь ты...

— Самое главное, они не имеют тебя! А это целое.

— Я не думаю, что это большая ценность. Я счастлива, мне все равно, где быть с тобой. И неважно, какие условия.

Она вытирается и ложится в постель снова.

— Ты собираешься оставаться до утра?

— Почти, — отвечает она. — Поцелуй меня, а то мы много разговариваем. — И добавляет: — Как всегда...

Она в четвертый раз расчесывает свои прекрасные волосы, а я наблюдаю за ней, лежа в кровати. Каждый раз она другая, все время меняется и не похожа на себя. И каждый следующий раз она очаровывает меня и увлекает все больше и больше. Я уже и не пытаюсь сопротивляться этому, как сначала. Для чего? Все равно она меня покорила. Хотя ей я этого никогда не скажу. Впрочем, может, она догадывается.

Я внимательно смотрю на нее.

— Что, Саня? — она оборачивается, перехватывая мой взгляд.

— Просто смотрю на тебя. И думаю, — я улыбнулся.

— Опять насчет платья и расчесывания?

Я притворно изумлен:

— А как ты угадала?!

— Потому что я сама об этом думаю: неудобно расчесывать волосы в платье.

Она ждет моей реакции и смеется.

Я гляжу на нее, стараясь выразить в этом взгляде все: от признательности до обожания.

Она опускается в одежду возле меня. Глядит долго в мои глаза и говорит:

— Санечка, на сей раз мне правда надо идти, очень поздно.

— Сколько?

— Поздвенадцатого, — спокойно говорит она.

— Не может быть, — приседаю я на кровати.

— Да, — она гладит по щеке меня. — Целый день промучила тебя, да?

Я гляжу в ее глаза, в них кромка усталости.

— Саня. Я там пакет на стуле оставила, в нем много вкусного, поешь обязательно. Мы так и не успели...

— Я провожу тебя.

— Поздно, Санечка.

— Поэтому я тебя и провожу. И еще: я согласен так мучиться каждый день.

— И я... согласна.

Мы целуемся, я стою одетый. Я лезу в ящик и достаю оттуда пластинку, давно взятую для подарка у одного человека, который заведует рекламным отделом заграничных линий «Аэрофлота».

— Твой пapa любит классику?

— Только ее и любит.

— И мой пapa тоже. Вот пластинка, передай ему, не объясняя ничего, ладно?

— Хорошо, Санечка. Раз ты хочешь. А он за что-то заслужил? — она улыбается.

— Ты необыкновенна... после его приезда. И просто за то, что он — твой папа.

Ее губы как будто ждут. И только я замолкаю...

Мы бредем по улице, не чувствуя холода.

Она не спешит. Я тем более. Я всегда ей благодарен за это. Она никогда никуда не спешит со мной, она все время показывает, что она моя и ей некуда спешить. Ее рука лежит в моем глубоком кармане — кожаного пальто. Пластинку она несет в другой руке и сумку, чтоб не мешала.

— Тебе помочь, сумку?

— Нет, Саня. Я не люблю, когда мужчины носят женские принадлежности.

— Я тоже.

Мы целуемся, останавливаемся.

— О чем ты задумалась, ты сразу стала грустна.

— Обо всем, Санечка, об очень многом.

— Надеюсь, ничего плохого.

— Что ты. Наоборот, все хорошее. О тебе.

Я целую ее висок.

Вдруг она спрашивает:

— Я правда тебе нравлюсь?..

— Оригинальный вопрос. И главное: очень своеобразный.

— Ответь. Санечка.

— Нет, не нравишься.

— Просто это странно, ты говорил, что женщины тебе не нравятся.

— И я говорил, что нет правил без исключения. Но это не сюда.

— То есть я не исключение?

— Наталья, что с тобой происходит? У тебя там не приятности?

— Нет, там все прекрасно. Я вдруг подумала, смогла бы я сейчас без тебя.

— Почему вдруг такие мысли?!

— Это не вдруг. Я все время об этом думаю.

— Очень интересно. И как?

— Не смогла бы.

Я обнял ее.

— Не мучай себя. У меня впечатление, что ты на что-то

решаешься, о чем-то думаешь постоянно, не можешь решиться и не говоришь мне, а я не хочу спрашивать тебя, пока ты не скажешь сама.

— Да, Саня.

— Что да?

— Ты прав. Но всему свое время.

— Что это значит?

— Ах, я сама ничего не знаю, Санечка, я всего лишь женщина и такая же, как ты выразился, кошкодобная. Чуть что не так, начинаю метаться, мучиться, не понимать.

— Что не так?

— Все так, Санечка. Я не хочу сейчас ни о чем плохом говорить. Пойдем.

Мы идем. Она садится в машину и открывает окно.

— Ты мне позовишь, Санечка?

Я смотрю на нее. Мягкая улыбка окрашивает ее нежные черты.

— Завтра? Как обычно, в девять утра, хорошо?

— Как ваше величество прикажет...

— До свиданья, Санечка, спокойной ночи.

— Сегодня она будет спокойной.

Я долго бреду домой в одиночестве. Не спешу. Мы так и не поговорили ни о чем. Захожу в комнату и закуриваю сигарету. Все здесь дышит ею. Пакет, зажигалка, влажное полотенце, смятая простыня, сигареты, ежегодник «Судоимпорт», который она мне подарила для записей. Я раздеваюсь и ложусь в постель. Она пахнет. Утыкаюсь носом в подушку и засыпаю, завернувшись в ее запах.

— Санечка, доброе утро. Ты хорошо спал?

— Спасибо, да. А как ты добралась?..

— Нормально, он спал, так что душеспасительных бесед не состоялось, а папе пластинка очень понравилась. Сказал спасибо и, по-моему, о чем-то догадывается. Он ее в восемь утра слушал, уходя.

— Я рад.

— Саня... папа улетает вечером сегодня из Шереметьева. И я должна целый день мотаться по заказам, выкупать их, чтобы отправить с ним: икру, крабы и прочее, для

Аннушки и мамы. Они очень любят, а там это дорого стоит. Я не могу тебя увидеть сегодня, и мне очень жалко. Я так хотела. Ты не обижашься?

— Нет, Наталья, все в порядке.

— Санечка, не обижайся, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Когда ты говоришь, что все в порядке, это значит, что все не в порядке и ты обижашься. Ты мне позвонишь завтра?

— Как я могу не...

— До свиданья. До завтра.

Я выхожу из будки телефона-автомата. Итак, целый день впереди, ожидания до завтра. Надо бы в институт съездить. Такая тоска, просто ужасная. Но дома сидеть тоже пусто и одиноко. Ладно, если в пять минут такси поймается, поеду, если нет, то не поеду.

Я стою у края тротуара. По логике, думаю я, эта дорога односторонняя, от центра в сторону «Ждановской», пустыми туда таксисты не едут, а если и едут, то в парк и возвращаться не будут обратно.

— Куда? — остановился таксист, и совсем пустой, черт-те что.

— На Пироговку.

— А! Мне туда как раз.

С ума сойти!

— Да не надо тебе туда, — говорю я. — Лучше поезжай в какое-нибудь другое место. И я тогда не поеду.

— Ты чё, парень, того?! — он приложил палец к виску. — Тебе надо ехать или не надо? А то я и без тебя поеду, мне в мединститут на консультацию.

— Ладно, поехали, — говорю я и про себя добавляю...

— Тебе куда на Пироговку, в мединститут, что ли, тоже?

— Нет, рядом, в пединститут.

— Учителем, значит, будешь, хорошее дело.

— Не буду, и дело плохое.

— Чего это ты так?

— Просто. Кого учить и для чего?

— Ну, — он задумался, — подрастающее поколение.

— Ему так хочется учиться, этому подрастающему поколению, как мне кошкой стать.

— Но кто-то же выучивается?

До чего таксисты говорить любят.

— Дефекты и выучиваются, кому больше делать нечего.

— Чего-чего? — не понял он.

— Говорю, неполноценные и учатся. И выучиваются. Им ничего другого не остается.

— А ты сам студент?

— Вроде.

— Ну и как учишься?

— Вот, первый раз за месяц в институт еду. Учиться.

— Значит, ты полноценный, этот, как ты их назвал, не дефект.

— Я тоже неполноценный, но по другим делам.

— А тебя чего вертит-то?

— Женщины, — шучу я.

— Много? — он принимает всерьез.

— Одна. Сейчас дома, собирается. Хочешь заедем? Он оборачивается и смотрит на меня.

— С удовольствием, но у меня консультация.

— И то спасибо, что не отказал.

Он останавливается на светофоре. Ему, видно, хочется, чтобы я спросил, какая консультация, и он начнет мне долго и нудно объясняться, а я ненавижу, когда говорят о болезнях, болячках и заболеваниях.

— Ты чего-то сегодня, парень, резко настроен.

— Это случается, не обращай внимания.

— Да мне чего! У меня консультация.

И смотрит на меня. Но я не спрошу.

— В самом институте, три месяца очереди ждал.

— Дождался, а?

— Ага, — радостно подхватывает он, — профессор светило, все время по конференциям летает, не застать.

— Но ты застал, — я не заметил, как тыкнул.

— Да, целых три месяца ждал.

— Ну, тогда вот здесь поверни налево, мне Малая Пироговка нужна, и останови на углу.

— Во двор не заезжать?

— Не надо. Неудобно, когда преподаватели от метро пешком идут, а ученики к институту на такси подъезжают.

Остатки ложной стыдливости.

— Понятно, — бормочет он, думая, отдавать мне сдачу или оставить на чай. Думая, пройдет это или нет.

Вдруг я говорю:

— Все вы, таксисты, одинаковы, и ни одна консультация вас не исправит.

— Чего? — не понимает он.

Я хлопаю дверью, не громко, и иду по улице. Как преподаватели, ногами. Захожу в институт, и что за жизнь: за месяц ничего не изменилось, как стоял, так и стоит.

Едва я делаю шаг по направлению к буфету (вы помните — три места), как на меня с ходу налетает Светка, она прямо по нюху вычисляет, когда я появляюсь. Вот кто растопит мою душу и печаль, тоску и грусть и сердце, заодно с душой.

— Санька, несчастный, где пропадал? Я тебя сто лет не видела.

— Сто лет одиночества, хочешь сказать.

— Вечно твои шуточки, я правда по тебе соскучилась.

— На целом свете надо иметь одного, но друга.

— Ценить начинаешь.

— Свет, ты ела с утра?

— Я бы кофе выпила, но у меня лекция.

— Пропустишь первую половину, ничего страшного.

Она идет за мной.

— Для тебя и месяц не быть в институте нормально.

— Светка, жизнь короткая штука, и тратить ее на институт совсем неразумно. Просто обидно. Тем более, когда мало что нового познается.

— Почему мало? — спрашивает она.

— Такая дурная система преподавания.

— Ну тебя, Санька, ничего тебе не нравится, нигилист какой-то.

— Свет, я рад, что ты читала Тургенева, но не называй меня этим мерзким словом, так как я не люблю Базарова и ненавижу «Отцы и дети». Что ты будешь?

— Кофе и пирожное.

— Марья Ивановна, здрасьте.

— Здравствуй, красавец. Чего это тебя давно видно не было?

— Дела.

Она улыбается: всех обсчитывает, кроме меня. Но иногда забывается и обсчитывает меня тоже.

— Чего есть будешь, Саша?

— Кофе и пирожное... Какое, Свет?

— Вот то, круглое.

— Орешек называется, — цыкает Марья Ивановна.

— Орешек называется, — перевожу я Светке.

— Его.

— Его, — перевожу я Марье Ивановне.

— А тебе чего?

— Я буду: бутерброд с колбасой, с рыбой... Светка, может, будешь бутерброд?

— Нет, спасибо.

— ...и чай с лимоном.

— Сделала. Считать вместе?

— Конечно.

— Джентльмен вонючий.

— Марья Ивановна!

— А чё?! Говорю, что думаю.

— Светка — это ж моя сестра.

— Знаем мы этих сестер. То-то она черная, а ты противоположный.

— Ну — как названая сестра.

— Ты этих названых сестер — каждый раз новую приводишь. Склад, что ли?

— Разгружаю понемногу. — Мы смеемся.

Светка относит все на стол, пока я расплачиваюсь. На сей раз Марья обсчитала меня на десять копеек, это, наверно, потому, что Светка — названая.

— Где ж ты загулял, Санька?

— Так, везде.

— С этой женщиной, как ее имя, ты мне говорил...

— Наталья.

— Она тебе очень нравится, Санька?

— Не знаю, Свет, это больше, чем нравится. Я не могу без нее. День в одиночестве мне кажется длинным и ужасным. Кажется, что я никогда не доживу до завтра, когда мы встретимся.

— Ну, Санька, это серьезные симптомы.

— Да нет. Я ей не говорю ничего. Она, наверно, и не догадывается, я скрываю. А может, догадывается, кто знает.

— Да, по тебе очень трудно догадаться. Похудел, щеки, вон, обрезались, и глаза блестят как у ненормального, а в глазах одна дума светится.

— Ты никак психологом становишься, Светка.

— Нет, просто рассуждаю. Ты всерьез настроился?

— Это не от меня зависит. Все, как решит она, так и будет. Должна же в жизни быть первая женщина, которой я предоставлю право выбора во всем, от себя до... конца.

— Невероятное с тобой творится, Санька!

— Да, я и сам наблюдаю за собой со стороны и удивляюсь. Никогда такого не было.

Звонок раздается.

— Мне надо бежать, Санька, войти на перемене, чтобы преподаватель не видел, что я первую половину пропустила. Чao, увидимся.

Она убежала. Ненормальная Светка, которая спешит заниматься. Я взял еще бутерброд с рыбой, соленое могу есть до умопомрачения.

На сей раз Марья Ивановна не обсчитала. А может, ей трудно, на одном бутерброде... У них ведь тоже свои трудности... У каждого свои...

Доел все и поплелся в библиотеку, поглядеть, может, кого увижу там. На дверях сидела девочка, к которой я когда-то клеился, но все у нас чего-то не получалось, по фазе не совпадало. Она улыбнулась мне ожидающе, я положил билет и прошел мимо.

И тут я увидел такое, что не поддается описанию.

— Шурик, не могу поверить!

— Саня! — произнес он с растяжкой.

— Ты сидишь с низко склоненной головой и занимаешься! Что с временами творится, а?!

— Мне надо сегодня выступить на семинаре, иначе зачет, сказала, не поставит.

— Кто?

— По русскому языку — Федорова. О тебе то же самое сказала. Что ты первый кандидат на незачет.

— Скажи ей, что я положил на нее.

— Ладно, — он рассмеялся, — я ей скажу. Саш, но ты, серьезно, думаешь прийти?

— Приду, Шур, раз ты просишь, приду.

— Спасибо, ваша милость, — он улыбается.

— Идем, Шурик, отсюда. Пока не поздно.

— Куда? — спросил он осторожно. Зная куда.

— Пива выпьем по кружке с солеными бубликами.

— Мне же готовиться, Сань, надо, я только начал.

— Тише, пожалуйста!

— Да не вякай, — разозлился я.

— Безобразие просто!

— Идем, Шур, а то я сейчас не выдержу и в ухо ему двину. Скандал начнется...

— Ну ладно, разве что по одной, и вернусь заниматься.

— Конечно, книги оставь.

Мы приближаемся к пивнушке. Хвост в два конца извивается.

— Саш, у меня только полрубля.

— Забудь, Шур, это пустое, о презренных деньгах не надо думать. У меня вообще в кармане ни гроша.

— А как же мы пиво будем пить? — он смотрит на меня.

— На твои полрубля!..

Подхожу, пробиваясь к окошку, и прошу одного мужика: две кружечки и десять сушек.

— Неудобно, — говорит он, — люди стоят.

— На лекцию надо, понимаете. Пятнадцать минут осталось.

— Студент, что ли? Ну становись передо мной.

Я беру два пива, сушки-бублики и благодарю мужика. Мы становимся в стороне и вытягиваем с наслаждением по первой.

— Ух, хорошо, — говорит Шурик.

— Не плохо. Давай кружку, я повторю.

— Нет, заниматься надо.

— Да ладно, от одной у тебя ничего не изменится.

Я повторяю без очереди, подходя прямо к окошку. Повторять можно без очереди, всегда. Мы жуем бублики и выпиваем по второй. Она тоже проходит со смаком.

Мы повторяем по третьей. В результате чего он не

только не возвращается в библиотеку, но не идет на семинар вообще.

Я беру такси, и мы едем на Рязанский проспект, там есть один пивной бар креветочный, хороший, за Абельманновской заставой. Я когда-то там чуть не подрался из-за Верки с двумя. Да она повисла у меня на шее, не дала.

Мы берем сразу шесть кружек пива и четыре порции креветок, чтоб не грустно было. Я достаю Натальины сигареты и угощаю Шурика.

— У-у, «Мальборо». Сань, вечно у тебя всякие штучки такие есть.

— Да это не у меня, она привезла. Ну, давай выпьем. Он затягивается, и мы поднимаем кружки, чокаемся.

Через час я беру еще шесть кружек и новую порцию креветок.

— Сань, это все, — говорит Шурик, — больше не могу.

Мы с ним уже побывали по три раза по очереди в туалете.

— Шур, — говорю я, а в голове уже мутно и расплывчато. — Ты не спеши. Вот эти кружки уговорим и пойдем, время есть.

— Не, я не могу.

— Я тоже, позже сможем.

Мы сидим и курим, подпирая отяжелевшие головы руками.

— Где твоя девушка, Сань?

У него это хорошо получается, когда он ее называет так.

— По заказам ездит, папа за границу уезжает.

— Как она?

— Нормально.

— Она тебе нравится?

— Да, немного.

— Мне тоже.

Он отпивает из новой кружки.

— Красивая женщина.

— Ничего, — скромно говорю я.

— Нет, красивая, мне очень понравилась.

— Хорошо, — соглашаюсь я и беру свою кружку.

Выпиваю ее до дна и начинаю чистить креветки. Я их не-

навижу чистить, по одной. Чищу сразу пять-шесть, потом солю, а потом съедаю, и пива. А в голове плывет. Шурка куда-то исчез, потом появился. Наверно, в туалет ходил.

— Шур, ты где был?

— В туалете.

Точно. Хорошо хоть понимаю еще. Я закуриваю сигарету и затягиваюсь.

— Ну и как там? — спрашиваю я.

— Где? — не понимает он.

— В туалете.

— А, хорошо, свободно. Сходи, легче в желудке станет.

— А мне уже стало.

— Как так?

— А я под стол.

— Чего, правда? — он смотрит, наклоняется, заглядывая под стол.

— Я шучу, Шур, ты что, думась, я правда?

— Всякое может быть. Ты у нас человек эксцентричный.

— Ну, ты даешь, — я пытаюсь смеяться, но щеки не раздвигаются. — Давай выпьем, Шур, а?

— Можно, только кружка не поднимается.

Я помогаю ему поднять и держу, пока она ему в рот выливается, потом удачно ставлю на стол, — сообща.

— Сань, — говорит он, — ну как твоя девушка?

— Нормально, — отвечаю я.

— А где она?

— Она по заказам ездит.

— А почему ее здесь нет?

— Потому что ездит.

— А, понятно.

Но я вижу, что ему уже ничего не понятно, да и мне, еще одна кружка, станет тоже совсем непонятно: кто моя девушка. Я пытаюсь рукой попасть в креветку и очистить ее. Креветка куда-то скачет, поймать ее невозможно, живыми их, что ли, варят?

— Шур, а Шур, ты креветку очистить можешь?

— Какую креветку?

— Живую, — отвечаю я.

— А где она?

— Перед тобой на тарелке.
 — Не вижу.
 — А, ну с тобой все ясно.
 С третьего раза я выделяю одну сигарету из пачки от остальных, со второго щелкает зажигалка, Натальина.
 — Шур, сигарету хочешь?
 — Нет, я не смогу ее очистить.
 — Шур, ты чё, это же сигарета.
 — Она живая...
 — Все ясно. Давай двигать домой.
 — Дай мне твою сигарету.
 — На. Подожди... — я не могу найти его рот, потом нахожу.
 — Шурик, ты удержишь ее или подсержать?
 — Я попробую, — бормочет он.
 Сигарету он удерживает, не сообща.
 — Шур, — у меня в голове пьяно и все расползается. — Осталось три кружки пива или две, не знаю, не считается, давай допьем и пойдем.
 — Завернет пускай.
 — Чего завернет? — не понимаю я.
 — Пиво пускай завернет, с собой возьмем.
 — Девушка!
 Эй, где наша девушка, девка!
 Ее нет.
 — Шур, ты ж знаешь, я тебе отказать не могу, ты мой друг... Девушка!
 — Ну, чего раскричались, вот она я.
 — Где ты? Дай потрогаю... не верю.
 Она, оказывается, стоит рядом и смотрит на меня.
 — Заверни, — говорю я, с трудом выдыхая.
 — Че-го? — возвышает она.
 — Меня, Шурика и пиво, то есть... не надо меня и Шурика, пиво.
 — Вы чего, юноша, вам проспаться надо.
 — Заверни пиво, и я пойду спать. Правильно, Шура?
 — Правильно.
 — Да не буду я заворачивать пиво.
 — Почему это ты не будешь? Я тебе «чай» плачу, ты служить должна.

— Я не при капитализме и никому ничего не должна. Ишь, купец какой выискался.
 — Шур, смотри, она, наверно, политэкономию проходила. Помнишь, чё это такое?
 — Ты чё, девушка, — Шурик пьяно уставляется на нее, — думаешь, при социализме служить не надо?! Надо! — орет он.
 — Шур, не ори, — говорю я, — у меня в ухе звенит. Так не завернешь пиво, плохая девушка? — спрашиваю я.
 — Нет, не заверну.
 — Ну, мы его так допьем, иди отсюда.
 — Никуда я не пойду, и не оскорбляйте меня. И пить вам достаточно.
 — Ты знаешь, сколько стоит кружка пива? Двадцать четыре копейки. А ты знаешь, сколько ночей мы работали на вокзале, чтобы на сегодня заработать? Знаешь?! Шур, сколько?
 — Много, — это его любимое число.
 — Четырнадцать.
 — Ну, извините, я не знала.
 — Ладно, ты хорошая девушка. Хочешь пива?
 Официантка, две кружки пива!
 — Я не пью пива, спасибо. Терпеть его не могу.
 — Ничего, выпьем за общее здоровье, хоть кружку.
 — Пива, официантка! Куда ее сдуло? Вот каналья!
 — Не кричите так, я ваша официантка. Мне не надо пива. Вам могу принести, если вам еще надо. Но, по-моему, достаточно.
 — И нам не надо, раз вам достаточно. Стихами заговорил, а, Шур?
 — Молодец, Саш!
 — Поедем на семинар, хочешь? Мы этой с-с... Федоровой покажем, что такое русский язык. Я ей все объясню от «а» до «б»... Хочешь, Шур?
 — Я не знаю русского, я его не изучал никогда.
 — Ты чё, Шур, мы на нем говорим уже двадцать лет, скоро. Как.
 — Это татаро-монгольский, а русского не было никогда, суки, монголы.
 — Хочешь закурить?

— Ага. — Я закуриваю две сигареты, на сей раз удачно.
— Сань, спать хочется.

— Это пожалуйста, Шур, в одно мгновение, я тут в трех кварталах живу. Давай примем по последней и пошли.

— Не, я не могу, ты без меня.

Я разгрызаю креветку и сосу из нее чего-то соленое, чтобы захотелось пива. Выпиваю залпом кружку и встаю. Тело долго качается, но я фиксирую его между столами, за которые держусь.

— Шур, ты встанешь или тебе помочь?

— Я уже встал.

— Я не вижу тебя.

— Я сзади тебя.

— То есть?

— Не впереди.

— Как ты там оказался?

— Не знаю. Нечаянно. Идем или нет?

— Подожди, я ей заплатил или нет?

— Кому это важно, идем: все люди братья.

— Не, она плакать будет, она же ребенок социализма, служить не должна. А социализм — это учт. И потом, — меня шатнуло, но Шурик вовремя уперся в меня, — не можем же мы подводить социализм, уйти, не заплатив, такое только при капитализме возможно.

— Чушь все, это только у нас возможно, потому что денег ни у кого нет; у них это невозможно.

— Т-ш-ш, Шур, в тюрьму посадят, критика строя называется. Де-у-шка. Куда ее дело? Так, сам сосчитаю: четыре плюс шесть, десять кружек пива, это два сорок, четыре порции корвсток, то есть фу-ты, креветок, одна порция стоит... стоит одна порция... Мать их тяпкой по голове, эти креветки, сколько стоит их порция?! Я не знаю.

— Шурик, ты знаешь, кто мать у креветок?

— Че-го?

— Ну, креветочная мать.

— Ругаешься, что ли?

— А-а, ладно, не важно. Вот и девушка, сколько с меня?

— Шесть сорок, — через секунду выдала.

— Вот тут, в нагрудном кармане, десятка, последняя, возьми ее, а то у меня не достанется.

Она достала.

— Шурка, пойдем.

— А ваша сдача? Сигареты и зажигалка на столе. — Она подает мне две вещи.

— Спасибо, это память.

— Сдачу не надо, ты хорошая... — девушка. А может, ты и плохая, но жить тебе надо.

Как мы спускаемся со второго этажа на первый — для меня загадка.

Мы вываливаемся из заведения, на котором горит вывеска «Пивной бар». Фу-у, пива больше не выпью никогда.

— Шур, не падай.

Он упал на одно колено и качается, стоя на нем. Я его с трудом поднимаю, при этом сам едва не падаю.

— Спать хочется.

— Сейчас дойдем домой, три квартала, ляжем. Сможешь?

— Я не знаю, Саш, давай обнимемся.

Мы обнимаемся и, медленно переставляя ноги, идем. На Абельмановской нас чуть не переезжает трамвай. Но мы уворачиваемся. Не Берлиозы все-таки.

— Там кружка пива моя осталась, да? — спрашивает он меня.

— Да.

— Давай вернемся, завтра жалеть буду!

— Да ты что, Шур, у меня сил не хватит даже развернуться, не то что возвращаться. Я ж только по инерции и иду. Только потому, что надо, а так бы упал давно.

— Саня, я жалеть буду зантра.

— Я тебе новую куплю.

— Старую хочу и хотеть буду, хотеть будеться-ся.

— Шур, ты чё, а, склонением занялся?

— Ну ладно, ну идем, далеко еще?

— Не-а.

— Подожди, Сань, давай за столб подержимся, не идется.

Мы держимся. Потом идем, потом опять держимся. Темно, фонари горят, где Наталья, проводила ли отца?

Она совсем была необыкновенная после его приезда. Наталья... что я буду делать без тебя. А почему я буду без нее? Я предчувствую это.

— Я подержался, Сань, пошли.

Мы идем, нестройно качаясь и с трудом удерживаясь. По-моему, эти три переулка мы шли два часа.

— Шур, вот тут ступеньки две. Я стану на первую и подстражу тебя, а ты станешь на вторую и задержишь меня, а то мы оба с тобой ёб... то есть грохнемся.

Через десять минут ступенька преодолена. Я попадаю в замок ключом без всякого понятия, куда резьба, а Шурик стоит прислоненный у стенки.

— Саш, скоро? Не могу держаться.

— Шур, куда резьба? Вверх, вниз?

Мимо идет соседка.

— Вбок, голова твоя садовая, это же не ключ, а зажигалка.

— Да?.. — я пьяно смотрю на нее и вздыхаю.

— Фу-у! — отскакивает она, — ну и вонища. Где это ты так набрался?

Она лезет в карман и достает ключ, кладя зажигалку обратно.

— Это Шу-у-рик, — говорю я, — мой друг.

— Очень приятно, — говорит Шурик от стенки и рушится на два колена.

Она открывает дверь, сажает меня за стол и затаскивает Шурика.

— Помочь надо еще чего-нибудь?

— Не, спасиба-а-а!

— Да не ори ты. Ну и набрался!

Соседка куда-то ушла.

— Шур, сейчас спать будем. Шур, где ты, куда она тебя положила?

— Здесь я, — доносится его голос до меня. — Лежу на чем-то, как на нарах.

— Это моя кровать.

— А, прости, Сань.

Я доплатаюсь и ложусь рядом, поперек, ноги наши на полу. Мы обнимаемся.

— Сань, я люблю тебя.

— Я тебя тоже, Шур.

Последнее, что я думаю, что дверь не закрыта, или это мне кажется. Что я думаю.

Снится мне черт-те что. Что я обнимаю Наталью, прижимаю ее к себе, а она вдруг стала худа, как шпала, волосы короткие, груди ее нет; там вообще ровно, на том месте, где грудь была, ниже руку я опускать боюсь. Я хочу поцеловать ее в губы, а от нее пивом пахнет ужасно, как будто она, а не Шурик, пила. И вдруг она мне говорит, как со стороны:

— Очень милая у вас компания, Санечка.

Голос я точно слышу, он не приснившийся.

Я открываю глаза, стоит живая Наталья и смотрит на меня. Кого ж я тогда обнимаю, сжимая в объятьях? О Господи, это же Шурик.

Слава Богу! А я думал, что у нее грудь испарилась. Я бы этого не пережил. Я смотрю на нее, вроде грудь на месте, хотя и видно туманно.

— Я и не знала, Саня, что у тебя к мальчикам тяга тоже...

— На... На... Наталья... я думал, что это я, то есть ты. Я отпускаю голову Шурика.

— Значит, ты его обнимал, как меня.

— Ага...

— Ну, я надеюсь, ты ничего другого с ним не сделал, как со мной... — она улыбается.

— Нет, мне только снилось, что мы с ним, то есть с тобой, обнимаемся, хотел поцеловать, но пивом пахло.

— Значит, до этого еще не дошло?

— Не-а...

— Но ты следи, а то так перепутаешь меня с кем-нибудь... и ошибку не исправишь...

— Шур, — я толкаю его, в голове у меня что-то соображается: это же Наталья, натуральная, живая, как она тут очутилась? — Шурик, просыпайся, это Наталья.

— Какая Наталья? — бормочет он.

— Которая тебе нравится.

— Как, ему тоже? — она улыбается.

— Что значит «тоже»?

— Я оговорилась, прости, больше не буду.

— Наталья, иди сюда. С другой стороны, не со стороны Шурика!

— Что ты кричишь, Санечка, я догадалась.

Она опускается рядом.

— Все идите сюда! — ору я.

— Саня.

— А? Да. Как ты сюда попала?

— Я из аэропорта ехала, очень хотела тебя увидеть и на минуту заехала.

— Как ты вошла?

— Ключ в двери торчал, и дверь была не закрыта.

— А ты кто?

— Саня...

— Кто ты? — ору я.

— Хорошо, хорошо, не кричи, я — Наташа.

— Какая, другая?

— Нет, прежняя.

— Тогда давай поцелуемся.

— Ох, Саня, — она лишь немножко морщится, но дает мне губы. — Чем это от тебя пахнет соленым?

— Креветками. Ты знаешь, кто их мать?

— Нет.

— Почему?

— Я никогда не интересовалась. Саня, мне больно, ты переломаешь мне ребра...

— А почему ты не интересовалась, кто у креветок мать?

— У меня другие интересы были... Саня? — она улыбается.

— Я тебе не Саня, а Александр, обращайтесь официально. Кто это там слева?

— Твой друг, с которым ты изменял мне...

— Я не изменял тебе, я с мужским полом ничего общего не имею.

— Ты обнимался и собирался целоваться, значит, изменял.

— Хорошо, изменял, — ору я, — а ты кто такая?

— Наталья.

Я сажусь на кровать и поворачиваюсь, глядя на нес.

— Ой, Наталья, это же правда ты.

— Наконец-таки, Санечка, — она садится рядом, наши плечи касаются. У нее изумительное плечо.

— А я думал, кто-то шутит, другая.

— И много других сюда приходит?..

— Нет, но...

— Саня, Саня, — она смеется моему запинанию.

— Можно я тебя обниму?

— Конечно, Санечка. Только не за ребра, пожалуйста... А то там сломалось что-то, мне кажется. Ты у нас не слабый мальчик...

Я осторожно обнимаю ее за плечи.

Мы целуемся.

— Очень противно, наверно, как пивная бочка?

— Нет, почему, даже приятно. В этом есть своеобразие, никогда не пробовала с пьяным... целов...

Я прерываю ее, губами, потом мы ложимся на кровать. Я опускаю руку и касаюсь ее колена. Отбрасываю юбку:

— Наталья, я хочу тебя...

— Санечка, я не могу, — она косится позади меня.

— Это почему?

— Твой друг... рядом.

— Он спит, до утра.

— Санечка, я не могу, честное слово. У меня не получится.

Я полуложусь на нее и берусь рукой за юбочный пояс.

— Саня, что ты делаешь, — она целует в шею меня, — Санечка...

Шурик начинает ворочаться, потом открывает ничего не понимающие глаза.

Я останавливаюсь, опускаясь рядом. Наталья с интересом, я бы сказал — анатомическим, смотрит на меня, наблюдая.

— Это что, та официантка, Сань?

Она смеется безостановочно.

— Какая это еще у тебя официантка, «Сань»? — передразнивает она Шурика. Ее рука щекочет мой бок.

— А, Сань?!

— Шурик, это же Наталья, ты что, не узнал?

— Да? — Он моментально вскакивает и садится на

краю кровати. — Простите, Наташа, я вас не узнал, — он не смотрит на нее.

— Ничего, ничего, это бывает, — загадочно отвечает она.

— Мы тут немножко выпили...

— Совсем, я думаю, малость. Но Саню я не видела таким никогда.

— Саш, чего ж ты не сказал, что это Наталья пришла?

— Я ее сам пятнадцать минут узнать не мог. Она изменилась... То есть она не изменилась, но я не того... сегодня.

— Я говорил, — начал Шурик заунывно, — лучше на семинар пойдем...

— Да ты чё, Шур, оправдываешься. Мужик должен пить и бабу бить.

— Ну, первое ты уже сделал, остается второе. Может, ты побьешь меня, так, для разнообразия: «чтоб крепче любила».

— А что, и побью сейчас... Ой, Наталья, я это, того, занесло, прости меня.

Она смотрит на меня и грустно улыбается.

— Я пойду, Саш, — говорит Шурик на всякий случай.

— Я вас подвезу, меня машина ждет, — произносит Наталья.

— Какая?

— Такси, Санечка. Уже поздно, я должна быть дома.

— А почему же ты мне не сказала?

— Что бы изменилось?

— Ничего, — подумав, сказал я.

Шурик встает, надевает кожанку. И чего он такой тощий, думаю я.

Наталья поднимается:

— Санечка, я не знаю, увижу ли я тебя завтра, позвони мне с утра.

— Ладно. Давайте, все уезжайте, давайте! Бросайте меня!

— Саня, — она опускается рядом возле моего лица.

— Уезжайте, — повторяю я.

— Я должна быть дома. Не обижайся. Я, наверно, не должна была заезжать сегодня...

— Нет, что ты! — Я очухиваюсь, беру ее руку и целую. Она смотрит мне в глаза. — Спасибо, Наталья. Я просто пьян...

— Ничего страшного, Санечка, я рада, что увидела тебя. Позвони мне с утра, обязательно. Ты не забудешь? Или мне оставить записку на столе?

Шурик вышел, махнув рукой на прощанье.

Она наклоняется и целует меня. Потом поднимается:

— Санечка, ключ на столе. Ты не забудешь?

Она подходит к двери, потом возвращается.

— Ты хочешь, чтобы я осталась?

Я сжимаю руки между колен.

— Санечка?

Я закусываю свой язык между зубами. Чтобы не прогоркнуть ни слова.

— Ну, до завтра, раз ты не хочешь, — она подходит к двери, глядя на меня.

Дверь за ней закрывается.

Как я хорошо, к сожалению, знаю слово «нельзя».

Я звоню ей в девять утра. Улица суха и пуста, уже не холодно, скоро конец марта.

Трубку никто не берет. Я перехожу в другой автомат, этот, наверно, испортился. Бросаю две копейки и набираю номер, трубка остается глуха.

Я выхожу из автомата и говорю сам себе:

— Что ж, она права, она во всем права. Я бы послал меня куда подальше.

Я сижу дома и дочитываю нудного Моэма с его «страстями человеческими». На его страсти мне хочется сказать: мне б ваши заботы, Мария Моэмовна.

В голове гул и звон.

Я должен извиниться. Она святая, если до сих пор терпит меня. Я позвоню ей в пять, он возвращается домой в шесть, она будет одна дома. Если будет.

Я звоню в пять, и трубка снимается.

— Наталья...

— Санечка, слава Богу, что ты позвонил, я так переживала. У меня в восемь утра был зачет, о котором я не знала. Он мне записку вчера оставил, когда я приехала.

Я только на минуту домой заехала, в шесть вечера у меня консультации начинаются и до одиннадцати.

— Наталья... я у тебя должен попросить прощения за вчера. Я был как...

— Что ты, Санечка. Я не обиделась. Ты мне даже понравился вчера. Такой пьяный и решительный. Я прямо была влюблена в тебя...

Я вздрогнул.

— Хотела оставаться, но ты отказал...

— Наталья, я же...

— Я понимаю, Санечка, это из-за меня, для меня и во имя меня. Но иногда не надо этого делать. Для меня. Я же взрослая уже и могу сама кос в чем разобраться. Ты согласен?

— Я очень сожалею...

— Ничего страшного, у нас еще все впереди. Саня, я должна мчаться, очень важная консультация, этот профессор будет на госэкзаменах у меня. Я сама приеду, только не спрашивай когда. Совсем ненормальные дни начинаются. Только ты не жди, пожалуйста, я знаю, как ты это не любишь. Я застану тебя. Как вчера... Хорошо, Санечка?

— Хорошо, Наталья.

— До свиданья.

— До встречи, — говорю я.

Опять эта проклятая книжка, читать не хочется, но больше делать нечего. Я полистал страницы вперед, впереди не было ничего интересного, я вернулся назад и стал читать. Она занята, но при первой же возможности приедет, и мы увидимся.

Стук раздался в дверь неожиданно. Я бросился к двери... на пороге стоял мой брат Боря.

— Я понимаю твоё разочарование, что я — это исона, — проговорил он, увидев мое лицо.

— Тебе и так хорошо, — грустно ответил я.

— Правда? — он улыбается.

— Крикда, — сказал я.

Он снял пальто и сел за стол.

— Кушать хочется.

Я стоял и смотрел впереди себя.

— Хочется кушать.

Я оглянулся почему-то позади себя.

— Ты что, еду там ишешь? — спросил он меня.

— Троглодит несчастный! — вскрикнул я. — Только одна жратва на уме. Анимальный.

— Так кушать хочется, есть что кушать?

Я стал доставать из пакета и разворачивать ему ее бутерброды и всякие другие вещи.

Он стал уминать так, что мне казалось, он челюсти сломает себе, на укусе.

— Борь, осторожно...

— Это ничего, Санчик, все в порядке.

— Где Лина?

— Сегодня уезжает, она у подруги. Тебе и Наталье привет передавала.

Я подумал.

— Хочешь, пойдем ее провожать. Тебе никого не надо ждать? — осведомился он осторожно, берясь за третий бутерброд.

— Не надо, поедем.

Он даже удивленно вскинул глаза на меня и откусил полбутербюра.

Я смотрел с грустью, как он уплетает то, что она принесла, и думал, почему ее нет здесь. А вот это вот анимальное животное здесь, и ему это до фонаря. Жрет, не подавится.

— Борь, ты сколько съесть можешь?

— Много, — осторожно отвечает он.

— Да я не собираюсь останавливать тебя, не пугайся. Он послушный становился, когда сму давали.

— Сколько?

— Очень много. Сколько дадут.

Я засмеялся:

— Ну, давай рубай!

Через двадцать минут он насытился. Откинулся, рывнулся, закурил мою сигарету из ее пачки и сказал:

— А ты в институте думаешь бывать?

— Борь, переел, что ли, или плохо вошло? Чего это ты решил педагогическими моментами заниматься?

— Отец потом с меня будет спрашивать, надо же когда-то и этим заняться, твоим воспитанием.

— Это точно, без тебя я не воспитаюсь.
 — Почему ты в институте не бываешь? Ты что, думаешь, на ней жизнь закончена?
 — Вчера был.
 — Что делал?
 — Пиво пил.
 — Хорошее посещение института. Большие знания.
 — Это тоже нужно уметь.
 — Согласен, в определенных случаях — это важно. Вот я, например...

И он завелся, рассказывая мне свои примеры. Педагогический момент на этом закончился.

В восемь часов вечера мы сели на метро (я наскреб последнюю мелочь серебром в кармане) и поехали на Рижский вокзал.

Лина ходила по перрону, ждала и нервничала. Мой брат вечно опаздывал.

— Сашенька, — она приятно удивилась, увидев меня. — Я думала, что уже не увижу тебя, Борчик.

Они проворковали пять минут, и поезд стал трогаться. Он уже на ходу подсадил ее, мимо ворчащего, как все проводники, проводника.

— Привет Наталье...
 — Спасибо, — сказал я и подумал: где Наталья?

Поезд ускользнул в темноте, в ночи, уже бесшумно, мигая только двумя красными огнями. Вдруг мне захотелось уехать, куда-нибудь, сев в купе, и ни о чем не думать, и чтобы она была со мной, все время, и ей не надо было возвращаться, а мне звонить ей.

— Идем, — тронул меня брат, — холодно.

Я вернулся в реальность.

— А когда тебе нормально, Борь?

— Когда работать не надо.

Поезд скрылся. (Мечты рассыпались, как хрусталь, — sacramentalno звучит.)

— Подъехать хочешь на телеграф, мне позвонить надо?

— Ладно, так и быть, — проскрипел он.

На телеграфе, как всегда, полно всякого сброва. Когда-то я здесь встречался с Натальей. Каждый день она бы-

ла моя, со мной. Может, люди сходятся, сближаются и перестают тянуться друг к другу, остывают...

— Что вам, молодой человек?

— Я старый, — машинально шучу я.

Она улыбается:

— За счет вызываемого: два-тридцать пять-семьдесят пять. Не забудьте — за счет другого города, а то у меня денег нет.

— Хорошо, старый человек.

Я смотрю на нее, она на меня. Приятная девушка.

— Хотите встретиться со старым человеком?

— Да, — отвечает она.

Я задумываюсь: когда не надо, так они снимаются. Эх, Наталья, Наталья, видела бы ты, какие девушки хотят встретиться со мной.

— Вы работаете завтра?

— Да.

— Я зайду к вам.

— Я буду ждать.

Я поворачиваюсь и иду к сидящему в кресле брату.

— Ты что там, о свидании договаривался полчаса? — шутит он.

— Ты ясновидящий, что ли, Б.?

— А как же Наталья?

— Что на ней, свет клином сошелся?

— А, ну-ну, — он с любопытством смотрит на меня. — Может, брату отдашь?

— Она только тебя и ждала.

— Ну конечно, после тебя, Аполлона, нам там делать нечего.

— Ты ей не нравишься. На ее мужа похож.

— Она, глупая, ничего тогда в мужиках не понимает — если ее муж похож на меня. Выбрала тебя, шмаровозника, — он оглядел меня с улыбкой.

— Борь, не называй ее глупой. Пожалуйста...

— То-то же. Волнует, а то «свет клином сошелся»!

— ...за счет вызываемого, два-тридцать пять-семьдесят пять, за счет...

— Ты смотри, — удивляется он, — сразу дала.

— Мне везет с телефонистками.

- Почему?
- Потому что они мне не нужны, так всегда.
Мы забиваемся в тесную кабину.
- Мама, мамуленька! Здравствуй, моя хорошая.
- Санечка, как дела?!
- Лучше всех.
- На сессию мне не придется опять прилетать, как тогда...
- Нет, мама, я там лучший ученик. Ты же знаешь, как я могу заниматься: за три дня то, что они изучают полсеместра.
- Ты у меня уникальное дитё! — она смеется. — Сыночек, ты не мерзнешь, не голодаешь?
- Б. толкает меня и говорит: «Отца».
- Ма, Борик хочет с папой поговорить, он дома?
- Как с папой?! Вы разве телеграмму не получили, я вам послала, срочную. Он завтра в Москву приезжает, вагон номер семь, поезд девяносто третий, в девять утра.
- Мам, ты серьезно?
- Конечно, сыночек. Как же вы телеграмму не получили?
- Что случилось? — спрашивает Б. у меня.
- Папа приезжает.
- Когда?
- В старинные годы. Мамуля, ну что у тебя еще нового?
- Скучаю по тебе и не дождусь лета, когда мы увидимся.
- Я подумал насчет лета...
- Сыночек, ты с кем-то встречаешься?
- Э-э, нет... то есть... а почему ты спросила?
- Ты мне письма совсем не пишешь.
- Мам, я напишу.
- Я для тебя денежек с папой передала. Питайся нормально и ни в чем себе не отказывай. Занимайся, будь умницей. Целую тебя.
- Спасибо, я тебя тоже.
- Мы выходим из будки.
- Когда отец приезжает, недоносок? И научись отвечать с первого раза!

- Я тебе должен отвечать, когда по телефону разговариваю, да?
- Раз старший брат спрашивает, он знает, что можно и что нельзя.
- Не вякай.
- Он размахивается дать мне подзатыльник, я уворачиваюсь, отступая за столб. Он идет дальше. И вдруг — я вижу, как в стеклянные двери входит женщина, до обладания похожая на Наталью: Господи, это Наталья. Рядом с ней идет красивый, холено одетый мужчина, в костюме в полоску, без пальто, только светлое кашне вокруг горла.
- Я понимаю, что она с ним, но в то же время чувствуется, что она идет с ним как бы нехотя, на расстоянии полуметра. Она минут брата, не замечая, так как голова ее опущена вниз.
- Неужели это причина?..
- Брат увидел ее и оглядывается, ища взглядом меня.
- Ах, Наталья... Кто мог подумать, что ты такая же... Господи, какой дурак был, идиот, какие-то иллюзии строил, как пацан... Такая же... как и все. «Ах, Санечка, ты один, не смогу без тебя». Оказывается, может, и не слабого мужика зацепила.
- Они подходят к стойке, где заказывают разговоры. Останавливаются на расстоянии друг от друга. Поругались, что ли? Что! Меня и это волнует? Впрочем, почему это волнует меня?
- Я вас слушаю, — доносится голос девушки-телефонистки, которая...
- Югославию, пожалуйста, сейчас.
- Я вздрогиваю, услышав эту страну.
- Вам ждать придется.
- Мне не нужно будет ждать, — говорит уверенным голосом он, — что у вас тут творится, час в ваше «ноль семь» дозвониться невозможно. Через двадцать минут я буду дома, и потрудитесь, чтобы разговор в течение получаса состоялся.
- Я наблюдаю. Он кладет листок, заранее написанный, перед нею:
- Здесь все данные. Спасибо, до свидания.
- Девушка берет листок.

Он поворачивается: да это же ее муж, он и вправду похож на моего брата. Лицо только взрослое и более сытое, знающее цену себе и своему положению. Она идет рядом с ним. Я никогда не видел, как она ходит с другими, совсем не так, как со мной; как чужая.

— И для этого нужно было меня тащить с собой ночью, чтобы продемонстрировать, как величественно ты можешь разговаривать с телефонисткой, будто она виновата.

— Это твои родители, и тебе им надо звонить, я что, один должен ночью по телеграфам мотаться, да?

— Считай, что я ничего не сказала. — Она отвернулась, замолчав, и шла совсем отдельно, будто посторонняя.

И в то же время чувствовалось, что они пара, что они вместе. Они вышли порознь в дверь.

Господи, какая я свинья! Что я о ней подумал! Как я ее назвал? Какой сам — дермо, так и о других думаю. Я следы ее целовать должен. Где она ступала. За то, что она есть.

Брат ждал меня, настороженно глядя.

— Ты ничего не видел?..

— Видел.

— И что?

— Это был ее муж.

— А... Правда, чем-то похож на меня.

— Есть чем гордиться.

— Ты костюм видел, какой у него. Тревировский, тройка, это то, что я хочу уже два года.

— Хорошо, я ей скажу, чтобы она взяла у него — для тебя. Только он чуть крупнее. Ушьешь?

— Спасибо. Не нервничай. Интересно, что бы ты сделал, если бы это был не ее муж.

— Сказал бы ей «до свидания», она свободная женщина и вольна делать что угодно.

— Как это легко у тебя на словах получается.

А что на деле, подумал я, на деле я бы этого не пережил. Точно.

— Так что там с папой?

— С чьим?

— Нашим, у тебя что, два папы? Совсем рехнулся?

— Завтра приезжает.

— Во сколько?

— В девять.

— Идем, чего ты стоишь?

Я гляжу на выходную дверь телеграфа.

— Они уже уехали, — говорит брат, — наверно, машина ждала, не мог же он в такой ветер в одном костюме прийти.

Дался ему этот костюм!

— Б. Ты заснешь до завтра?

— А что?

— Ну... с костюмом тебе придется обождать до завтра, я ей не могу звонить сегодня, а только с утра.

— Засну и подожду до завтра.

Мы едем в метро обратно. Людей уже мало. Да и те — сонные. К метро у меня какая-то теплота. Оно и она — связанны. Что моя жизнь без нее — ни ч т о.

Мы расходимся, каждый по своим комнатам.

Через минуту он появляется. Снова.

— Сигарету хочется.

Я даю ему сигарету:

— Чего, советские уже не курятся?

— Ага, — он улыбается, — американские лучше.

— Она их для меня приносит, не для тебя. Тебе пускай муж ее приносит, вы с ним похожи.

Он улыбается, глядя на меня как на больного, и уходит.

Через минуту он появляется опять.

— Ну, чего еще, Борь, штаны снять не даешь?

— На будильник, а то отца встречать прозевашь.

— Спасибо за заботу, мог бы его у себя оставить.

— Завтра суббота, у меня в субботу на него не срабатывает.

— Я ж говорю, ты анимальный.

— Поговори у меня еще.

Он растворяется. Я раздеваюсь и быстро ложусь в холодную кровать.

Завтра суббота, значит, она точно не приедет и в воскресенье, два дня я не увижу ее.

Я слышу, как он топает в туалет, потом моет руки, на кухне. И опять стучит в мою дверь.

— Чего еще?
 — Не забудь, будильник, завести будильник.
 Я завожу будильник и засыпаю до утра, обняв руками подушку. Как долго все сохраняет ее запах...

В восемь часов что-то звенит, и я не понимаю, что, телефона у меня нет. Это проклятый Борин будильник. Единственно, что утешает, что я его сейчас так же разбужу, как его будильник, такой же тупой, как и он, меня. Я стучу в дверь, одевшись, за ней тишина.

Не так быстро сказка оказывается.

Я колочу пятнадцать минут, прежде чем он открывает.

— Что случилось, чего ты ломишься, как аномальный?

— Папу встречать надо.

Он заваливается опять в кровать.

— И чего б этому поезду не приходить в два часа дня.

— Надо переменить расписание, я позвоню на железную дорогу, Боря.

— Вот это ты изрек умную мысль, наконец; давно не слышал от тебя.

Он поворачивается на другой бок.

— Санчик, встреть его без меня.

Я, не тряся слов понапрасну, иду в кухню и набираю чайник холодной воды.

— Борь, считаю до трех: раз, два...

— Ну ладно, заразный, — он откидывает одеяло, — никогда от тебя спокою нет!..

Дальше мне его становится жалко, до того он несчастен, когда, дрожа всем стройным телом, не попадая в туфлю, закутавшись в длинное, чужое, пальто, идет на кухню умываться под холодную воду.

Он возвращается, и я преподношу ему сюрприз:

— Борь, я не смогу поехать.

— Это почему? — Он до конца еще не проснулся и не рассвирепел.

— Он а должна присхать.

— Позвони, скажи, что отца встречать надо, чтобы не приезжала.

— Сегодня суббота, я не могу звонить.

— Что ж ты предлагаешь, чтобы я один ехал отца встречать?

— А что тут такого, я позже подъеду, часа через два.

— Нет, я один не поеду.

— Борь.

— Не-а, я ложусь спать.

— Три сигареты «Мальборо».

— Ум-м... не-а.

— Пять.

— Десять, и даешь на такси, а то я опоздаю, — говорит он.

— Нет ни копейки, папа должен привезти, заплати сам, я тебе вечером отдам.

— Давай сигареты, —rationally говорит он.

Я иду за пачкой и отсчитываю ему десять сигарет.

Через пятнадцать минут, с трудом, мне удается вытолкнуть его на улицу, да еще поймать ему такси.

— А как ты нас найдешь, Ромео?

— Мама сказала, что у него номер заказан в гостинице «Москва». Не забудь, вагон номер семь.

Время на столбе близится к девяти. Я, наверно, становлюсь ненормальным. Мне кажется, что именно сегодня она должна приехать. Всегда так по-идиотски получается.

Я сажусь ждать. В течение часа не раздаются ничьи шаги. В течение второго часа одна пара шагов прошла на кухню и вернулась через полчаса, чем-то шипя. Работает во вторую смену, подумал я.

В двенадцать я оделся поприличней, тщательно причесался, папа всегда пилит меня, что я вечно хожу непричесанный. Опускаю руку в карман пиджака, там нет даже мелочи, я не думал, что так плохо. Пятака на метро по всей келье найти не могу. Но натыкаюсь неожиданно на молочную бутылку, и с облегчением вздыхаю, это пятнадцать копеек. В молочной отделе заспанная и ненакрашенная продавщица долго ковыряется, и мне уже кажется, что я никогда не получу свои пятнадцать копеек из ее покрасневших рук.

Я сажусь в метро.

— Да, девушка, бронь была. Сегодня утром приехал, из Грозного.

— А, помню, я сама его оформляла. Такой представительный мужчина? Сейчас я вам скажу: номер тысяча двадцать седьмой.

— Спасибо большое.

— Пожалуйста.

Я стучу в дверь, дверь отворяет Боря и подлецо улыбается. Я вхожу в номер.

Папа сидит в кресле, пиджак снят, и галстук ослаблен у воротника. Он поднимается мне навстречу.

— Горячий сын, нечего сказать. — Мы обнимаемся, он целует меня.

— Пап, ты прости, знаешь, занятия, лекции, сегодня с утра надо было в институте обязательно побывать.

Я знаю, это единственная отговорка, которая пройдет: для него институт — это святыня.

Они переглядываются с Бориком, тот ухмыляется.

— Что, все уже рассказал??

— Ничего я не рассказывал, устраивай свои дела сам, не вмешивай меня, а то потом я буду виноват.

— А что он должен был рассказать?

— Ничего, пап. Как ты доехал, он вовремя встретил тебя?

— Он оказался, как ни странно, более теплым сыном...

— Угу, на чьем такси только он ехал теплоту проявлять.

— Да, кстати, — вскидывается Б., — отдавай, что за такси обещал.

— Сколько он тебе должен? — спрашивает папа.

Б. прикидывает две минуты.

— Три рубля.

Батя улыбается и щедрым жестом протягивает ему три рубля, вынув портмоне.

— И хотя там максимум рубль пятьдесят, но кто считает, да, Б.? — говорю я.

— Я бедный врач бесплатной медицины.

— Стань богатым, — советует ему папа, — и мне будешь помогать на старости лет.

Тут они оба прыскают, а потом смеются. Так как от Бори помощи дождаться, легче Антарктиду растопить.

— Ну, как ты тут, Саня, совсем от рук отился, безбатьковщиной растешь. По отцу не скучаешь?

— Скучаю, пап, — я как-то никогда не мог говорить сантименты.

Папа садится в кресло.

— Па, кушать хочется, ты ж обещал ресторанчик.

Б. хлебом не корми, только своди в ресторанчик.

— Ты ел с утра что-нибудь, сынок?

— Не, пап, я не успел.

— Ну, пошли все пообедаем, отметим мой приезд и нашу встречу.

Просто так отец в рестораны не может ходить, прошлое, голодное и нищее, не позволяет, обязательно причина нужна.

Мы идем по коридору к лифту, Б. обгоняет нас, как ветер, нажимает кнопку.

— Он редко куда так торопится и стремится, — говорит мне папа, и мы смеемся.

Лифт останавливается, впуская нас.

— Ты бы так к диссертации лучше стремился, как к ресторану, — говорит папа.

Б. внимает: сейчас его кормить будут. Ради этого он способен вытерпеть все, хоть сто нравоучений.

— Тебе когда в институт, сынок? — спрашивает папа, обнимая меня.

Мы переглядываемся с Б.

— В половине второго, па.

— Если ты немного опоздаешь, это не страшно там у тебя?

— Да нет, конечно. Па, вообще сегодня только одна лекция, суббота, и то по диамату, это ж неважно. И к литературе и русскому языку отношения не имеет.

— В науке, сынок, все важно! Но так как батька приехал, разрешаю тебе пропустить, но только один раз, не больше.

— Спасибо, — я целую его любимую щеку.

Брат двусмысленно смотрит на меня.

Мы заходим в зал ресторана, который называется «Зимний сад». На каком он этаже, я даже не успел обратить внимание.

Спрашивают, живем ли мы в гостинице, я показываю ключ от папиного номера, тогда пожалуйста. Официантка приносит нам одно меню, видно, дефицит. Батя разворачивает его и зачитывает вслух. Когда он кончает, оказалось, что выбрал только он, мы не успели. Он передает нам меню, и мы начинаем вместе читать, так как сидим рядом.

— Ребята, — говорит папа, — вы там сначала направо смотрите, где цены, а потом налево, где блюда.

Мы смеемся. Папа себе, как всегда, выбрал колхозный набор: селедочку с картошечкой, пиво, солянку мясную и котлету по-киевски. Мы изошлемся с Б. в выборе того и другого, и батя сразу спешит предупредить нас, что каждый день так не будет.

— Жалко, — искренне огорчается Б.

Мы хотим взять шампанского (по случаю), но отец не может пить его днем, и мы тоже ограничиваемся пивом. (Опять пиво...)

Официантка берет заказ и исчезает.

Как минимум на полчаса, с тоской думаю я. Интересно, присежала Наталья? Хотя, если она не присехла до двенадцати, она вряд ли приедет позже.

— Ну, как твоя учеба, Саня? Не так, как в прошлом семестре?

— Все в порядке, па. Учусь понемногу.

Б. смотрит куда-то в сторону.

— А ты что скажешь, Боря? Ты старший брат.

— А что я? Он мне не докладывает, вышел из-под контроля. Учится вроде.

— Ты мне по-казенному не отвечай. — (Мы улыбаемся, это коронная папина фраза.) — Он в институте бывает?

— По-моему, бывает, я не проверял.

— Ладно, я сам съезжу, выясню, как он там.

О Господи, что угодно, только не это.

— Ты не против, сынок?

— Что ты, па, конечно, нет.

— Ну, поедем вместе в понедельник.

— В понедельник весенняя кафедра.

Удивительно, но появляется официантка и ставит закуски, бутылки с пивом на стол.

— Тогда во вторник.

— Па, а ты надолго приехал?

— Все ясно, — он улыбается.

— Не, я просто спрашиваю.

Б. приступает без разговоров к еде, наливая себе полный стакан пива.

— На несколько дней. У меня завтра встреча с институтскими товарищами — тридцатилетие окончания празднуем. Посмотрим, кто чего достиг, кто кем стал. Папа твой, вот, профессором стал, можешь гордиться.

— Я горжусь, па, дай десятку, — встrevает Б.

— Не порть мне аппетит перед едой — сразу, — отвечает отец, улыбаясь одними губами. — Говорят, сынок, — он берет меня за плечи, — со всего курса только трое профессорами стали, и те оба в Москве, а в провинции — никто, я один.

— Пап, ты молодец, — говорю я, — я бы так не смог, я помню, как ты сидел ночами, семь лет, после работы, с одиннадцати ночи до четырех утра, и писал свою докторскую. А утром опять на работу.

— Сынок, мой отец всегда мечтал, чтобы я ученым стал, профессором, и чтобы все уважали меня, сына простого мастера-наладчика на фабрике газированной воды, я это для него сделал, в его память добивался. И ты это должен сделать — для меня. Я помню и понимаю твои мечты стать актером. Но не у всех получается. Я тебе дал шанс поступать, ты его никчемно растратил, не моя вина. Я тебе помог поступить у нас дома в институт, так как знал, тупее других не будешь. Потом перевел тебя в Москву, в лучший педагогический институт. Теперь учись, покажи, что ты можешь. Чтобы твои школьные учителя, когда узнали, сказали: смотри-ка, мы в нем ошибались, а он вон как науку двигает. Договорились, сынок?

— Договорились, папа...

Боря окончил свой салат и принялся за мой.

— Ну, теперь давай покушаем, Саня, а то твой брат обгоняет нас, — и добавил, засмеявшись, — как всегда в этом деле. Вот тоже лоботряс вырос, ничем не интересу-

ется, кроме поесть и поспать. Третий год не могу его заставить сесть за диссертацию.

— Ну, па, — пробурчал Б. с набитым ртом, — дай поесть спокойно. Можно хоть один час без нравоучения, я же не Саша.

— Ты поговори у меня, «педагог», так быстро финансовой поддержки лишу.

Б. умолкает моментально. Папа его воспитывает тоже для меня. Как показательный пример.

— Борь, ты салат не перепутал? А?

— Ой, Санчик, я не заметил. Это твой разве?..

— Да, свой ты съел.

— Ничего, это бывает, — говорит он.

— Пусть наедается от пузза, когда еще отец приедет, да и приеду ли я... Я тебе другой закажу. Закажи себе сам.

— Пап, кончай ты эти похоронные мотивы, вечно: да и приеду ли я, увижу ли я. Ты еще меня переживешь. Выглядишь ты прекрасно.

— Нет, сынок, вас я переживать не хочу, твой дед говорил: плохо, когда отец своих детей переживает. Но как вы людьми станете, увидеть хочу. Я Борю не дубасил, руки не доходили, да и учился он хорошо. А тебя буду за двоих, но человека из тебя сделаю.

— Ты меня обрадовал просто, папа, что за двоих будешь бить. Хватит, и так до десятого класса бил.

— Мало бил, — жалеет он.

— Это точно, — встревает брат.

— Ты хоть не вякай.

— Ты как с братом разговариваешь?

— Сам виноват, так поставил, — говорит ему папа. — Позволяешь так с собой обращаться, а значит, он тебя не слушается; а раз тебя не слушается, значит, ты не можешь контролировать, ходит ли он в институт, как его занятия и учеба там.

Мы с братом хохочем.

— Па, ну у тебя все, с чего б ни начал, сводится к институту да учебе, — говорит Боря.

— Естественно, лучшие-то годы для развития проходят, для творчества.

Я углубился в принесенную тарелку и стал усиленно

есть. Б. прервался (на свою голову), почувствовав временное пресыщение.

Отец тут же принялся за него.

— Ну как, Борик, работа?

— На месте. Никуда не денется.

— А жаль, да? Не любишь ты свою профессию, не любишь. Плохо я тебя воспитал, не привил любовь к больному, — отец всерьез сокрушаются. — Стоит у тебя работа, говоришь, никуда не денется, а она мчаться должна.

— Па, что ты хочешь, чтобы больные мои мчались, как здоровые?

— Каламбуришь все. А я в твои годы уже капитаном медицинского батальона был и главным хирургом госпиталя, самому отцу-Вишневскому ассистировал, он работать меня к себе звал, в Москву, оставаться. А ты! Паразит вырос. «Дорос до двадцати семи лет без напряженья и трудов». До сих пор с батькиной шеи не слезешь, и не стыдно.

— Па, ты чего, его оставил, — он показал, кого сго, — теперь за меня принялся?!

— Я, Борик, ни за кого не принимался. Но больно на тебя смотреть. Цели у тебя нет, работу свою не любишь.

— А что ты хочешь, чтобы я любил этих больных?

— Да.

— Мне за это больше не платят, ни рубля.

— Не надо было тогда доктором становиться.

— А ты лучше вспомни, как я им стал, кто меня уговаривал и уговорил.

И тут они заводятся, но на мирных тонах. И спорят, пока не приносят горячее.

— Ну, вот и поговорили, — подвожу я итог и перевожу разговор, — па, так ты надолго приехал?

Они смеются с Бориком.

— Потомок боится, что в институт пойдешь, — говорит Б., — может, и вправду ходить не надо, учиться же.

— Нет, схожу, узнаю, что у него, как. Добраться до его костей надо.

Он трогает мои ребра.

— Опять похудел, Саня? — грусть звучит в его голосе.

— Немного, папа. Но, говорят, женщины худых любят.

— С кем встречаешься, сынок?

— Так, понемногу, — уклоняюсь я.

— Я слышал, роман серьезный у тебя.

Я мельком взглядываю на брата, который терзает жареное мясо, потом вопросительно смотрю на отца.

— Слухом земля полнится, — поясняет он предыдущую фразу, но не объясняет. И переключается: — Как мясо, Борик?

— Отличное! — радостно восклицает Б.

— Съешь еще порцию, сынок?

— Не, па, спасибо, это невозможно.

— Ну, тогда давай выпьем пивка, наливай всем.

Мы пьем пиво. И мне Шурик вспоминается...

Обед кончается, и папа идет в номер отдохнуть. Мы выходим с братом на улицу, договорившись завтра присехать к отцу на завтрак в гостиницу.

— Ну, с отцом как побываешь, — говорит Б., — отпуск на неделю брату нужно: одно и то же, одно и то же.

— Ты представляешься, он в институт пойдет, что ему там обо мне скажут, ему же дурно станет. Борь, придумай чего-нибудь.

— Я попробую, конечно, сго отвернуть, но, по-моему, это бесполезно.

— Но ты хоть с ним сходи, все смягчится.

— Я работаю до шести. Тебе это прекрасно известно.

— Вечно у тебя не вовремя эта работа.

— Что ты предлагаешь, чтобы я не работал? Ты меня кормить будешь? Я с удовольствием. Вот семейка, один говорит — не работай, другой говорит — работай, чтоб работа мчалась.

— Все ясно.

— Ладно, не выступай, попробую отговорить его. Куда ты едешь? Домой, конечно. Она не присехала?

— Нет, она занята. — Мне стыдно. — Но должна присехать.

— Хочешь в карты сразиться?

— Давай.

Мы сидим целый вечер и играем в карты. Я не выигрываю ни одной партии. Говорят, в любви везет. Да уж...

Прошло воскресенье. Она не присехала.

Понедельники ненавижу, проклятая военная кафедра.

Опять надо лезть в вонючие, с вылезающими гвоздями, сапоги, которые каждый день одевают другие. В пахучие фуфайки и штаны. Хоть не так холодно на улице, слава Богу.

Звоню папе в гостиницу после шести. Сегодня вечером у них посещение Большого театра с бывшими однокашниками, а завтра мы идем в институт. Об этом мы и договариваемся.

— Значит, Саня, заседешь за мной в час в гостиницу, возьмем такси, ты их любишь, и поедем в институт. Ради твоего института даже на такси не жалко.

— Хорошо, папа, — говорю я и чувствую, что внутри у меня собирается что-то нехорошее.

Мы прощаемся до завтра.

Двушка непонятно откуда оказывается на столе. Я вхожу в телефонную будку и набираю номер. Наталья сразу поднимает трубку.

— Доброе утро.

— Доброе утро, Санечка.

Я еще не успеваю рта раскрыть, она говорит:

— Я хочу тебя увидеть, если я приеду, ты не возражешь?

Я молчу.

— Саня?..

— Да, конечно.

— Что «да»? Возражаешь?

— Нет, конечно; я тебя жду.

— Я приеду к одиннадцати, мне надо еще в одно место заехать.

— По тому же вопросу?..

— Саня, как тебе не стыдно такие вещи говорить.

— А что! Жизнь такая.

— Я знаю, Санечка. Но я не такая. До встречи, а то я не успею к одиннадцати к тебе, и ты опять будешь сердиться.

— А какая ты?

— Я тебе себя потом объясню. При встрече.

Я застываю.

— Я уже собрана и только ждала твоего звонка. И как прекрасно, что ты такой пунктуальный...

— Все шутишь?

— Я абсолютно серьезно. Все, я побежала.

Она бежит. Или не бежит. Я не вижу.

Я ложусь в кровать и опять засыпаю. Мне радостно и тревожно.

Тихий стук в дверь будит меня, и через минуту она уже раздевается.

— Санечка, я так скучала по тебе.

Я целую ее губы в ответ. Но что-то тревожно внутри у меня. И эта тревога не проходит, даже когда я растворяюсь в ней. (О, эти изумительные растворения.)

Она лежит на моей руке. Сколько дней мы не виделись? Сколько дней этого не было?

— Наталья, сколько мы не виделись?

Сколько дней ты не была моей, думаю я.

— Не надо об этом, Санечка. Я не хочу. Скажи лучше, что у тебя нового?

— Папа приехал...

— Правда?! — она вскидывается. — Ты говорил ему что-нибудь обо мне?

— Нет еще, он вчера приехал.

— Я хочу с ним познакомиться. Он должен быть необыкновенным.

— Почему?

— Он все же создал тебя, — она смеется.

— Наталья, Наталья...

— Что, не нравится?

— Мне все нравится, что делаешь ты и что касается тебя...

— Спасибо, Саня.

Наши губы смыты в поцелуе. Она вскрикивает, что-то дрожит внутри меня, трясет, горячее наслаждение, потом блестательная пустота и мягкий провал. Она лежит не здесь, как будто без сознания. И очень долго не возвращается.

Я давно уже пришел в себя. Мужчины вообще всегда быстры приходят в себя... потом.

Она шепчет мне что-то, прижавшись к моему плечу.

— Саня...

Больше я ничего не различаю. Но за то, как было сказано это слово, можно отдатьолжизни и всю жизнь, все свое существование, лишь бы услышать это еще раз.

Мы проваливаемся в сон одновременно. Что она там видит во сне? Я хочу быть ее сном.

Я просыпаюсь, щекой касаясь ее груди. И не шевелюсь.

— Санечка, — говорит она, — ты спиши, как медвежонок, сопиши и пинаешь меня коленом.

— Извини, Наталья.

— Что ты! Мне это очень нравится!

— А ты что, спала с медвежонком?

— Ну, Саня, как тебе не стыдно!

— Очень стыдно!

— Просто я всегда представляла, что так спят медведи. Я целую ее грудь.

— Саня! Вечно у тебя плохие мысли на уме, — она улыбается, ее лицо надо мною.

— Разве это плохие мысли?

— Нет, это хорошие. Ну, не могу же я тебе об этом так прямо сказать.

— Почему?

— Потому что ты маленький мальчик и мне нельзя тебя разворачивать...

— Вопрос только, кто кого разворачивает?

— Это даже не вопрос, так как я на все согласна... — она смеется.

— Но мне нравится твоя порочность...

— Санечка, когда ты должен увидеться со своим папой?

— В час дня.

— Так сейчас уже вечер!

— Ничего страшного.

— Какая я плохая, разбиваю все твои планы. Он надолго приехал?

— На три-четыре дня.

— Тебе здорово попадет от него?

— Как тебе сказать. Мы должны были сегодня поехать в институт, он поехал, наверно, один. Узнавать...

- Санечка, а тебя ж там уже вечность не было.
- Я знаю. Сегодня будет расправа Ивана Грозного с сыном.
- И все из-за меня. Ты видишь, я какая. Нет чтобы заставить тебя заниматься, я заставляю тебя...
- Ты даже такие слова знаешь? — я удивленно смотрю на нее.
- Она смущена и неловко улыбается.
- Мало ли что знаешь и чему научат, только не все показываешь.
- Да, Наталья...
- Что, Санечка, очень плохая?..
- Наоборот, ты прекрасна! — Мы смеемся.
- Когда ты собираешься к нему поехать?
- Позже сегодня. Хочешь с ним познакомиться?
- Она молчит.
- Наталья?
- Я не могу, Санечка... Я к шести должна быть дома.
- Почему?
- Я устала. Скандалы каждый день, он как тронулся. Я никогда этого в нем не подозревала. Каждый мой шаг высматривает, проверяет.
- А можно совсем не возвращаться?
- Саня, Саня, — она грустно умолкает. И долго царит мертвая тишина.
- Часы тикают по радио полшестого. Она лежит, не двигаясь, и ее горячее тело согревает меня.
- Я даже не хочу думать о папе и его посещении института.
- Наталья?
- Я знаю, Санечка, мне пора.
- Она умолкает.
- Я хочу быть твоей, — она ложится под меня. Ее руки сжимают мою спину и скользят по ней. — Навсегда...
- Я задыхаюсь.
- Мы бредем медленно по улице. Она идет не спеша, крепко держась за мою руку.
- Санечка, я не хочу уходить от тебя.
- Я тоже, Наталья. Неужели это будет всегда...
- Саня, я ничего не могу поделать, не могу изменить

- у себя. Кто виноват, что раньше случается то, что должно случаться позже, и наоборот. Или, вообще, случаться не должно.
- Судьба виновата.
- А если бы ты не переехал в Москву и не встретил меня...
- Тогда бы жизнь моя была пуста. Да и вообще, я бы не знал тогда, что такое полна.
- Санечка, ты очень милый.
- Она прижимается и целует нежно меня. Стоянка.
- Можно я хоть раз довезу тебя? Мне так не хочется ехать туда. Пожалуйста.
- Она просит меня.
- Где твой папа остановился?
- В гостинице «Москва».
- Саня, только один раз.
- Я молчу.
- И больше никогда.
- Наталья, уже полседьмого.
- А, одним скандалом больше, одним меньше — все это ерунда.
- И я правда сейчас верю ее словам, что все это ерунда, хотя знаю, что это не так, и все намного сложнее, серьезнее, она просто не хочет тревожить меня.
- Мы едем молча, переплести руки, скжав плечи.
- Наталья высаживает меня у гостиницы «Москва» и просит, чтобы я позвонил завтра.
- Со смешанными чувствами вхожу я в вестибюль и молюсь, чтобы не было отца в номере.
- Дежурная по этажу говорит, что он только что вернулся. Как на казнь плетусь я к его двери. Рука не стучит, стуча.
- Открыто, входите.
- Я вхожу, переступая.
- Здравствуй, сын. Ну, порадовал ты отца.
- Здравствуй, па...
- Я ждал до трех часов тебя.
- Может, он не ездил без меня? Хотя по его тону все понятно.
- Что скажешь, сын? Несколько отцов у тебя?

Он оттягивает развязку. Но она приближается, как поезд без локомотива.

— Нет, пап, ты один.

— И на этом спасибо. Был я в институте у тебя. Очень меня там порадовали, особенно ваша староста, с большими глазами, как ее там...

— Марина, — проворачиваю язык в горле я.

— Что же это получается, Саша?

Вот и началось, с холодной пустотой внутри думаю я.

— Для чего ж мы тебя с матерью в Москву переводили, усилий не жалели. Чтобы ты учился? Отвечай!

— Да...

— Тебя даже в институте не видно. Хорошо, хоть староста знает, кто ты, а остальным твоим именем даже не известно. В деканате вообще смотрели на меня с удивлением: такой у нас не учится. Мне было очень приятно. Да что с тобой, ты из ума выжил?!

Он смотрит с ненавистью и ожиданием на меня.

Он должен был начать меня бить, но чего-то ждал, не начиная. Он всегда меня бил, до середины десятого класса.

— Отвечай же, я с тобой разговариваю.

— Папа, я не хочу там учиться...

— Что? Ты не хочешь там учиться, я правильно понял тебя?

— Да...

— Почему? Отвечай!

— Я не хочу жизни нищего учителя.

— У тебя был выбор.

— Не было. Ты заставил меня. Тогда.

— Хорошо, кем ты хочешь быть?

— Поступить в театральное училище.

— Пустые разговоры, болтовня. Ты для этого палец о палец не ударил. Что ты, весь этот год сидел как проклятый над книгами? Изучал историю театра? Ходил в это училище и пропадал там до вечера? Добивался своего приема на следующий год, неотступно следовал за преподавателями, профессорами, ловя на лету каждое слово, каждую возможность послушать знатока? Дневал и ночевал под стенами этого училища, лишь бы попасть туда,

как это делают другие мальчики? Как это делали я, мои друзья после окончания школы? Ты все это делал? Это все пустая болтовня. Правильно я сказал или нет?

— Правильно.

— Что ты обещал мне, когда я переводил тебя, когда я был такой... не знаю, как сказать, и согласился перевести тебя, поверив твоим иудиным обещаниям? Что ты обещал? Учиться! А что из этого вышло? В институте даже не знают тебя. Как же верить тогда твоим обещаниям, твоим словам?

— Я думал, что мне понравится. И мне очень хотелось учиться в Москве.

— Так тогда надо выполнять свои обещания, что ты давал мне при отъезде сюда.

— Я не думал, что так получится.

— А о чём ты думал вообще, живешь пустым, и ничего тебя не касается. Я просто поражаюсь тебе, Сашка, как в девятнадцать лет можно быть таким пустым, никчёмным и не интересоваться ничем. Лермонтов уже написал своего «Демона».

— Мне не надо «Демона».

— А что тебе надо, ответь? Ты даже ответить не можешь.

— Мне нужна Наталья.

— Кто? Это та женщина, с которой ты встречаешься?

— Да.

— У неё ребенок, своя семья. И она взрослая, а тебе учиться надо и выбросить эти мысли из головы, и чтобы она оставила тебя в покое, если она умная...

— Я не хочу учиться в этом институте. Мне не нужна эта дурацкая программа, которую там проходят. Она мне не интересна. Я не хочу гробить свою жизнь педагогом.

— Хорошо, что ты хочешь? Поступай снова, я тебе помогу...

— Я не знаю, куда. Но там я не буду учиться. Мне надоела уже эта постоянная нехватка денег, зависимость от тебя. Я даже не могу в кино ее сходить, иногда.

— Она уже взрослая, может платить за себя. Ничего в этом страшного нет. Ты студент, и деньги у тебя не растут, на ветке.

— Ладно, папа, это никчемный разговор: ты знаешь, что я так не буду делать никогда. Я не Боря.

— Так что тебе надо? Она — это не учеба. А мне надо, чтобы ты учился, выбросив из головы галиматью. Я хочу сделать человека из тебя!

— Это не галиматья, — меня начинало трясти. — Я не могу без нее, она мне нужна. — Я стал быстро ходить по номеру: — Нужна, понимаешь. Я не могу дня без нее, ее лица, — она необыкновенная. И я ничего не могу поделать, я не могу ее забрать, я должен каждый раз с ней прощаться, — я во всем завишу от тебя, и от этих несчастных денег, которых ни на что не хватает. Будь это все проклято.

Я подскочил к окну и уцепился за подоконник. Я чувствовал, что сейчас начнется.

— Жизнь-то у меня одна, и она проходит. А по-твоему, я должен ее тратить на дегенеративные учения, — меня трясло. Как дрожь.

— Учения — не дегенеративные.

Но я уже не слышал его, меня колотило, и вдруг это началось, слезы хлынули и потекли по мокрому лицу. Я плакал, как девятилетний, и не мог остановиться, мои плечи тряслись, я пытался что-то говорить, мне было стыдно, что отец видит, что это я и что со мной.

— Что ты плачешь? — спросил он.

— Я не хочу так жить. Я хочу работать и чтобы она была со мной.

— Ты все равно не сможешь сначала зарабатывать столько, чтобы ей было достаточно, чтобы содержать ее.

— Ей ничего не надо, ты не так понимаешь. Это все глубже...

Я плакал и не мог остановиться, слезы текли безостановочно. А я все что-то говорил, всхлипывая, издраживая, — все наболевшее, важное, передуманное много раз.

А он все слушал, казалось, не слушая меня.

Я начал успокаиваться потихоньку. Такой истерики со мной никогда не было. Я не знал, что такое бывает после детства. (Когда детство окончилось...)

Я все стоял у подоконника. Мне было стыдно повернуть лицо к нему. Оно было заплакано.

— Да, Саня, обрадовал ты меня... — он успокоился.

— Прости, папа.

Я боком вышел в ванну и стал мыть лицо, глядя в зеркало. Совсем как женщина.

Глаза мылись холодной водой, но оставались заплаканными. Когда я вернулся в комнату, отец был совсем спокоен.

— Идем есть, — сказал он. — В любом случае — хороший ты сын или плохой, но кормить тебя надо. — И добавил: — К сожалению...

Мы вышли вместе.

Домой я вернулся в полночь. Пообещав перед этим отцу, что хотя бы для него похожу в институт, пока не решу окончательно, кем быть и что мне делать.

От метро до дома я дошел очень быстро.

Под дверью, где обитал мой брат, горел свет. Я постучал.

— А, Санчик, это ты. Заходи. Что это в пакете?

— Бутерброд с мясом для тебя. Отец передал, мы были в ресторане.

— Это очень прекрасно, — он тут же вытащил его, освободил от салфеток и больно укусил.

— Ты чего так поздно не спишь?

— Лине письмо обещал написать, вот, пишу.

— Б., свет тронулся, если ты уже письма пишешь.

Он ухмыльнулся и проглотил пережеванное. Потом внимательно посмотрел на меня.

— Что это у тебя с лицом. Плакал, что ли?

— Да нет, что ты.

— А-а, а то я подумал... Что отец тебе говорил насчет института, не бил?

— Нет. Ты знаешь, что он там был?

— Конечно, я его возил.

— Как?

— Он позвонил мне в три, сказал, чтоб я взял «скорую помощь» и поехал с ним в твой институт. Ну, ты же отца знаешь. Пришло приехать за ним и...

— А ты тоже молодец, не мог остановить или заморочить голову ему там.

— Я и так старался делать все, что мог. Поначалу все

шло нормально. В деканате даже не знали о тебе почти ничего. Ему посоветовали найти твою старосту, Марина, что ли, ее зовут. Он дождался перемены, нашел ее, и она, моргая своими большими ресницами, выложила ему все от и до. Сказав, что за три месяца вообще видела тебя два раза. Ну, если отца тогда удар не хватил, он его никогда не хватит. Я его потом в машине постарался успокоить, как-то смягчить, но тут он и меня клял, и тебя. Мне влетело, что я большой, а у тебя на поводу, и вообще грозился прибить младенца. — (Они меня между собой младенцем звали.) — Что он тебе сказал?

— Ничего особенного.

— Как ничего? Не бил, точно?

— Нет, даже не знаю почему. Я ему сказал, что не хочу учиться, не хочу быть в этом институте.

— Да ты что?! А что он сказал?

— Ничего. Так все и осталось под вопросом. Это ты ему сказал, что у Натальи ребенок?

— Да, а что, это большой секрет? Я не знал.

— Я просто спрашиваю, или уже нельзя спросить тебя?

— Отчего же, — он улыбнулся, — можно.

И откусил громадный кусок бутерброда: мясо среди хлеба.

— Борь, на ночь кушать вредно.

Он остановил движение рта.

— Ты что, принес, чтобы я его не ел, да?

Я рассмеялся.

— Ладно, спокойной ночи. Лине привет от меня.

— Угу, — рот его опять жевал.

Я лег в постель, свернулся клубочком и уснул, пьяный от ее запаха.

Он остался со мною и не уходил никуда.

— Доброе утро, Наталья.

— Доброе, Санечка. Ровно девять часов утра.

— Точность — моя отличительная черта.

— Да?

— А ты не заметила?

— Нет, я тебя по-другому отличаю.

— Как?

— Неудобно по телефону...

— А-а, — я улыбнулся.

— Санечка... я не смогу увидеть тебя сегодня. Я приседу сама, ты не жди меня...

Это было как-то неожиданно, я молчал.

— Саня, ну не обижайся на меня. Почему ты каждый раз обижаешься. Я же сама хочу увидеть тебя, я не виновата. Ну, Саня...

— Хорошо, Наталья. Я буду ждать тебя.

— Только не жди, пожалуйста, я сама приседу.

— Договорились, я буду ж... то есть я не буду ждать тебя.

— Спасибо. Саня, я тебе вчера в такси опустила рубль металлический. Я знала, что ты больше не возьмешь, но ведь без денег же совсем нельзя...

— Наталья. А как ты узнала?

— Я чувствую.

— Я забыл просто у папы взять.

— Вот и возьмешь, только этот не возвращай, пожалуйста. Я тебя очень прошу.

— Как же ты все-таки узнала?

Она молчит.

— А то верну.

— Ты вчера не настаивал, чтобы отвезти меня, и разрешил, чтобы я подвезла тебя. А я знаю, что, если бы у тебя были деньги, ты бы ни за что не согласился...

— Да, Наталья, ты поразительна. Но больше я не соглашусь.

— Саня, я же не для этого сказала.

— Но если ты приедешь завтра, то так и быть...

— Я постараюсь, Санечка, только я не обещаю. И ты...

— Хорошо, я не буду, — и добавил про себя: только и буду, что ждать тебя.

— До свиданья, родной.

Я выхожу из будки. Опять пустой день впереди, без нее он всегда пуст. Я опускаю руку в карман дубленки. Внутри кармана и правда рубль из металла. А мне тепло. Она заботится, переживает, думает обо мне. Я взглядываю на свою руку. На запястье два тонких шрама. Они голубые с розовым. Еще не зажило окончательно. А если бы по-

лучилось... И я не додумываю до конца. Плакала бы Наталья? Почему такие глупые мысли мне в голову лезут?

Я уношусь в завтра. Потом включаю магнитофон и слушаю. Песня, очень знакомая, звучит следующей, это наша любимая, она начинается со слов: "Close your eyes and I kiss you, tomorrow I'll miss you", исполняет ее очень известная группа. У меня теплест все внутри.

Песня, которую исполняют английские мальчики, кончается. Я ставлю ее еще раз. Наталья переводила тогда мне, когда мы лежали рядом, шепта на ухо: «Закрой свои глаза, я поцелую тебя, завтра я буду скучать о тебе». Мне очень понравились тогда эти слова. И ее шепот, и ее перевод. И вся она. Она основа, смысл, цель и суть моего существования, моего пребывания на этом свете.

Я сижу еще и о чем-то думаю. Потом вспоминаю, что обещал отцу — в институт.

Нехотя, как будто на казнь, я встаю, одеваю дубленку, наверно, последний раз, холода почти прошли, и выхожу на улицу. Улица пуста, все работают. Такую улицу я люблю, чувствуешь, будто город никогда не полон. И он принадлежит тебе.

В кармане я ощупываю металлический рубль, даже он какой-то особенный, потому что ее. В метро я не меняю его, так как у меня осталось еще два пятака.

Еду я очень долго, стараюсь дольше. Даже пропускаю несколько электричек, умышленно, чего вообще со мной никогда не случалось.

В институт я все-таки присезжаю. Смотрю на часы: половина двенадцатого.

Прямо у входа меня славливает Капканов. Я еще раздеться не успел, как он стал тут же интересоваться, как я, чего он меня долго не видел, как будто ему это очень важно и это его интересует. Я ему отвечаю, что я лучше всех и все у меня прекрасно. Он похлопал меня по плечу, наклонился к уху и доверительно сказал:

— Сашок, ну раз у тебя все хорошо, все прекрасно... зайди рубль. А? — и он заискивающе уставился мне в глаза.

Алкоголику Капканову денег никто не занимал, даже

на пиво. Все знали, что Капканов алкаш и пропьет все, что бы ни занял, и уж точно никогда не вернет.

— Зачем? — спросил я, невольно ощупывая в кармане Натальин рубль, который хотел оставить как память.

— Да ты понимаешь, Сашок, со вчера ничего не жрал. Мамахен в больнице, денег ни гроша.

Он знал, на чем ловить меня.

Я вынул быстро руку из кармана с зажатым в кулаке рублем. Он так же проворно, если не проворнее, подставил раскрытую ладонь. Я разжал кулак, постаравшись не коснуться его руки.

— Спасибо, друг, выручил меня.

Я уже шел к раздевалке, успокаивая внутри себя тем, что человек наестся и не будет голодным.

Я раздеслся, оставшись в джинсах, свитере и рубашке с воротником над свитером.

Первым делом я, конечно, пошел в туалет. Я вообще без этого не могу входить в свой институт. После я зашел в буфет и, уже стоя у прилавка, вспомнил, что у меня нет ни гроша.

— Марья Васильевна, здрасьте!

— Здравствуй. Чего-то это тебя, Саш, давно не было видно?

— Дела все.

— Знаю я твои дела. Девочки небось.

Она тоже мое лицо, как раскрытый букварь, читаст, что ли?

— Ну, что ты кушать будешь?

— Марья Васильевна, я деньги дома забыл, можно я в следующий раз заплачу? Есть очень хочется.

— Хорошо, Саш.

И я заказал ей. Марья Васильевна воровала, недовешивала и недоливала беззастенчиво, но ко мне почему-то относилась нежно, давая лучшее. Из худшего.

Я взял свои два бутерброда, чай и сел в углу у стола. Капканова видно не было. Куда он есть пошел, непонятно.

Съев все без всякого аппетита — без Натальи мне вообще ничего не хотелось и не чувствовалось, — я вышел из буфета и пошел на второй этаж, в читалку. А что еще можно делать в этом никчемном институте: есть... и

читать. Первое я сделал, второе не хотелось, осталось третье. Я открыл журнал и нашел повесть какого-то Трифонова. Я вообще в советских писателей не верю, по крайней мере в их публикуемое. Возможно, у них есть в столах что-то хорошее. Но эта повесть была о любви, о каких-то глубоких чувствах и сильных огорчениях и неожиданно мне понравилась. Я стал думать, какой должен быть Трифонов, и додумал только до того, что ему должно быть уже за тридцать пять: зрелая проза... Как на меня пахнуло что-то невероятное.

Пьяный Капканов стоял, шатаясь и фиксируя свое управляемое тело за спинку моего стула.

— Спасибо, Сашок, я поел...

Он икнул сильно и отвернулся, чтобы выпустить дух.

— Я вижу, — ответил я.

— Не, правда, у друга закусь была... с собой.

— А ты что делал?

— А я еще другой бутылку покупали.

— Ты сказал, что тебе кушать надо.

— А я что, разве не это делал? Кто тебе сказал, что вино пить надо, его надо кушать. Вкусить, сладостно и медленно. Сашок, а может, еще на кружечку пивка?

— Нет, Валер, честное слово.

— Ну, извини, не буду тебе мешать... ик-к, спасибо, я пошел.

Он хлопнул меня по плечу, едва не промахнувшись, и шатнулся к выходу.

Я отвернул обложку журнала, который почему-то назывался «Новый мир».

Я прочитал больше половины и решил оставить остальное на следующий раз, а то в институт будет приходить неинтересно.

Я вышел из читалки и прямо нос в нос наткнулся на Шурика.

— Саня, привет!

Мы обнялись.

— Ты что, заболел? — спросил он меня серьезно.

— А что? — встревожился я.

— В институт пришел.

— Шур, ну почему только ты в институте один нормальный, понимающий?

И тут это случилось.

Она двигалась на нас и наслаждалась этим движением. Профессор исторической грамматики, доктор Ермилова, собственной персоной. Не знаю, как Шурик, но я у нее не был ни на одном занятии, кроме первого, ознакомительного, и то потому, что это было в первый день и все собирались потом идти пить пиво с воблой.

Мы сделали вид, что ее не заметили, но она подошла к нам.

— Здравствуйте, молодые люди.

— О, — удивились мы, — здравствуйте.

— Вы вроде не старые, зрение у вас, я думаю, хорошее, это я вот старая, очки ношу, а вы могли бы и видеть своих преподавателей.

— Извините, — сказал Шурик, — знаете, увлеклись, заговорились.

— Да, да, я понимаю, — она по-старушечьи вздохнула: сейчас начнется, подумал я. Интересно, сколько ей лет? Есть женщины, возраста которых никогда не знаешь и не определишь.

— Вы, молодой человек?

— Да, — ответил я.

— Как ваша фамилия? Если я не ошибаюсь, вы в пятой группе, которую веду я.

Я назвал фамилию.

— Но что-то я вас там ни разу не видела.

— Где? — наверно, наивно спросил я.

— У себя на занятиях. Впрочем, простите, кажется, кроме первого.

Старая, а память хорошая.

— Да, знаете, — замялся я, — болел, потом еще что-то было, — врать я не умел, не любил и несавидел. Я, собственно, просто так ей отвечал, чтобы не молчать, не собираясь скрывать, что я просто не хожу, без причин.

— Нехорошо, молодой человек.

— Я вообще нехороший.

Она никак не отреагировала на мою шутку.

— Или вам не нравится мой предмет?

— Что вы, очень нравится...

— А вот мне не нравится ваша посещаемость.

— Да? — удивился я. — А я не знал.

— Я уже говорила с зам. декана и сказала, что ни за что не поставлю вам зачет в этом семестре, пока вы не отработаете все пропущенные занятия и не представите мне конспекты всех домашних работ.

— И что она сказала? — пропустил я мимо ушей последнее.

— Кто? — не поняла она.

— Зам. декана.

— А, вы все шутите. Это приятно, что у вас сильное чувство юмора. Так вот, она сказала, она мне пообещала, что без моего зачёта не допустит вас к экзаменам, а зачёт у нас через полмесяца. А может, я проведу его и раньше. Всего хорошего, молодые люди.

Она повернулась и пошла. Очень гордая старуха. А может, и не старуха. Есть женщины, впрочем, это уже говорил я.

— Саш, — отвлек меня Шурик от глубоких мыслей, — кажется, подкрадывается...

— Ага, — засмеялся я. — А тебе почему она не сказала ни слова? Как ангел стоял. Ты на все занятия ходишь?

— Нет, просто она про меня вообще не знает: что я унес в группе, так как я и на первом занятии не был.

Мы расхохотались, хлопая друг друга по спине и по плечам. Ну и ученики!

— Шур, пива хочется.

— Сань, ты ж знаешь, у меня...

— Знаю, знаю, подожди.

Я оставляю его у читалки и несусь в деканат.

— Где Инна Дмитриевна? — с порога ору я.

— Тише, тише, — шипит секретарь. — Она в кабинете, занята.

Я открываю дверь в кабинет, не спрашивая.

Она вскидывает на меня глаза.

— А-а... Появился, солнце ясное.

Я киваю. Инна Дмитриевна — зам. декана по учебной части, она моя телохранительница, совсем как в древнем мире (только она мос тело от учителей охраняет). Так как

по всем теориям самых невероятностей меня давно уже не должно было быть в этом институте, никак. А я еще здесь.

— Можно?

— Чего уж здесь спрашивать, раз вошел.

Я сдавленно улыбаюсь.

— Ну что, видел уже Ермилову, обрадовала она тебя, что до экзаменов не допустит, только через ее труп. Так и сказала, я ее такой впервые за пятнадцать лет видела. А повидать мне многое пришлось. И многих.

Я молчу:

— Каяться пришел, что ли? Что, больше не будешь?

— Нет. Я... занять два рубля пришел.

— Ну, ты даешь. Но смотри, я больше за тебя заступаться не буду, надоело. Вот тебе два рубля, — она быстро вынула из кошелька, лежащего на столе, — и чтоб мои глаза тебя больше не видели.

— Не то слово, что спасибо, Инна Дмитриевна, просто благодарен по гроб. Когда книгу, то есть повесть, об институте напишу, только вам ее и посвящу и ради вас ее и напишу: чтобы воспеть, вернее, произнести слово в признание вас и — в благодарность.

— Ладно уж, иди и постарайся уговориться с Ермиловой, в остальном... я тебе помогу.

Я выскользнул из кабинета. И понесся к Шурику, одиноко томящемуся у читалки. Я и правда собирался посвятить ей повесть. (Когда она только будет написана?)

Шурик ждал меня терпеливо.

— Саш, ты где был?

— У Инны Дмитриевны.

— Предупреждать вызывала?

— Не-а, деньги занимал.

— Чего?!

— Деньги занимал, — повторяю я.

— Зачем?

— Нам на пиво.

— Ну, ты даешь!

— А что, она такой же человек, как и все. Только доцент и образованная в русском языке больше нас с тобой.

— Саш, а ты как думаешь, она пиво пьет?

— Шур, честно сказать, не знаю. Но в следующий раз спрошу.

— Ты что, еще раз занимать собираешься?!

Глаза у него открылись.

— Нет, — успокоил я его, — когда долг возвращать буду.

Он засмеялся, и мы пошли с ним мимо аудиторий, лекций и занятий к ближайшему пивному ларьку.

Я ждал ее все утро. Потом день. Потом вечер, но она не приехала. Наверно, не смогла. На следующий день ее тоже не было, и еще на другой — тоже. Мне было больно, но спокойно, она же обещала, как только сможет, вырвется.

Наступил следующий день, в который ее ждать не стоило: была суббота.

Я проснулся поздно и услышал стук. Вскочил открыть дверь и увидел брата на пороге. Я лег опять в кровать, став совсем грустным: я думал, это она.

— Ты, никак, не рад видеть брата, Санчик?

— Нет, что ты, очень рад.

— По тебе вижу, — он улыбнулся.

— Чего, Борь, сегодня катастрофа какая-нибудь?

— Почему? — спросил он.

— Ты сам встал, оделся, да еще и пришел без моих побудок, в субботу!

— В баню хоцетца. Пойдем?

Это я его к баням с парными приучил, сначала он считал меня сумасшедшим —ходить в баню, когда ванна есть. Но тут и ванны не было...

— Я не знаю, Б., я...

— Ладно, не придумывай, сегодня суббота, и, если я правильно понимаю, она не приедет, так что нечего ждать. Оставил записку, мы через час вернемся. Давай одевайся. — И он стащил с меня одеяло и стоял ждал, не приятно улыбаясь.

— И зачем тебя, Борь, родили? Не понимаю.

Было холодно, мерзко и неуютно.

— И зачался, главное, из миллионов молекул, вариантов.

— Ты у меня повякай!

Я уже оделся, и он тащит меня к двери.

— Минуту. — Я взял ручку, лист и написал на нем:

«Наталья, мой брат утащил меня в баню. Я очень ждал тебя. Буду через час. Пожалуйста, подожди. Ключ в том же месте».

Я аккуратно воткнул записку, свернутую в четыре раза, и проверил, не упадет ли она вниз, потому что вдруг Наталья не заметит ее на полу и — уйдет, а брат в это время дергал меня за руку и говорил, что я шизофреник. Добавляя по дороге, когда оттащил мое тело от двери, что мне лечиться надо.

Уже у выхода из дома я еще раз оглянулся: записка торчала во мраке.

Мы садимся на троллейбус, чтобы доехать полторы остановки до Таганки. Лень идти. Я стою у дверей и наблюдаю за тротуаром, ведущим от метро на площади к мосму дому: вдруг будет идти Наталья и я ее увижу. И еще: на пять минут меньше будет целого часа. Боря смотрит на меня и, так как я стою далеко, а он культурный, крутит пальцем у виска.

Мелькает кто-то в дубленке: это она. Я трезвоню в звоночек, и троллейбус резко останавливается.

— Ты что, сдурел! — орет мой культурный брат.

— Подожди у Таганки.

Я высакиваю и несусь в открывшуюся дверь.

И догоняю ее.

— О, простите, девушка, я думал...

— Ничего, ничего, — она спешит дальше.

— Ну что, шизофреничный?

— Не она, ошибся.

— Идем скорей, я замерз.

Я плачу за билеты, у меня есть деньги, я вчера заезжал к папе вечером в гостиницу.

Мы раздеваемся. Покупаем у банщика веники и несемся в парилку: в предбаннике холодно.

Я парюсь до одурения и боли, забравшись к самому потолку, Боря чуть ниже, он не может высоко, непривычно.

После душа мы выходим и заворачиваемся в простыни, которые на нас любезно накидывает банщик, который знает меня и знает, что от меня получит.

Он приносит нам по бутылке холодного пива, спрятанного в какую-то холодную тумбочку. Я принимаю сразу полбу-

ылки. Хорошо, благодать, просто второе рождение. Я всегда после парилки так себя чувствую. Как заново рождаюсь.

— Я сейчас, — говорит Б., — лицо умою, жарко.

Он уходит и возвращается. Очень быстро. Смотрит на меня и говорит:

— Санчик, у меня с конца что-то капает. Что бы это могло быть такое?

— Не знаю, но вариантов может быть два, как гласит генерология, — с умным видом говорю я. — С кем ты был недавно?

— С Верондolinой.

Это он все-таки позарился на мою бывшую пассию, которую звали Веркой.

— Это тебя Бог наказал. Не возжелай подругу ближне-о своего. Тем более — брата.

— Санчик? — У него такое печальное лицо, что мне становится его жалко.

— Борь, наверно, простудился, и смазка идет из канала. Я один раз тоже прибежал к отцу, так он рассмеялся и сказал, чтоб я не беспокоился — это чистая реакция канала на острую пищу, которую я ел, защитная. Может, у тебя тоже что-нибудь в этом роде?

— Нет, не думаю, — он убит, и грусти его нет конца.

— А как определяется?

— Покраснение вокруг отверстия, жжение в паути и на выходе, выделения из канала, резь бывает, хотя боль не всегда обязательна.

— Ты чувствуешь резь в канале?

— Да я уже и не знаю. Сам себе внушил или чувствую.

— А ну-ка, надави на него, — мы сидим в простиных на скамейке.

Он надавливает, и оттуда выделяется.

— Борь, ты это, того, ко мне с этим не приближайся.

Я улыбаюсь.

— Что тут смешного, идиот, брат умирает!

— От триппера еще никто не умирал!

— Может, это еще и не он, — рассуждает успокоитель-но он, сам для себя.

— Конечно, если его только называть гонорея, то, воз-можно, это и не он, а что-то другое.

— И что за кретинский братец мне попался! — возму-щаются он. — Будешь много рассуждать, так сейчас по-двинусь...

— Эй, — я вскакиваю со скамейки с простиней и инстинктивно берусь за пау. — Мне нельзя.

Он улыбается, видя мою руку.

— Почему это тебе нельзя? Значит, мне можно, а тебе нельзя?!

— Потому что Наталья...

— Но твоя Верка меня наградила.

— Никто не просил тебя лезть на мою Верку, тем более после такого перерыва, мало ли с кем она переспала. Я тебе говорил, чтобы ты «пробовал» тогда, когда она была у меня и не гуляла.

— Так все-таки твоя Верка меня наградила. — Он считает, что это успокоение, и успокаивается.

— Чоуж мне теперь твой триппер забрать у тебя?

— А почему бы и нет! — он встает и двигается на меня, распахивая простины.

— Борь, перестань, — говорю я, отодвигаясь. Инстинкт просто. Он приближается. — Борь! — Он все равно движется на меня. Я отскакиваю дальше: — Клянусь, сей-час на всю баню заору, что ты трипперный. Мужики шай-камибросают.

Он успокаивается.

— Санчик, что же делать? — У него опять грустное лицо, печальные глаза.

— Пойти к врачу, сделать шесть уколов, и все дела.

— Да, на учет поставят. Мне еще только в вендинспан-серне не хватало лечиться.

— Давай, я тебе уколы сделаю.

— Ты умеешь?

— Мама говорит, что у меня очень легкая рука. Никому не дает колоть, кроме меня. Даже отцу.

— Ладно, другого выбора нет, попробуем. Но смотри, если игла сломается! Или еще что в твоих корявых руках случится!

На этом наше посещение бани заканчивается. Борь нельзя больше в парилку, а мне не хочется больше туда, — потому что там был Боря.

Мыходим из бани, выяснив, что у Бори триппер.

— Борь, но лучше ж ясность, чем темнота.

— Лучше бы это было у тебя.

— Ты добрый брат.

Записка так же белела в сумраке коридора, сдва только мы вошли в дверь. Она не была, с грустью подумал я. Он ашел ко мне, включилась музыка.

— Ты что собираешься делать, Б.?

— Ты к отцу разве не едешь в гостиницу, он приглашал на обед сегодня в четыре.

— О, я и забыл совсем.

Я подумал.

— Что ты все время ждешь, дебильный? Так же рехнуться можно.

— Так получается.

Мне вдруг стало так тоскливо и одиноко. Не нужен я ей. И пора мне перестать ее ждать. Надо будет, приедет. А тут еще засиграла: "Close your eyes..." Я совсем раскис, и глаза чем-то наполнились и потеплели, внутри стало горячо.

Боря отвернулся, выбирая кассету. И слава Богу, подумал я.

Мы выходим из метро, и Б., как всегда, спорит — какая сторона ближняя.

— Б., давай ты не будешь спорить, я все-таки это метро знаю лучше тебя.

Но он спорит. Мы выходим, как ему хочется, и сторона оказывается дальней. Я же вам говорил, что от тоски чего только не выучишь в метро.

— Ну что? — спрашиваю я.

— Не раздражай меня, я больной, — отвечает он. И я думаю, что это правда.

На лифте мы поднимаемся в номер отца.

— Па, — с порога говорю я, — а у Бори триппер.

— Не вякай, — он пытается, чтобы его рука достала до моего затылка.

— Это правда? — спрашивает папа.

— Ага.

— Молодец, Борик, поздравляю! На всякую дрянь лезешь. Не можешь себе приличную выбрать.

— Да это его все, — он зыркает на меня, — черт-те комого выискивает.

— Но тебя не просил никто лезть на нее.

— Я ему то же говорил, — смеюсь я.

— Это кто такая? Та Вера, что ли, что жила с вами в одном подъезде и — гуляла.

— Тогда она не гуляла, — вступаюсь за Верку я.

Отец смеется:

— Но зато потом добрала.

— Чтоб она была несчастна! — раздражается Боря.

Отец кладет мне руку на голову и гладит меня.

— Я вижу, потомок знает, когда вовремя соскачивать надо. Тебе бы не мешало у него поучиться, как это делается.

— Я бы ему по уху поучился, чтобы всякое дермо не притаскивал.

— Па, опять я!

— Ничего, Борик, поделаешь стрептомицинчика, и будет нормально. Как говорят, тот не мужчина, кто триппера не подхватывал.

— Это ты как уролог утверждаешь? — ехидничает Б., улыбаясь.

Отец прыскает.

— Нет, старые люди говорили.

— Понятно, — Б. многозначительно кивает.

— Ладно, пошли кушать, — говорит папа, — я проголодался.

Официантка берет у нас заказ и уходит.

— Как насчет пивка, Боря? — подмаргивает папа. Тот болезненно морщится.

Я смеюсь. Чисто нервный смех.

После обеда папа говорит ему:

— Однако, Борик, я смотрю, заболевание не повлияло на твой аппетит.

Мы все смеемся: в мире нет такого, что бы повлияло на Борин аппетит.

После обеда мы сидим в номере и играем с папой в «подкидного», это его любимая игра. Борик проигрывает, хотя и играет в эту игру сильно.

— Везет тебе, Боря, — говорит папа.

Тот грустно улыбается.

— Ладно, — говорит отец, — скрашу тебе существование.

Он достает бумажник в виде кожаного портмоне. Б. напрягается.

Отец вынимает красноватую купюру и говорит:

— Вот тебе десяточка, — он всегда деньги зовет ласково. Б., по-моему, забывает про тридцать три триппера.

Поздно вечером мы возвращаемся. Не буду ждать, решают я, завтра позвоню. И от этого мне становится легче. Я тороплю ночь взашей.

— Доброе утро, Наталья.

Ее голос немного, но удивлен:

— Доброе утро, Санечка.

— Мне надо увидеть тебя срочно.

Ее голос сразу тревожится:

— Что-нибудь случилось, Саня?

— Да, я не видел тебя три дня...

Ее голос становится ласковым:

— Санечка...

— Наталья?..

Ее голос задумывается:

— Хорошо... в четыре часа, где мы с тобой встретились в первый раз.

— Спасибо, Наталья.

— Не надо так говорить, Санечка. До свидания.

Трубка вешается. Мне радостно-грустно. Сегодня я ее увижу. Отчего мне все это напоминает агонию конца?

В Лужниках уже нет снега. Как тогда. Она опаздывает, я выхожу из дверей стеклянного метро и вхожу опять.

Наконец она появляется, опоздав на двадцать минут. Яничего ей не говорю: у меня пусто и тревожно внутри.

Она касается моих щек:

— Извини, Санечка. Я долго собиралась, хотела тебе понравиться.

Я беру ее за руку, и мыходим наружу, направляемся к теннисным кортам.

— Наталья...

— Да, Саня?

— Я думаю...

— Что нам надо с тобой поговорить.

Я невольно улыбаюсь:

— Ты читаешь мои мысли.

— Не только твои, но и свои. Только не будь таким солидным и надутым, Саня, как старый дед на внучкиной свадьбе.

Я грустно усмехаюсь ее шутке. Почему-то отпускаю ее руку и иду сам. Какой она становится далекой и недостижимой, почти чужой, даже когда я ее не вижу три дня.

— Хорошо, Санечка, — она моментально становится серьезной, — нам действительно надо поговорить. Я согласна. Я знаю.

— Что с тобой происходит, Наталья? Если раньше я каждый день видел тебя, то теперь это бывает реже, чем дни рождения. По-твоему, это нормально? Я понимаю, что, возможно, тебе это стало неинтересно. Поигрались, и хватит, тогда проще сказать, чем умалчивать, выкручиваться.

— Что ты говоришь, Саня. Все же совсем не так. Я желаю тебя видеть, я мечтаю тебя видеть. Но я не могу с тобой видеться, — она вздрагивает.

— Почему?

— Милый, я не могу развестись с ним. У ребенка должен быть отец. Плохой, хороший, но отец. У Аннушкиного отца карьера, разведясь с ним, я испорчу ему его жизнь, — это не страшно: я испорчу Анне ее жизнь, будущее. Я знаю, мой милый, все то, что ты говоришь, правда и истинно. Ты, возможно, и заменил бы ей... стал бы больше для нее, любил бы ее, она тоже, я уверена, она уже любит только тех, кого люблю я... Ты хороший, чистый, и я верю каждому твоему слову, но ты — не отец, прости, ты никогда не сможешь заменить ей отца! Возможно, ты станешь еще большим и многим... для меня, но не для нее. А она — все в моей жизни. Она ее смысл и свет. Мне ночами снятся одни и те же сны: ты да она.

У меня сжалось горло, она впервые ставила нас вместе: се, маленькую богиню, и меня.

Наталья прервась, мы шли молча, и я глядел, уставившись в асфальт.

— Санечка, ты прости меня, я не хотела тебе об этом

зорить... вообще никогда. Я не хотела тебя расстраивать. Чем? Достаточно, что я переживаю одна. Прости меня.

— Что ты, Наталья, не говори так, ты ни в чем не виновата, — мой голос дрожит. Голос мой проклятый противно дрожит.

— Санечка, но я хочу видеть тебя, я не могу без тебя. Знаешь, я не Каренина и меня не волнует эта двойная жизнь, хотя бы потому, что у меня нет с ним никакой зни. Но каждый Божий день жуткие скандалы. Он проявляет меня по часам, приезжает в институт и отвозит до й — с ним такого не было. Но не он волнует меня.

Она вздохнула.

— Саня... я начинаю до безумия... влюбляться в тебя... Я схватил ее руку и сжал так, что она хрустнула.

— ...и я, я начинаю забывать свою дочь: я думаю о тебе постоянно. Так нельзя. Я чувствую себя преступницей. Я зневенавижу тогда себя. Я должна жить для нее, и только, а мне слишком дорого досталась. Я чуть...

Она задыхалась. Я никогда не видел, чтобы она была так взволнована.

Она повернулась и, не сказав ни слова, прильнула ко мне.

Мы прошли все корты, обойдя по набережной, ишли с другого конца стадиона, в самую глухую, тихую часть его.

Мы ничего больше не говорили... было все понятно. Мы все понимали. Взрослые невзрослые люди.

И как назло ни одна машина мимо не проехала. И изически, рельефно, осязаемо чувствовалось, как уходит о-то горячее из нас, желающее вырваться немедля.

Я бросаюсь под военный газик, который едва успевает останавливаться.

У солдатика забавный стриженый затылок.

— Таганка, — говорю я, — три рубля.

— Я не могу, мне надо полковника...

— Пожалуйста, очень важно, тебе если мало, я дам ть.

— Это достаточно, но времени нет у меня.

Наталья стоит в стороне и смотрит, куда не глядя.

— Не можешь?

— Пойми ты...

Я достаю десятку, кладу ему в карман гимнастерки и говорю:

— Наталья, уже...

Мы садимся на заднее сиденье, он откидывает спинку, пропуская.

И наши губы, как очумелые, одурелые, голодные, озверелые, никогда, никогда не насыщавшиеся, сливаются.

— Куда на Таганку? — газик несетя, нарушая, по-моему, даже нарушения правил уличного движения.

— Ладно, — говорю я, — давай на самой площади, а тебе и правда из армии уволят.

Он смеется, а наши губы сливаются вновь.

Солдатик останавливается на площади у кинотеатра. Отбрасывает сиденье, помогая Наталье, машина тесная, я подаю ей руку, и ее нога касается асфальта. Она грациозна.

— Наталья, ты ослепительна.

Она кивает задумчиво.

— Я не знала, Санечка.

— Ну, я понесся, — говорит солдатик. — Спасибо, друг, — он хлопает по гимнастерке, — мне столько в месяц не платят.

— На здоровье.

Наталья, сверкая, смотрит на меня. Машина уносится.

— Ох, Саня, Саня...

— Ты же хотела, чтобы быстро...

Она внимательно смотрит в мои глаза, в какую-то бездонную глубь.

— Или я ошибся...

Она касается губами моего уха.

— Нет, Санечка, ты не ошибся... Ты никогда не ошибаешься. Я хочу те... чтобы мы быстрее шли.

Мы идем, стараясь не торопиться, и торопимся.

На углу площади одинокий автомат. Она смотрит внимательно на него.

— Ты хочешь позвонить?

— Да, Саня... если только тебе это не очень неприятно, — она смущена.

— Что ты, Наталья, конечно.

Она входит в будку автомата, доставая двушку. Как у нее изящно даже это получается. Набирает номер.

Я отхожу от будки подальше. Стою и разглядываю ее. Я действительно сегодня прекрасна. Я не верю, что эта женщина, стоящая сейчас отдельно от меня, принадлежит ей, близка, она моя, — и я сноюсь ей.

Внезапно она вешает трубку на рычаг и выходит ко мне белая как полотно.

— Саня... — она давит рыдание.

— Что случилось, Наталья, ты вся побелевшая?

— Аннушка заболела... — я едва успеваю схватить ее за руки, она уже падала.

— Это мое наказание за тебя, Санечка, — шепчут ее губы, неживые.

Она как будто невменяемая, она бормочет:

— Мне надо быть дома, мама будет звонить через полчаса.

Она падает лицом в мою шею и уже не сдерживается. Слезы градом текут сквозь рыдания. По-моему, она опять кивает меня тоже.

Я хватаю такси как ненормальный и только говорю ему «быстро», «быстро», ничего не соображая.

Мы несемся, он послушал меня, по набережной в обратном направлении к ее дому. Она приходит в себя.

— Саня, прости меня, мне так жалко... я так хотела... сидеть у тебя.

— Что ты, Наталья, что ты...

Она наклоняется и с благодарностью целует меня в щеку, ее губы в слезах. Соленые.

— Наталья, я могу тебе чем-нибудь помочь?

— Нет, родной, спасибо.

— Кто-нибудь может помочь?! Я все сделаю... — не могу говорить громких слов.

— Сейчас нет, я должна сначала все узнать.

Мы подъезжаем к ее дому, прямо к подъезду, не таясь. Она порывисто наклоняется, я сижу, забившись в угол, и сияет знобит оттого, что дочь ее больна.

Она шепчет:

— Спасибо тебе, солнышко мое, за все. Не звони, я приеду сама. — Она целует меня. Я не успеваю попасть, и подъездная дверь скрывает ее. Мне кажется, на всегда. Она впервые уходила от меня, находясь уже там,

я первый раз почувствовал ее в другом мире, в том ее, не моем, без меня.

— Куда?

— Что? — не понимаю я.

— Так и будем стоять?

— Гостиница «Москва».

— Папа, — я влетаю с порога, — у нее дочь больна, помоги. Я тебя умоляю, я кончу три института!

— Чем? Я надеюсь, не урологией.

— Я не знаю, я прошу тебя.

— Но чем она больна? Где она?

— В Югославии.

— Как же я могу помочь?

— Все равно как, полети туда. Я верю в тебя.

Он сажает меня на диван и обнимает. На меня нападает какое-то отупение. Ее дочь больна, она не моя, я теряю ее... Я сижу долго без движения.

— Папа, позвони ей, я не могу...

— Что сказать?

— Только узнай, жива ли дочь ее, здорова.

— Что сказать, кто я?

— Что ты доктор, она все поймет.

Он набирает номер телефона, дрожь начинает колотить меня как припадочного.

— Будьте добры Наташу.

Минута молчания. Я люблю сейчас своего отца больше, чем когда-либо.

— Добрый вечер, Наташа. Мне сказали назвать себя «доктор», и вам будет все понятно. Но я Сашин папа. Пожалуйста, это само собой разумеющееся. Как чувствует себя ваша дочь? В чем причина ее заболевания? ...Это неприятно, но не так страшно, не расстраивайте очень себя. ...Да, думаю, не больше месяца. ...Хорошо, я ему передам. Было приятно с вами познакомиться, хотя и заочно, надеюсь когда-нибудь увидеться воочию. ...Вам также спасибо, спокойной ночи.

Трубка повесилась.

— Что, папа?! — вскочил я.

— У нее простудное заболевание, бронхит, но все уже

делано. Лечение займет месяц, потом ее привезут сюда, климат мягче и солнце ужс будет в мае. Она просила передать тебе, чтобы ты ни о чем не беспокоился, поблагодарила меня за звонок и волнения.

— Папка, спасибо, — я прильнул к его всегда бритой щеке.

— У нее очень милый голос, наверно, хорошая девушка.

Я было раскрыл рот, чтобы объяснить, что она больше, и хорошая, больше, чем все и всякие определения, но сказать не мог ничего, разве это можно объяснить?

— Ладно, не рассказывай. По твоему лицу все понятно. Я кивнул.

— Сынок! Уезжаю я завтра. Пойдешь проводить отца?

— Конечно.

— Надеюсь, будешь учиться, вести себя хорошо и не орчать меня. И старшему лоботрясу тоже скажи: пора человеком становиться.

Каждому свое. Поистине!

Мы прощаемся на вокзале, мне очень грустно. Я остался один, это страшная вещь — одиночество. Мы целуемся. Папа стоит на подножке вагона. Всё трогается, поезд уходит за собой состав, даже они вместе, только я один...

— Саша, — говорит папа против хода движения, — девочка своей привет передай, скажи, что в следующий мойезд увидимся, и пускай заставляет тебя заниматься, и она хорошая.

— Хорошо, папа.

Я отстаю от вагона. Поезд, почти лизнув боком светофор, скрывается.

— Откуда он ее знает? — спрашивает Боря.

— Вчера по телефону познакомился.

Тот удивленно смотрит на меня, ничего не понимая.

Потекли дни без лика, без времени. Я понимал, что-то я должен делать. Она не может видеть меня, но она не может не видеть меня (или я тешил себя). Она мечтает, мучится, страдает. Скоро привезут ее dochь, вот-вот у государственные экзамены и выпуск из института. Ее боятся, подозревают, дергают, проверяют, не веря. Я свою жизнь был эгоистом, всегда для себя и так, как

хотел я. Один раз я должен поступить по-другому. Но — я не могу жить в Москве, в одном городе с ней и не звонить ей, не видеть ее, ходить по одним улицам, станциям метро. Это выше моих сил. Она никогда мне не скажет «нет», это я знаю, и будет мучиться, разрывать себя на части, скрывая все от меня. Я должен сделать все. Это.

— Я должен уехать из этого города. К черту на кулички. Далеко, чтобы не было даже телефона, иначе я сорвусь, не выдержу. На Север, вдруг неожиданно решую я, там я смогу заработать, прожить сам и доказать, что я могу существовать. Возможно, заработав много, я вернусь, и тогда...

Через еще два дня я позвонил ей в девять утра, как обычно. Зная, что это последний раз, я звонил навсегда.

— Доброе утро, Наталья.

— Здравствуй, Санечка. Я каждое утро ждала твоего звонка, прости меня, я никак не могла приехать.

У меня начало катиться к горлу что-то, оно сжалось.

— Как твоя dochь, как Аннушка?

— У нее почти все нормально, выздоравливает и хочет увидеть меня.

— Я рад...

— Что случилось, Санечка? Я никогда не слышала у тебя такого голоса.

— Наталья... Наталья... я уезжаю, очень далеко, на Север...

Молчание было глухое, тишина царила в трубке. Я думал, я надеялся, что она что-то скажет, но она ничего не сказала.

— Пойми меня, Наталья...

— Я понимаю, Саня, я все понимаю... и боготворю тебя.

Слезы, непрошеные и сильные, диким потоком хлынули из меня.

Я прижал трубку к груди и крепко зажал ее сверху.

Через несколько минут я успокоился, просто заставил себя: я знал, она ждала.

Прислонил трубку к уху.

— Да, извини меня, тут трубка... упала.

— Мы не увидимся больше?..

— Я уезжаю завтра. Так лучше, чем скорее, тем лучше. Иначе я не выдержу... Я не хочу, чтобы ты мучилась. Скажи мне что-нибудь, Наталья, на прощанье... пожелай.

— До свидания, Санечка...

— Прощай... Наталья.

Я почти уронил трубку на рычаг, и слезы хлынули из меня с новой силой.

Только теперь я понял: что я терял... навсегда.

Больше никогда я не услышу ее голос. Больше никогда не увижу ее глаз.

Не помня как, я дошел домой, вошел в комнату и, упав в кровать, затрясся.

Я бросаю необходимые ненужные вещи в сумку, похожую на чемодан. Кладу перчатки, которые она все-таки одарила мне тогда, но я не одел их ни разу, потому что амятья, это — реликвия.

Уже семь часов вечера, я пролежал в забытии целый день. Как будто ничего не соображая. Как сумасшедший. — ума-сущий.

Я сижу за столом, и губы только шепчут: Наталья, моя Наталья, моя Наталья. Чтобы действительно не сойти с ума, я включаю музыку. И как будто нечаянно попадаю на эту песню: "Close your eyes and I kiss you, tomorrow I'll miss you..."

Песня кончается, — все кончается. Как жаль, что нет ничего, что не кончается.

Никогда, ну больше никогда, не увижу я тебя, моя любовь, Наталья.

Я закрываю свои глаза, представляю ее поцелуй, я знаю, завтра мы не будем вместе.

октябрь, 1973.
оскве.

октябрь, 1978.
етройт.

октябрь, 1990.
ью-Йорк. Шорт-Хиллс.

Об авторе

Александр МИНЧИН родился в Москве в 1958 году в семье профессора-уролога. После несбыточного желания стать актером заканчивает филологический факультет московского института. Первые рассказы «Леночка», «Виноградные дни», «И был вечер и была ночь...» не опубликованы.

В конце 70-х годов эмигрирует в Америку, полагая, что в России печататься никогда не будет. Вскоре поступает в аспирантуру (докторантuru) Мичиганского университета.

В 1981 г. в Анне-Арбрее выходит первый роман писателя, «Псих» (под псевдонимом А. Невин: родители оставались в Москве). В следующие годы А. Минчин пишет множество статей для эмигрантской печати на темы кино, искусства, шоу-бизнеса. Его интервью регулярно публикуются в журнале «Континент».

В 1986 г. в Нью-Йорке выходит второй роман Александра Минчина, «Факультет патологии», готовящийся к публикации в одном из московских издательств.

В 1989 г. в пью-йоркском издательстве им. А. Платонова вышла книга «15 интервью», в которой собраны литературные беседы А. Минчина с И. Бродским, В. Аксеновым, К. Воннегутом и др.

Первая публикация автора в России — его интервью с актрисой Викторией Федоровой — состоялась в журнале «Огонек», образца 1990 г.

Роман «Наталья» — хронологически второе крупное произведение писателя; публикуется впервые. Это первая книга Александра Минчина, выходящая в России.

Не женат, живет и работает в Нью-Йорке.

Александр Минчин

НАТАЛЬЯ

(московский роман)

ИБ № 6455

Редакторы И. Матиц, Т. Жудро

Художник Э. Зарянский

Художественный редактор С. Барабаш

Технический редактор Е. Мишина

Корректор В. Пестова

Сдано в набор 22.01.93. Подписано в печать 24.05.93.

Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс

Печать офсет. Усл. печ. л. 17,64. Усл. кр.-отт. 18,16.

Уч.-изд. л. 17,41. Тираж 50000 экз. Заказ № 130.

С 37. Изд. № 8109.

Издательство «Радуга» Министерства печати и информации

Российской Федерации.

121839, Москва, пер. Сивцев Вражек, 43.

Отпечатано с оригинал-макета способом фотооффсет на

Можайском полиграфкомбинате Министерства печати

и информации Российской Федерации.

143200, Можайск, ул. Мира, 93.